

■ **ГЛУХИЕ РУССКИЕ ДЕЛА...**

в "Русском романе" Эдуарда Кузнецова

■ **ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ О СИОНИЗМЕ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ**

в дискуссии о еврейском движении в СССР

■ **"ХОМО СОВЕТИКУС" В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ**

по материалам исследований И. Левкова и В. Лефевра

■ **ШИРОКАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ В УЗКИХ КРУГАХ**

или П. Вайль и А. Генис о современной русской литературе

■ **В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ... В МОСКВЕ**

Нина Воронель о новом фильме И. Чаплиной

24

22

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

Год издания V

№ 24

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ПРОЗА

АМОС ОЗ. Коснись воды, коснись ветра (роман, окончание, перевод с иврита В. Кукуя)	3
ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ. Русский роман (главы из новой книги)	63
ИЛЬЯ СУСЛОВ. Рассказы	97

ПОЭЗИЯ

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ. Девять стихотворений	105
---	-----

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Оглянись в раздумье (дискуссия о еврейском движении в СССР)	111
---	-----

РУССКИЙ ВОПРОС

ЮРИЙ МЕКЛЕР. Жил человек в Гомеле...	142
МИХАИЛ ВАРТБУРГ. Советский человек на социоло- гическом рандеву	149

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПЕТР ВАЙЛЬ и АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Эффект популярности.	165
САША СОКОЛОВ. На сокровенных скрижалях.	177
ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА. Диалектика уродца, или "Светлое будущее" Александра Зиновьева	183

ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "В будущем году в Москве..."	194
---	-----

ПО ДОРОГАМ МИРА

ЗЕЕВ ГРИНФЕЛЬД. Латинский полумесяц (продолжение)	198
---	-----

ЛЮДИ И КНИГИ

"На моем месте так поступил бы каждый". — Л. ГРИММ. По страницам журналов. — Р. БЛЕХМАН. Дыхание истории. — Р. ПИМЕНОВ. Коротко о книгах. — А. БУХБИНДЕР. 211

МАСТЕРСКАЯ

Л. ГЕРШТЕЙН. Куклы Иры Райхваргер 221

На последней странице обложки — И. Райхваргер. "Политки".

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва—Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	Я. Цигельман
Э. Кузнецов	И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор
ответственный секретарь — Лариса Герштейн
технический редактор — Наталья Рубина
корректор — Нина Островская

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel;

Телефон редакции — 03—394525

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove. Cf. 93950. USA
Y. Levin, U. of Texas, Dept. of Slavic Lang. Box 7217, Austin, Texas 78712. USA.

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

Великобритания

I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 IEW, England.

Типография "Дерби"
Тель-Авив
1982

Пришла весна. Снег таял, в Подмоскowie вновь открылись лодочные станции на озерах, стаи птиц вернулись из далеких странствий, а вместе с ними, из Палестины, — Михаил Андреич или как бы он себя ни называл. Кроме множества фотоснимков и звукозаписей на магнитной ленте привез он с собой уйму рассказов, которые теперь выкладывал председателнице Шестого отдела. Как обычно, лукаво и радостно привирал для пущей красоты, растекался во вздорных подробностях — аж противно становилось. Три дня и три ночи говорил без перерыва, разве что получал распоряжение подать чай, и даже в глубоком сне слышала Стефа его голос. Он восхищался красотой природы, еврейским усердием, изумлялся постыдно малым размерам речки Иордан, тому, как строится страна руками разных переселенцев, превозмогающих свои несхожести. О боевом потенциале говорил, экономическом, научном, о качестве людского материала: еврейчики-то эти, часовщики чудаковатые, дохлые польские барахольщики, — формулы новые находят и открывают решения. Там у них, на холме, в Галилее, среди овечьих стад, есть один удивительный и необыкновенный, не то гений,

Амос Oz

**КОСНИСЬ ВОДЫ,
КОСНИСЬ ВЕТРА**

(окончание, начало — в № 23)

не то мошенник. На фотоснимках все видно, магнитофонные записи чистые, и можно с трепетом услышать, что где-то там, далеко, среди холмов, кроется, быть может, последняя разгадка. И не открываются ли тут перед нами поразительные возможности, товарищ Федосеева, если это только не подвох и не очковитирательство? Может, там припрятаны какие-то силы, революционные источники энергии, да только может ли что-то понять в этих тонкостях такой, как я, — осел, услышавший симфонию. А может, оттуда разовьются тайные лучи, абсолютное оружие? Ведь тотальный страх и ужас охватывают нас, товарищ Федосеева, перед раскрытием тайн вселенной. Отныне все может статься, решительно все, и нет у меня больше слов, с вашего позволения, чтобы сказать, до чего велика эта угроза. И коль соизволите коснуться нас кончиком пальца, поймете сразу, что давно уже мы дрожим, как младенцы, от страха превеликого. Молчу, уже молчу, товарищ Федосеева, вы же видите. Три-четыре, стоп! Тишина. Молчит Андреич, тотально, образцово-показательно молчит.

По весне, взяв отпуск, поехала Стефа по приглашению заместителя наркома энергетики в Новосибирск и задержалась там на несколько дней. Был этот замнаркома великим знатоком поэзии Пушкина, а еще — придворных любовных интриг дореволюционного Петербурга. Он долго добивался благосклонности Федосеевой, а однажды даже сочинил поэму и послал ей. Со времен войны хранилось у него целое собрание разноцветных боевых наград.левой руки у него не хватало. Смуглый и широколицый был, словно цыган. Звали его Кумин, инженер Кумин. Многие ненавидели его за остроумие и угрюмую трезвость.

Одетый в медвежий тулуп, на вездеходе явился Кумин встречать Стефу и отвез ее в небольшую гостиницу, где временно размещалась его контора. Там, выказывая мягкие светские манеры, он помог Стефе снять шубу, попотчевал гостью парой рюмок, а затем предложил на ее усмотрение: закуску, тихий отдых, дружескую беседу либо ознакомительную прогулку — что угодно, в порядке, который она сама укажет, порознь или даже все вместе сразу. Пока Кумин говорил, Стефа созерцала его с одной из своих учтивых, холодноватых улыбок, отчего подбородок его наконец поник, а избыточный словесный поток захлебнулся. Она предпочитает прогулку, что же касается достопримечательностей, пусть он выбирает сам и сам же повсюду возит и поясняет.

По правде говоря, надеялся замнаркома, что Стефа оступится,

и тогда он насытит распутное свое воображение. И он весь дрожал, словно машина, в которой сокрыты могучие силы, готовые вот-вот хлынуть наружу.

Вездеход доставил Стефу, Кумина и его свиту на гидротехническое строительство среди гор. Путь пролегал по ослепительно-белым просторам, и все надели темные очки. Кумин непрестанно хохотал, отплевывался, будто задорный юнец, а не заместитель наркома. А Стефа белою своей рукою дарила его от случая к случаю маленьким светлячком, крохотной надеждой.

Они остановились у самого низа чудовищных трансформаторов, и Кумин небрежно ей объяснял. Его растерянность столь бросалась в глаза, что спутники его ухмылялись тайком. Но зоркий комиссар заметил это и мановением руки всю свиту разогнал к чертям. В машинном зале, в глубине земных недр, сопровождали их лишь ближайший личный секретарь Кумина да еще высокопоставленный техник. Но и этих двоих замнаркома не допустил в помещение управления. Приглашая Стефу войти, он поклонился, ударился головой о дверной косяк, отпрянул, порывисто подтолкнул гостью внутрь, закрыл и запер дверь и стоял перед Стефой бледный, жалкий, потерянный.

И вдруг схватил тонкую трость и молча принялся охаживать ею чертежи и диаграммы, что покрывали две стены. Стефа подумала: вот убавит сейчас в комнате свет, повалится передо мной на колени или, может, хлестнет тростью да задерет мне подол на голову.

Но Кумин не опустился перед ней на колени и не набросился на нее, а упал в конторское кресло, прикрыл лицо единственной своей рукою и забормотал, что, дескать, они не чужие, он и Стефа, и души их неотделимы одна от другой, и не случайно их столкнули обстоятельства, нет, — родня они, брат и сестра, и никакая сила на свете не разорвет этой кровной связи.

— Не понимаю... не понимаю, Осип Григорьевич, о чем это вы.

— Да, сестра вы мне, товарищ Федосеева. И не смейтесь, ни к чему эта игра в прятки. Мы брат и сестра, и все тут.

— Видно, я пьяна или помешалась совсем, — ни слова не понимаю из того, что вы говорите.

— Лехаим. Йом Кипур. Мазл тов. Эрец Исроэл... Йом тов. Барух Ата...* Мы брат и сестра, товарищ Федосеева, мы неразделимы,

* За жизнь. Судный день. Доброго счастья. Страна Израиль. Добрый день. Слава тебе (иврит, идиш).

как один человек... и этот человек... сердцем тянется к своей стране. Ведь слышали же вы — конечно, по должности своей слышали: как там, у нас? Почему же вы молчите? Почему не падаем друг другу в объятия и не плачем вместе горячими слезами? Там нету снега и ни волков нету, ни медведей. Там наши евреи сеют и жнут под солнцем, бегают, целуются, дышат под нашим солнцем, на наших горах, складывают песни, глядят кошек, насаждают аллеи на горах — наших, еврейских горах, товарищ Федосеева, — и они незыблемы, эти горы, стоят себе, высокие, грубые, орошенные дождем, еврейские горы и — точка, как будто это такое простое дело — в корне простое — быть еврейскими горами, или морем, или лесом, или хотя бы бревном последним, которое, на первый взгляд, такое же дурацкое, как все бревна на свете — болгарские, турецкие..., — однако бревно это еврейское, в еврейской стране. Да разве слабый умишко постигнет такое, товарищ Федосеева! А смысл всех этих вещей — это, само собой разумеется, страстное желание жить и прикасаться ко всему, пусть даже спотыкаясь, оскальзываясь и падая. А еще с одной стороны, это мирный союз между евреями и сферой их ощущений, а с другой — мир между заданным количеством вещных сутей на определенной территории и евреями. Евреями, дорогая моя Федосеева, евреями — как вы и я! Так поди же, прильни ко мне, сестричка. А еще смысл всего этого — обращение в еврейство на этом клочке земли, воды, лесов, полей, степей. Как будто сжалилось над нами наконец какое-то божество, и — сразу все изменилось, отныне готова эта галактика нас терпеть, готова сносить наш облик, наши мелодии, запах наш и наши анекдоты и согласилась не встряхивать нас непрерывно над своей поверхностью хотя бы в одном этом маленьком уголке, на краю земли, в Лилипутии. Да ведь помиловали нас всех, да ведь после столько-то лет отчаяния словно прощены мы наконец. И живут там красавцы евреи, которые вправе забыть прошлое и вспоминать его лишь изредка, да и то — когда им самим заблагорассудится. И жить им под солнцем, и зваться всю жизнь собственными своими именами, и насаждать, и идти, и стрелять, и плевать, как они сами на это посмотрят. Вот ты уже и плачешь вместе со мной, любовь моя, ты не можешь удержаться, не пытайся этого скрыть, поплачем вместе от радости, а затем вытрем слезы и выйдем посмотреть на турбины, а после турбин — в гостиницу, в мою комнату и — немедленно в постельку, а если ты откажешься, красавица, я тебя безжалостно уничтожу — да будет мне небо

свидетелем, сестричка! Итак, здесь три насоса, и нет крупнее их во всей России, и совместной своею силой они втроем способны выкачать все Балтийское море до последней капли за сто десять дней. С математической точки зрения, хочу я сказать. Ну-ка, представь себе эту картину, любовь моя. Все это я только для наглядности говорю. И с этой же целью расскажу тебе коротенькую историю. Отец мой был еврейский поэт, этаким чудак, сионист, неприкаянно слонявшийся по одесским улицам. Писал он всю свою жизнь стихи про гору Кармель, гору Табор да гору Мориа, о Стене Плача в Иерусалиме, о пустыне и о святых могилах. И вот, от великой своей тоски, внезапно он заболел распадом внутренностей, гнойной болезнью. Худо ему было, гадко. Тяжко он страдал, бедолага, да и всем близким нелегко было от побочных явлений его болезни. Семь лет терзался он подлыми муками. И на что я сам подлец — по природе своей ужасный подлец, — а не мог больше смотреть, как он мучается, и отправил его несколько лет назад в Палестину, пока душа в нем еще держится да я сам Богу душу не отдал. И знаешь, любовь ты моя, Федосеева, что случилось с ним на склоне дней, там, на земле, по которой он грезил? Поселился старый, конечно, на одной из тех гор, к которым всю жизнь приглядывался, меж святыми для него могилами, и там, в Палестине своей желанной, среди гор и могил, живет себе старина и по сей день не перестал сочинять тоскливые, душещипательные стихи о какой-то иной Палестине — не об этой, всамделишной. Да еще с полной верою в нее. И все на иврите. И в библейском стиле.

Глава 27

На исходе дня, как предварительно оповестили, после того, как смолкли напевы в честь Царицы-Субботы, под звуки подбающего музыкального вступления, посвятило радио особую передачу потрясающему открытию Померанца.

Сперва ведущие старались разговорить секретаря кибуца Эрнеста. Попросили его осветить кое-что из жизни кибуца — в общем и в частности.

Эрнест вдумчиво и осторожно, ни дать ни взять — начальник разведки, которому поручили выступить перед широкой аудиторией и отразить град перекрестных вопросов, медлил, останавливался и тщательно подбирал слова о положении трудящегося человека в рамках коллективного общества.

А вслед за ним рванулся молодой диктор и голосом жизне-радостным, хлестким, словно бурный речной поток, принялся расписывать Верхнюю Галилею, ее деревья и скалы, пасторальные овечьи стада на лоне пригожих холмов, кибуц, его жилые дома, сам дом как таковой, все четыре его стены вместе и каждую в отдельности, убранство комнаты, вазу и цветы в ней, вновь небеса и землю и скромную веранду. И про собаку не забыл. Хотя почему-то возвел ее в ранг породистой овчарки.

Затем очень коротко задержались на всенародном значении события и попросили нескольких ученых старшего поколения обсудить вопрос о бесконечности: древняя Греция, атомисты и сторонники Пифагора, Кант и бесконечность, бесконечность и Кантор. А еще: неокантианство, неминуемое поражение Германа Козна, достойная сожаления путаница у Больцано, без всяких видов на выход из тупика, когда тот пытался разрешить вопрос математической бесконечности, и, напротив, смиренность духа скромного Эйнштейна перед этим понятием. Бесконечность потенциальная и актуальная. Дедекинд и Пирс. Безвыходный абсурд. Унижение для разумных созданий.

Последний предел, доступный человеческому пониманию.

Молчаливая ирония тайн природы.

Отменный урок нашему зазнайству.

Неспособность постичь суть бесконечности, а отсюда — сущность смерти.

А в итоге — мистика. Метафизическая тоска.

Упование, что все чудесно разъяснится.

Надежда на спасение.

На озарение.

Потом один из них, иссохший старец, прогорклым голосом порекомендовал блюсти всю меру осторожности: новшество и на этот раз может оказаться ошибочным в самой основе, очередным остроумным упражнением из области математического мошенничества. И кстати, математическая бесконечность — не заброшенное поле. Формально она раз навсегда определена школой Гильберта, а с точки зрения логики — плеядой Уайтхеда—Рассела. Таким образом, сказал уже совершенно охрипший ученый, лучше не спешить с фестивалями. Время покажет.

Доктор философии рав Эрих Ванденберг, со своей стороны, пользуясь случаем, напомнил широкой массе радиослушателей, что еще в еврейском кабалистическом учении сказано о целом ряде

всевозможных бесконечностей, а именно: о бесконечности охватываемой, бесконечности охватывающей и, сверх всего, Высшей Бесконечности. Да и сама наука выступила на сей раз — с опозданием, как всегда, — лишь для того, чтоб примириться с Верою. В этом-то, может быть, и содержится главная суть данного открытия. Возможно, начало спасения тут.

Подводя итог, ведущий заявил, что это праздник для науки, а в особенности — для семьи израильских исследователей, а кроме того, перед нами человеческая судьба, единственная в своем роде и столь трогательная. В заключение передачи радио заиграло мелодию в исполнении электроинструментов. Затем был не то обзор состояния шоссежных дорог, не то передача о работниках таможни.

В Пирейском порту в ту же ночь взбрело воде подобраться тихою сапой и разрушить гнилой дощатый настил рыбацкого причала. Вода клокотала, в ее глубинах бродила соль. Море горбилось и перепаживало берега, медленно и упорно карабкалось или врезало — себе на потеху — удар за ударом, мягкое и тяжелое, неослабно и безостановочно, — еще и еще, до исступления, и каждая волна была сама как море, как море моря. Далекие горы держали в зубах ущербную луну и все откусывали от нее да откусывали.

А в доме напротив порта Пирейского всю ночь стояла у окна молодая женщина, все видела и вдруг взяла да убежала из дому — чтобы никогда не вернуться.

Глава 28

Тем временем посторонний люд продолжал стекаться со всех сторон: любопытные и праздные, искатели счастья — все взбудораженные, распаленные. Среди них — представители иностранных университетов, исследовательских институтов, именитых научных обществ.

Тайком, словно на цыпочках, проникали и являлись сюда посланцы учреждений, которые предпочитают оставаться в тени. Уполномоченные гигантских концернов и тех отраслей, чья деятельность покрыта мраком. Немецко-бельгийский капитал. Американо-швейцарская корпорация. Посредник-австриец, представляющий прогрессивное правительство. Чернокожая женщина. Ватага молодежи, южан по виду, в автомобиле, напоминающем игрушечный кораблик. Два греческих еврея, и у них конкретное устное предложение с Дальнего Востока.

Большинство этих гостей выказывали Померанцу свою чуткость, почти дружелюбие, обнаруживали склонность к шуткам, а подчас — к лукавству, тонкому до виртуозности.

На свой лад и на своем языке искал каждый, как бы договориться, сойтись, высмотреть, потрогать кончиками пальцев, искорку малую высесть, прихватить, уходя, хоть что-нибудь, понять какую-то частицу чего-то и, уж во всяком случае, любой ценой подружиться с этим человеком.

Жители кибуца прозвали меж собой посетителей этих "паломниками".

Все, без единого исключения, жадно раздувая ноздри, принимались к новой формуле, рыскали в поисках ее производных, дрожа от вожделения, высматривали те возможности, которые — кто знает, не из нее ли как раз и вытекают?

Таинственные лучи, которые поражают даже на расстоянии.

Накопление новой энергии, поразительно простой, но мощи превеликой.

Овладение — напрямую — некоторыми загадочными законами природы.

Абсолютное оружие, от которого нет защиты.

Вакуум.

Преодоление гравитации.

Познание сущности земного равновесия.

Дистанционное управление всем.

Контроль над космическими силами и — при нужде — взаимное сталкивание их между собой.

Невообразимая мощь, обладатель которой получит власть, власть и еще раз власть — бесспорную и непоколебимую — до Страшного Суда.

И тотальное порабощение.

Словно гора, сонмище этих лихорадочно возбужденных гостей обрушилось на частную жизнь Померанца. Пытался он их избегать какое-то время: в секретариате кибуца просил не вызывать его к телефону, на письма не отвечал, в вечерние часы скрывался в библиотеке или в бараке у бухгалтеров. Его нет. Уехал. Занят. Не приезжайте, пожалуйста. Такого нет. И не было. Через месяц. Через год. Баста.

Но тщетно: упрямцы эти меднолобые все же изыскивали способ прорваться и настигали его даже на краю фруктового сада, а то и

склонившимся над портновским столом в складе одежды. И он отказался наконец от попыток схорониться от них. И принялся рассказывать всем и каждому, без разбору, одиночкам и целым толпам, японскому журналисту или ученой-математичке из Глазго. Неспешно и красочно описывал им скрытую силу музыки или покой осенних лесов, и голос его при этом будоражил и успокаивал, почти наставительным был. Старался Померанц утешить каждого, освободить от хватки внутренних когтей. На какие-то мгновения скользило по его лицу нечто похожее, как казалось людям незорким, на глубоко затаенную усмешку. И скулы его тяжелые конечно же навевали сомнение. Но в душе он был далек от всякой иронии. По одиночеству своей питал он почти сострадание к этим людям, раненым палящей страстью и потому жаждущим заручиться силой, — японскому газетчику, исправителю мира из Корнельского университета, восточноевропейскому агенту, группе фотокорреспондентов из Скандинавии... И на какой-то миг ему открылось, что их тела под покровами одежды корежит от неизбывной тоски по таинственной силе, по новым разновидностям тех удовольствий, которые дает сила: покорять, подчинять, принуждать. Что горькая эта, пронзительная, смертельная тоска поглощает их целиком, выжигает в них живое пуще, чем телесная страсть или честолюбие, сильнее, чем жажда в безводной пустыне, тяжкая, разъедающая тело и душу.

Все они до последнего — старцы и прелестные юноши, греки, женщины и евреи, — все неотступно тянулись к одной-единственной вещи, которую, возможно, Померанц в силах был дать.

За это они пылко ему обещали — кто любезным намеком, а кто гадко подмигнув, — что щедро рукой дадут в награду, чего только душа его пожелает:

Денег.

Почестей.

Женщин.

Всемирную славу.

— порознь или даже все оптом.

Элиша Померанц неустанно, хоть и без особых надежд, пытался выправить их свихнувшиеся души. Ничего им не сообщал и ничего от них не принимал, но больше не скрывался и лишь одного желал — умиротворить этих преследуемых преследователей. Внушить

им иной внутренний ритм. Научить их спокойствию. Сказать всем: с миром. И принести им всем мир.

Глава 29

Провозгласить и принести мир всем — этого страстно желала и Одри. Вместе с полудюжиной таких же, как она, молодых бродяг — голландцев, американцев и парней из тропических стран — жила Одри некоторое время на берегу Красного моря, где лето длится нескончаемо. Соорудили они у воды шалаш из дощатых обломков и грезили там себе все вместе во сне и наяву. Солнце покрыло их костлявые, худые тела загаром. Днем плавали и ныряли в море. А по ночам покорялись звездам. И становились они день ото дня все медлительнее, будто сковывал их столбняк в этих пронизанных светом краях. Вечерами у порога какой-нибудь гостиницы или ночного клуба они пели, наигрывая себе на гитарах, сентиментальные песенки, а затем протягивали руку за подаванием. Но главное — ждали, хотя, возможно, почти совсем не чувствовали и не понимали, что *ждут, чего ждут*: быть может, как-нибудь на рассвете вдруг услышать голос из пустыни или что красные горы дрогнут, величаво подхватят мелодию и песням их подпоют.

А покамест явилась им мысль пойти на восток, найти солдат, что охраняют границу с Иорданией, и раскрыть им глаза — чтобы прозрели.

Однажды вечером, когда буйство солнца понемногу убывало, направились они вдоль береговой линии на восток. Округлая морская галька терла босые ступни, и смешное ощущение от этого прибавляло трепещущей радости путникам. Были они возбуждены и казались сами себе нищими апостолами, которых ведет их собственная святость. Гарри и Джефф бренчали на гитарах, Сандер распевал песни о мире, а впереди, будто сама душа ветра, неслась Одри.

И когда горные пики с западной стороны поймали и проткнули падающее солнце, достигла вся ватага проволочного ограждения — и там остановилась.

Неистовый свет дня уже поблек, и от воды исходило другое — мягкое свечение. Пустынный вечер был. Небо бледнело, а красные горы дыбились, как после страшного пожара. Перед проволочной

прижимала их рукой, а они буйнили, вырывались, — и все это при пепельном вечернем свете.

Нестерпимое страдание и обида захлестнули Элисара Моше. Мгновенно воспрянул в его штанах краснокожий дикарь, убийца-разрушитель, занес боевой топор и — из самого нутра юноши исторгся вопль унижения, ненависти и гнева. Рядовой Элисар Моше нарочито грубо заерзал, заухмылялся, натужно и хрипло заговорил на гортанном английском, даже непристойности не воспрещая своему рту произносить, отвратительным огнем засветились его глаза, и на пол-лица расплылась мутная улыбка.

И словно пожар — на поле, поросшее сухой колючкой, — перенеслось это на двух его товарищей. Явственно ощущалось, что охватывает их какой-то озноб. Как вдруг установилось дурное, трудное затишье. Воздух темнел. Ни голоса, ни шороха. Место было глухое, вдали от жилья. Казалось, сама черная вода проникнута ненавистью и что-то замышляет.

Гости поднялись и пошли прочь, наигрывая на гитарах и напевая. Спустя мгновение Сандер и Гарри пустились бежать и тянули Одри за руки. Она бежала, и слезы текли по ее щекам. Камни летели им вслед. Солдат Элисар, взбешенный самоистязанием, выкрикивал им вдогонку площадную брань по-арабски — пока не услышали вражеские солдаты по другую сторону границы и начали крыть с двойной яростью.

Перед рассветом послышалось несколько выстрелов из легкого оружия. И была представлена жалоба.

Глава 30

В прелестном германском городе Баден-Бадене, на берегу озера, стоит коммерческого предназначения домик — искусная подделка под жилище злой колдуньи, каким его рисуют в детских книжках. Посещают это заведение чаще всего иностранные туристы да влюбленные пары: и те, и другие всегда и всюду охочи до разных местных красот. Здесь сдают напрокат маленькие гребные лодки для прогулок по озеру.

Однажды, прохладным и прозрачным голубым весенним днем, тайком наблюдали за этим домиком трое невидимок. Все трое были молодые, необычайно статные, спортивной наружности,

спиралью обнаружили они небольшой окоп, валяющуюся подле него каску, мешки с песком, запущенный, небрежно вырытый лаз, а чуть поодаль от этого укрепления, на берегу моря, сидели Элисар, Вильнаи и Адорно и беззаботно курили сигареты "Силон". Как и пришельцы, трое этих солдат были босы.

Джефф и Гарри продолжали брэнчать на гитарах, Сандер пел о мире, а солдаты спокойно себе покуривали да лениво поглядывали по сторонам, почти не оборачиваясь. Потом Вильнаи встал, прокашлялся, извлек носовой платок и принялся очень шумно в него сморкаться. Низенький Элисар не сводил глаз с фигурки Одри, однако не дерзал глянуть ей в лицо. Адорно швырял камешки в темнеющее зеркало воды. Издалека просвистало грузовое судно. Небось маневрирует, чтоб выйти в залив, сияет огнями, и нос его наострен в сторону Красного моря, Африканского Рога и далее – к Индийскому океану, на Дальний Восток.

Первым, на ломаном английском, заговорил Адорно: это место армейское... нельзя фотографировать... что вам тут надо?..

Незамысловатая его речь тотчас вызвала у всех насмешки: дескать, как же, у бродяг наверняка есть фотоаппарат, а если и нет, то все равно запрещено. Сандер протянул руку, и Вильнаи дал ему сигарету. А Джефф, который был у пришельцев вроде как оратором или оракулом, принялся разъяснять и доказывать, что убийство всегда порождает убийство, тогда как любовь приносит любовь.

Но проповедь его, ввиду затруднений у солдат с английским языком, зачахла спустя несколько минут.

И все же одно слово, лишь одно из всех, разбило отчуждение, проникло в души и сотворило перемену.

Элисар Моше, замкнутый паренек, выпускник духовного училища "Краса Израиля", уловил и уразумел английское слово "любовь". Он в жизни своей ни разу не видел, что скрывается у девушек под платьем. Хотя он пару раз украдкой созерцал в кино, которое с бешеной скоростью гнали на натянутом холсте, как выглядят обнаженные женские груди. И вот, как раз в тот миг, когда Джефф произнес по-английски слово "любовь", Одри поднялась, прошла через прореху в проволочной спирали и нагнулась, усаживаясь между солдатами. Ее тело прикрывал лишь кусок ткани, что-то вроде цветастой простыни, и, когда она нагнулась, груди ее выпростались наружу и заколыхались, шлепаясь одна о другую; Одри

аккуратно постриженные блондины, и походили они друг на друга невероятно, просто сказочно. Каждый из них занимал свой пост напротив домика.

Один прятался среди густых ветвей старого-престарого дерева и был поглощен тем, что он слышал в наушниках маленького радиоприемника. Второй расположился в зарослях тростника и не мигая глядел на обиталище колдуньи через прицел безотказного и тихого, как игла, пистолета. Третий, в одежде водолаза, сидел настороже в мелководье и следил за всем происходящим — на случай, если потребуется его помощь.

Чу! Вон тропую по склону спускается к домику приземистый, короткопалый человек. Уши у него торчат, как у летучей мыши, будто стремятся сблизиться между собой. Ворот плаща он поднял как можно выше и напоминает заумного книжника, воровато промышляющего на предмет любви в отдаленном городском предместье. Немолод он, но и сопровождающая его дама — ради которой он еще утром побрызгал одеколоном виски, кутается теперь в воротник, вот взял напрокат самую красивую лодку и отчаливает от берега с этой дамою наедине при помощи легчайших мановений веслами к середине озера — не первой молодости.

Но привлекательна. Для сердца и для глаз. Любим своим штрихом единственна, неповторима. Стройна, тонка, и мягок плеч овал: так кажется, она сейчас почувствовала слабость, и ей необходимо опереться на что-нибудь.

Но до чего бывает ложно впечатление: ведь если внимательно взглядеться, пускай издали, нетрудно распознать — по складке подбородка или по взмаху маленькой руки, что стряхивает вдруг нетерпеливо с зеленого костюма шерстяного какую-нибудь крошку или каплю ила, — там сила твердая, которая не знает снисхождения, заключена внутри.

Город уже далеко-далеко, он словно утопает в воде, и над ним занимается ясный, голубой день. И вдруг улыбнулась Федосеева своему спутнику одной из самых неотразимых ее улыбок. Тот был сражен, слова, которые припас, забылись вмиг, он лихорадочно искал другие.

Но Стефа опередила:

— До чего же мне любо пожать наконец вашу руку и познакомиться лично. Сколько лет, сколько зим!.. Примите мое почтение и восхищение, сударь. Кабы наш с вами род занятий не воспрещал

нам баловаться пером и чернилами, я тут же обратилась бы к вам за автографом. Этим я хочу сказать, что отношусь к числу наиболее преданных ваших поклонниц. А теперь ближе к делу. Не знаю я, что вы там рассчитали, какой вышел у вас дебет-кредит, у меня же к вам предложение, простое и ясное, и мое дело — предложить, а ваше — сами понимаете — крайне осторожно его взвесить. Думаю, вам стоит его принять. Взамен ничего не прошу. И не вам говорить, что боитесь надувательства или ловушки. Такое подозрение унизило бы нас обоих в собственных глазах. Итак, протяните руку и берите. Я вся ваша. Задаром. По велению собственного сердца. И сионизма. Не отказываясь от этих слов и не выставляя никаких условий, кроме одного: от вас потребуется величайшая осторожность, коли я перейду в ваши руки. Но вы же большой мастер в этих премудростях. Так что давайте обсудим между собой необходимый порядок действий. Только не утомляйте меня вопросами о мотивах и душевных побуждениях: не приступать же мне сейчас к признаниям, да еще именно перед вами. Ну, что — берете? А нет — так скажем друг другу адье и распрощаемся.

Низенький человечек не спешил с ответом. Он сощурил один глаз, словно не желая понапрасну тратить зрение, и погрузился в раздумье.

И вдруг вскочил с места, быстрый, как змея-медянка, чуть не опрокинул лодку и — молниеносно выхватил из кармана зажигалку, почти опережая Стефу, что доставала из сумочки пачку сигарет. Затем рассмеялся, но, поскольку спутница даже не наградила его улыбкой, сощурил другой глаз и протяжно, с библейской распевностью, бесконечной терпеливостью в голосе заговорил.

— О, конечно, мадам, конечно. Ведь младенцев не почта же доставляет, простите меня за столь грубые слова. Да (произнес он по-русски). Прошу прощения, от всего сердца извиняюсь за стиль. Волнение тут виной, мадам. Лишь от великой взволнованности прибег я к этому презренному и сомнительному стилю. Мадам, конечно, понимает, что со мной происходит. Она и я, и никого кроме, мы в полном уединении, плывем себе по воде, а вода — я верю до глубины души, — вода — это начало чрезвычайно важное, одна из жизненных основ. Итак, госпожа — я полагаю, госпожа Померанц, — мы встретились в чужом городе и плывем к середине озера при обстоятельствах столь удивительных и, что еще, — как бы это сказать — долгие лета были связаны некоторыми отношениями и — простите, как бы это сказать, — с известной точки

зрения, тосковали друг по дружке издалека, подолгу думали один о другом. То была связь духовная, а вы со мной, конечно, согласны, что духовная связь — это начало общественного устройства. Ах, в какую восхитительную игру мы вместе играли все эти годы! Какие шалости позволяли себе! Я чуть было не сказал, что продолжительная эта связь напоминала любовную игру через посланцев, однако впредь уже попрिдержу язык... И вот, мы встретились. Душе не верится. Это похоже на сон, мадам, если прибегнуть к языку Священного Писания. Да (вновь произнес он по-русски). Но нет у нас слов, чтобы передать все богатство этого языка. Однако же... конечно... сейчас, мадам, сейчас... вот, пожалуйста... позвольте мне только ущипнуть самого себя и положить конец волнующим грезам. Вернемся к реалиям, как вы изволили сказать. Приказывайте, госпожа. Я уже пришел в себя и готов ко всему. Этот червь Яков и красавчик Израиль* вместе и неразделимо внимают гласу матери-России. О, до чего голубые они. эти небеса! Поневоле начинаешь думать стихами Гете или, скажем, пророчествами романтической философии. И все же, госпожа Федосеева — она вправду, от чистого сердца намеревается?.. Нет ли у нее в мыслях одурачить — на сей раз одинокого человека, к тому же немолодого, и раз навсегда сделать из него — то бишь, из меня — посмешище? Да (опять вырвалось у него это русское слово) ... Так оно. Мадам должна меня понять в душе: уязвленный я человек, молодые женщины не раз ранили меня в сердце — и очень глубоко ранили. Однако то было давно, целое поколение тому назад. И несмотря на это, мадам, проклятая, неизлечимая подозрительность, тяжкая неуверенность, страх перед прекрасным полом, ну и, конечно, некоторое предубеждение — все это вынуждает меня проверить ваши намерения, прежде чем я дам волю, как говорится, своим чувствам. Вот бы мне получить какое-то символическое доказательство, легкий намек на серьезность вашего намерения. Например, преничтожнейшую капельку горячего, которое сварганил этот умница, инженер Кумин Осип Григорьевич. Капельку, которой хватит разве что для моей зажигалки. А может, вместо этой капли сам инженер пожелает воспользоваться случаем и составит вам компанию в путешествии? И вот еще что: как только вы прибудете к нам, я должен буду незамедлительно, после первых же счастли-

* Прозвища еврейского народа Библии (Исайя, глава 41, стих 14 и 2-я Книга Царств, глава 1, стих 19).

вых минут, невзирая на всю свою радость, одни рубильники выключить, а другие — включить, произвести некоторые изменения в точках соприкосновения. Все это — элементарная ловкость пальцев, и я ни на секунду на немереваю скрывать от вас цель, мадам: закрыть перед вами, мадам, возможные пути бегства, какими бы они ни были хитроумными. Сжечь позади вас — и в ваших же интересах — все мосты. Чтобы предотвратить у мадам чувство раскаяния за содеянное, ибо раскаяние — по моему скромному мнению — это неиссякаемый источник душевных мук. А напоследок я не могу не дать волю красноречию, к чему, кстати, наш дорогой Элиша Померанц не слишком склонен, однако для нас, любителей поэзии, вполне позволительно: из лап России мы вырвем вас, мадам, и рукою чуткой и любящей укореним на израильской почве — с надеждой и твердой уверенностью, что на земле наших предков вы расцветете и похорошеете всемерно.

Стефа:

— Ну что ж, я вижу, наши цели более или менее совпадают. Хорошо. Я должна только еще раз подчеркнуть, что Палестине придется изо всех сил охранять меня и его. Злоба вспыхнет величайшая. Да и рука у наших достаточно длинная, а потому опасность — нешуточная. Кстати, когда вы напомнили о Кумине и говорили о твердом топливе или о чем-то вроде того, птицы вдруг запели среди деревьев, и потому я не могла внимательно прислушаться к вашим словам. О, уже двадцать минут четвертого!

Низенький человечек:

— Ну, еще бы, мадам, как зеницу ока мы будем беречь вас, мадам, и дорогого вам человека. Прошу прощения, но такие вещи между влюбленными должны быть понятны без слов. Изо всех сил будем вас охранять. Еще раз прошу прощения, мадам, но человек я банальный, и потому позволительно мне задать банальный вопрос: с какой целью создали мы в крови и огне еврейское государство? Ведь прежде всего, чтобы предоставить надежное убежище любому еврею, которого преследуют, где бы он ни находился. И кстати, ведь мадам, пускай немного, но знает нас: мы на акулу — с молотком, а к ласточке — с любезным языком. А тут еще воплощается идея воссоединения семьи, да к тому же мотив раскаяния в грехах... Слезы готовы выступить у нас на глазах, мадам, а разве найдется глупец, который станет отрицать, что слезы — это признак душевного подъема?

Федосеева:

— Помолчите. А теперь слушайте внимательно, что я скажу. Ежедневно, со второго по шестнадцатое февраля, с шести до десяти вечера, на Альберго Амбассадоре, в Милане, должны поджидать меня две женщины. Две. И никто, кроме них. И без наблюдения издалека, которое вы посчитали нужным устроить здесь в честь нашей сегодняшней встречи. Кстати, это образцовое хамство с вашей стороны. Две эти женщины, которые будут меня ждать, должны знать, что если я появлюсь, покуривая сигарету, то я не одна, меня сопровождают. В таком случае они должны немедленно скрыться, ибо им угрожает смертельная опасность. Если же появлюсь без сигареты, то я к их услугам, и все будет зависеть от их расторопности. А теперь расстанемся. И покуда — ни знака ему, ни намёка, что приеду в Палестину. Только берегите его от ненавистников. Если с ним что-то случится, то и от меня не будет вам проку, да и не добраться мне до вас живой. Теперь поворачивайте и езжайте к берегу. Если не терпится, можете еще поговорить, говорите — ваша обходительность столь прозрачна! — говорите, пожалуйста, я не возражаю, но если я ничего вам не отвечу, то простите меня. Снова птицы запели. Да еще мигрень на меня напала... Все будет как надо. Только осторожней на поворотах.

Глава 31

Спустя неделю после того, как Эрнест и две старушки посетили Элишу в его комнате, в такой же субботний вечер подготовила культурная комиссия кибуца в честь Померанца и его открытия скромное торжество за сдвинутыми вдоль столами.

Но незадолго до начала представился пес виновника торжества: вытянул лапы, несколько мгновений недоуменно взирал в сторону погасших холмов за окном, а может, на колыхание занавесок от легкого ветерка, бросил смотреть и — помер, будто в тот же миг рассеянность или несносная скука его одолели.

Как заметили, что грустен Померанц, из чуткости душевной решили отложить торжество. В столовой показали черно-белую кинодраму в загадочном американском духе о сыщиках и преступлениях, похожую на правду, а может быть, вранье.

Померанц одиноко сидел на скамейке в садике напротив своего дома. Пустынная луна желтела на востоке в туманной дымке. И от-

того, что облака были недвижны, луна торчала на своем посту упрямо и непоколебимо.

Далеко в потемках тупо промычала корова, потом — еще раз и смолкла. Чьи-то большие, темные овчарки стояли у края зарослей, молитвенно задрав к луне морды с влажными носами и роняя слюну. А глупая луна кусала кроны сосен. До самого рассвета зывали к ней большие эти псы.

Глава 32

День за днем имя Померанца передавалось из уст в уста в стране и по всему свету. Он получал все больше писем, люди приезжали что-то разведать или просто самолично прикоснуться к нему. Одни старались извлечь из него какую-то пользу, другие были одержимы порывом. А он не прекращал своих исследований и по ночам, при свете настольной лампы, сидел за расчетами, осторожно прошупывал издали те земли, где математика и музыка столь невообразимо близки между собой, как два ручья, что вытекают из тех же самых тающих снегов.

Между прочим, что вам известно, люди добрые, о личной жизни виртуоза, о том, насколько она невзрачна, повседневность немолодого, одинокого человека в четырех стенах своего жилища? Что значит долго быть холостяком?

Он весь во власти навязчивых ощущений, холостяк, — тут и легкое отвращение к своей собственной неотделимой телесной сути, помешанность на всяких мелочах, придирчивость и беспокойствие... А до чего опротивело ему справляться со всеми этими презренными упрямыми личными нуждами! И невозможность отгородиться от этого жилистого, капризного тела, как будто ты приговорен весь остаток жизни прозябать в одной комнатухе с каким-то потливым, дряхлеющим дядькой, покрытым вспухшими, синими венами, и у которого нестерпимо разит изо рта. С его жалобами, недовольством, ворчанием, доводящим до изнеможения, и всеми ограничениями, которые его неотлучное присутствие налагает на тебя.

Попытки, стиснув зубы, сосредоточиться вопреки всему, отвлечься от этого недруга и продолжать исследования в прозрачной, почти безвоздушной сфере — в тот час, когда за тонкою перегородкой соседка-молодуха дразняще смеется, вскрикивает, умо-

ляет, будто ее макают в мед — Одри! — или тонкими булавками покалывают ей ступни — о, Одри, Одри!!

Пропахшее твоим потом полотенце. Зубовный скрежет и потуги его сдержать.

Безжалостное тиканье дешевых ходиков: встань, ляг, сядь.
Посуда в раковине.

Подлое свойство черной обувной ваксы пересыхать и трескаться, оттого что крышка прилегает неплотно.

До срока скисающее молоко.

Липкая преснота в горле.

Черный кофе.

Изжога.

Сильный кашель по утрам.

Застарелая вонь твоего тела, которую источают сиденье кресла и покрывало на кровати.

Бесконечное вытирание неодолимой пыли и вытряхивание ков-ра каждое утро.

И ко всему — как у старой бабки, то и дело — тяжкие твои вздохи.

Унизительная необходимость напоминать себе в такие минуты: ты, который нашел, которого почитают, эй, ты, виртуоз, ну-ка, возьми себя в руки и вымой посуду.

И хотя говоришь сам с собою по-польски, вдруг простейшего самого слова никак не можешь найти — аж стыд пробирает.

Неисчислимы приступы ничтожного гнева: несколько крупиц сахара просыпалось на пол, и тут же муравьи-злодеи дудят в трубы, бегут пировать, ты хватаешь опрыскиватель и во всеоружии вступаешь с ними в бой, но в ту же секунду большое маслянистое пятно расплывается на твоих брюках.

Рассеянность: ты рукавом сталкиваешь чашку на пол. Звон осколков. Кофейная лужа. И — в назидание, а вместе с тем призывом к смирению — ковер тоже выпачкан.

Или, скажем, чистое исподнее по ошибке пошло в ящик с грязным бельем, а ложка непонятно как попала в карман брюк. Смешные накладки, вроде того, что перегоревшую лампочку с немалым трудом меняешь на другую, тоже перегоревшую, а то сок из лимона выжмешь в стакан чаю с молоком. И все это тем более унижительно, что происходит с тобой, которому посылить творить чудеса, заставить прозвучать мелодию всего сущего, некое спасение найти.

А в глазах, как в тех стекляшках — голодных и горестных — неуклюжего медвежьего чучела, днем и ночью — женщина, что дарит нежность.

Встань, распрямись. Мир и покой придут к тебе. Ибо есть правда проще, чем эта.

Глава 33

Когда гостила Стефа в первый раз у инженера Кумина в Новосибирске, поведал он ей, что на вершине одной из святых гор на израильской земле живет его престарелый отец и слагает тоскливые стихи о Сионе.

На самом же деле проживал старик Кумин в доме для престарелых в пригороде Тель-Авива.

Страдал он отвратительной нутряною болезнью, лишь благодаря которой и было позволено ему покинуть Россию, а также — горькой желчностью, да еще — текло у него из уха. Долговязый он был, согбенный, в глазах — мутная голубизна, а на щеках выступали розовые прожилки. При всех недугах видно было, что натура у него дотошная, крепкая, как у дикой птицы.

Хотя зрение и поныне было у него удовлетворительное, нос его почему-то казался чрезмерно большим и обнаженным, как у подслеповатого, когда вот только сейчас запропастились куда-то очки и внешний мир кажется совсем размытым. И может быть, от этого выражение застывшей злобы не сходило с его лица.

Мог старик Кумин, не испрашивая заранее разрешения, явиться на поэтическое собрание, либо на заседание комиссии по воспитанию, или на совещание редакторов, поднимался на трибуну, завладевал микрофоном и, не считаясь с чужим временем, невзирая на возражения, принимался клеймить позором всех и вся, по-идишски выговаривая слова, с гневными раскатами в надтреснутом старческом голосе. Кроме того, он посылал множество писем в редакции газет и в них яростно прорицал, что то или иное общественное начинание непременно отольется в будущем горячими слезами. Однако же многие принимали все это за старческую растерянность.

Тугоухость и вечная раздраженность спасали его от всякого намека на пренебрежение или насмешку со стороны множества непосвященных. Ему возражали — он не слушал, даже не прислуши-

вался. Однажды, на торжестве в честь двадцатипятилетия Независимости, взобрался Кумин на сцену в здании рабочего Совета, перегнулся через стол президиума к главе правительства Эшколю и громовым голосом возвестил ему: "Вы губите Израиль, сударь!" И раньше чем его успели схватить, со скоростью, какую невозможно было от него ожидать, и всем своим видом выказывая отвращение, покинул зал. Он сразу же вернулся в свою комнату в доме престарелых и немедленно уселся составлять длинное, проникнутое горечью послание к писателю Хаиму Хазизу.

До русской революции проживал Гершон Кумин в Одессе. Был фельдшером, аптекарем и поэтом. Куда как немало изведал он за свою жизнь. Знакомы были ему и высокие муки вдохновения, испытывал и унижения, когда до полной потери сил барахтался в грязи. В юности он полюбил студентку, девушку чужой веры, а его насильно женили на другой, из семьи Гецлер, и она самым решительным образом отвергала сионизм. Однажды он послал издателю Ровницкому стихи о своей тоске по Сиону, и Ровницкий ответил ему, что, хотя не слишком они душистые, его стихи, зато все нуждаются в превеликих сокращениях. И несмотря на то, что в конце письма Ровницкий величал Кумина "волшебником слова", никогда не забыл и не простил ему Кумин этого отвратительного выражения: "превеликие сокращения". Потом разразилась революция. Его жена, а за нею и единственная дочь влюбились обе вместе в беспутного Федора Суслопарова, этого кровавого разбойника, и пошли за ним скитаться — в Самарканд, на китайскую границу, на Камчатку — да там и сгнули все трое. Говорили, что умерли — не то все вместе покончили с собой, не то северные медведи их сожрали, — а может, им удалось сбежать в лодке к японцам или же перейти Берингов пролив по ледяному покрову. Раз дошел до Кумина слух, что трое этих революционеров добрались в конце концов до Аргентины и там страшно разбогатели на мясных консервах.

Спустя несколько лет его сын Осип достиг высокого положения у большевистской нечисти, и тогда этот отступник еврейского народа спровадил своего младшего брата Митю в трудовой лагерь, в Сибирь. То была злонамеренная подлость. В ответ на это проклял старик своего сына, бросив ему в лицо: "Голос крови брата твоего вопиет к тебе, Каин". На Великую Субботу, накануне Пасхи, сказал. И еще: "Презренный, проклятый ты человек". И поклялся,

что отныне и на веки вечные прогоняет его с глаз своих. И целых девять лет они затем не виделись.

Только когда заболел Гершон Кумин распадом внутренностей и власти принялись перебрасывать его с места на место из-за жалоб всех окружающих, вмешался Осип и начал возить старика по санаториям. Семь кругов ада прошел тот, и уже последней степени отвращения друг к другу достигли отец и сын, при каждой встрече дым и копоть валили у них из ушей от непомерной ненависти. И тогда черкнул Осип записку, по которой разрешили наконец старику Кумину убраться из Одессы, уехать в несуществующую страну предков, которой и в природе-то нет, даже признака ее бледной тени, что должна быть, — и то нет. Потому и рыдает душа по ночам и рвется наружу, парить среди звезд — там искать Высший Иерусалим и землю, обещанную ей.

Поэтому ничуть не странно, что старик Кумин, услышав по радио и вычитав из газет об открытии Померанца, не замедлил сесть к столу и составить послание, в котором задал достопочтенному автору открытия ряд вопросов:

1. Правда ли то, что пишут в воскресном выпуске, будто вся вселенная расширяется?

2. Он, Кумин, не смыслит ни аза в математике, да она не стоит и выеденного яйца, а важен ему всего-навсего вопрос о бесконечности, но и тот — лишь в части практической пользы: есть потусторонний мир или нет? Он просит ответить только: да или нет. И ежели нет, то будьте любезны признать, что понапрасну поднят весь этот гвалт, бесконечность — не бесконечность, а открытие — никакое оно не открытие.

3. Коли вся вселенная подчинена законам, то разве есть место для "парадоксов", о которых пишут в журнале? А если парадоксы все же имеются в наличии, то откуда у вас наглая уверенность, что законы — это законы?

4. Почему люди науки, тем более в кибуцах, запираются в башне из слоновой кости и там любят себя самими собой во всякого рода "универсальных" темах, вместо того чтобы во всеоружии выступить против гниения и распада в стране и у властей?

5. Доколе?..

В девять утра наклеил Гершон Кумин на конверте марку, посвященную празднику Нового года, пометил "заказное" и еще "срочное", дошел до почты и отправил письмо.

В три часа пополудни он уже терял терпение: кто знает, придет ли ответ, а если придет, то когда и удовлетворит ли его? Вопросы, которые он задал, вдруг показались ему настолько скороспелыми, что хуже и быть не может. Даже живот разболелся. Гершон Кумин надел свой коричневый, в клетку костюм, повязал галстук, поправил уголок белого платка в проеме нагрудного кармана жилета — все это, даже не покосившись на зеркало, — схватил палку и поспешил в путь, непрерывно покачивая острым, как птичий клюв, подбородком и приговаривая: да-да, да-да-да...

Почти шесть часов катил старик в автобусах, пересаживаясь из одного в другой на пыльных остановках, и, вдобавок к тяжкому зною, мучительным болям в животе и течи из уха, ненависть к самому себе стала теснить его с яростной жестокостью.

Подобно злему духу, пронесся он сквозь Самарию и северные долины, достиг Галилеи и высадился наконец в кибуце Померанца. Было уже девять часов вечера. Путешественник был все так же решителен и зол, как в ту минуту, когда отправился в путь, даже пуще того. Вскоре он наткнулся на двух парней и подверг их перекрестному допросу: где ему найти сию же минуту этого местного ученого оракула? Оторопевшие мальчишки привели его к дому Померанца. И вот, как раз в тот миг, когда перед блеклыми глазами старика Кумина возник прямоугольник света в окне, — что-то перевернулось в его душе. Великое сомнение одолело его. Быть может, пришли ему в голову стихи Черняховского о лжепророках, то ли вспомнил о резком презрении Бялика к пересмешникам. И исполнился Кумин великого, ужасного гнева на самого себя, на свое письмо, на поездку свою безрассудную, на революции, на ученых и вообще на молодежь.

Он не колеблясь повернулся, шагнул в темноту, к воротам кибуца, кто-то заговорил с ним, о чем-то спрашивал, уговаривал, а он, как обычно, не замечал, не внимал и не слышал. За воротами он ступил на покатуную дорогу и направил шаги в обратный путь, на главное шоссе.

Была ночь. Из лога доносился лягушачий хохот. Небо Галилеи пузырилось звездами. Дул легкий ветерок, и казалось, он окаймлен светом, вуалью света, тонкой и прикасающейся.

От горного воздуха старику полегчало. Вдруг он стал лучше видеть. Позабывтая песня зазвучала в груди. И совсем нечаянно вышла ему удивительная оказия: военный грузовичок подобрал

его на автобусной остановке и, быстрый, как ураган, помчал на юг, нарочно для него, Гершона Кумина, свернул со своего пути и с любезностью превеликой доставил его прямо к порогу дома престарелых.

В полночь он уже укладывался спать. Два часа спустя видения Галилеи, ее запахи, ветры, переливы огней вернули его из забытья.

Кумин зажег свет в ночнике и до рассвета сидел и сочинял свое известное стихотворение "Душа гор", которое впоследствии вошло в несколько школьных учебников.

Написав это стихотворение, умиротворился Гершон Кумин, злость из него вышла, даже боли внутри отпустили немного, а из уха перестало течь — будто и не бывало. Всю жизнь старик Кумин презирал чудеса и все, что с ними связано, но на сей раз, после трудных раздумий, прибег, в виде особого исключения, к тому, что называется "снисхождение".

Спустя неделю он получил письмо от Осипа, что был ему сын и не сын. Как всегда, он разорвал конверт на клочки, не открывая, не посмотрев, не пожалев даже редких почтовых марок, бросил в унитаз в уборной и спустил воду. Однако, против обычного, вдруг шевельнулось у него в глубине души сожаление о сделанном: ведь сам-то он подлец, себялюбец, и вместо сердца у него камень. Так по какому моральному праву осмеливается он на подобные выходки — унижать, оскорблять, выражать сомнение в открытии ученого и называть главу правительства Эшколя "губителем Израиля"?

Нравственный долг на нем — незамедлительно просить прощения.

Письменно.

Глава 34

В прелестном германском городе Баден-Бадене ночь.

Огромными стенами и мраком окружен доминиканский монастырь. Каменная брусчатка полов, деревянные скамьи, высокий потолок. Кусачий холод. Орган увенчан тенью. И легкий непокой в церковной пустоте. Тут бился пульс мелодии великой и бушевала страстная хандра. А ныне — ни души, ни звука. Но ниши в стенах копят, копят нечто и источают чистые лучи. По несколько часов с тех пор, как завершилась служба, способны пустота и мрак старинной церкви притягивать к себе малейший шорох. А посему —

коль дверь притворена, не светит ни одна свеча, орган молчит, и гром его тоски по высшей чистоте раздроблен на немые отголоски, и тишина звучит в безмолвии тишины — подайся прочь, не зажигай огня.

Лишь одна свеча горит в монашьей келье во флигеле. Коренастый, с густыми бровями старик стоит подле зарешеченного оконца и созерцает лик луны иль, может быть, прозрачность берез, что одиноко трепещут снаружи на ветру.

В его левой руке большая, тяжелая бритва. Позади, на сундуке, горит свеча. Железо бритвы ловит тонкие блики света от свечи. Порой оно вспыхивает на миг ослепительным красным огнем.

Извне, издалека, из глубины мрака слышится монаху шум ночного поезда. Вот молвил что-то локомотив, приближаясь к скрещению путей.

Через оконную решетку видит старик, что на углу переулка, под желтым фонарем, две худенькие студентки малюют надпись на темной стене: наверное, красную, что-нибудь в осуждение существующего порядка.

Скрытый сумраком своей крохотной монастырской кельи, пытается представить одинокий наблюдатель, что девушкам этим становится все нестерпимей на стуже и одна из них уже хнычет, а может, напротив, посмеивается себе зло втихомолку. Железо бритвы брызнуло сверкающей искрой, и вспыхивает на мгновение глаз монаха. Теперь и сам старик смеется в душе и даже вроде бы зубами скрипнул тихо.

Потом он приближает бритву, что вся подернута огнем, к своей шее. Другой рукою он тянет себя за левое ухо. Тильная сторона его ладони космата, словно обезьянья лапа; тело, что проглядывает из-под этих косм, красно, как сырой бифштекс, как будто мышцы не покрыты кожей. А темно-синих вен сплетение дрожит и, кажется, готово лопнуть каждый миг, не в силах более вмещать поток тяжелой крови. И что-то яростно колотится внутри и явно жаждет вырваться из тесной тьмы на вольный воздух. То спесь слепая сотрясает плоть, она ее когда-нибудь взорвет, таков удел сей плоти — взорваться изнутри, а не угаснуть тихо от слабости невыносимой.

Из ночи в ночь, за полтора часа до первых солнечных лучей, заведено у коренастого доминиканца бриться железной бритвою и ледяной водою. Без зеркала, по памяти: ведь каждую бороздку

на своем лице он выучил давно, словно какой-нибудь напев простейший.

И скул широких разворот, их жесткость.

Тяжесть подбородка.

Крылатость и почти монументальность — при их раскрытости могучей и бысстыжей — ноздрей.

Он никогда не применяет мыла: лишь нож и кожа.

И оттого пергаментный покров его лица горит и блещет. Он будто рубит лес, доминиканец, — ударом топора, коротким, сильным.

Нет, то не жажда мук, не радость самоистязания, не усмирение плоти болью — наоборот: ночное это действие переполняет душу наслаждением, и от него отречься старик монах не смог бы ни за что. Вот твердою рукой он продвигает пылающее лезвие к щеке, но по пути, где бугорок подкожный бьется, обозначая скрещение вен, — безмерно осторожен.

Щетина бороды под бритвой издает легкие, дробные звуки. От них нежный озноб пробегает по спине у монаха, его крепкое тело возбужденно дрожит и к самым кончикам пальцев шлет потоки внутреннего шума, величие органной аллилуйи пополам с позором шипящего сала, жгучего яда чресел. Все это пляшет в нем крестообразно, огнем во льду.

Он действует без всякой спешки, сосредоточенно и скрупулезно, чтоб телу дать, при всей обширности его, все высосать из каждого движения, любой малейший отголосок, что отдается из глубин, рассмаковать.

Но если подойти с иною меркой, ошибкою не будет полагать, что все и вся стремится непрестанно осуществляться и распространяться:

Та же бритва — предмет тяжелый, толстый, грубый, каким и надлежит ей выглядеть, — вдруг на твоих глазах — взмах — и утончается, второй — и обретает блистательную утонченность клинка, еще взмах — и жажда ее охватывает вознестись вплоть до того, что сможет она пренебречь самую вещьностью своей. Подобно готической башне, бритва — это грубое вещество, железо, что, привстав на цыпочки и постепенно очищаясь, страстно тянется к прозрачным небесным высям и далее, к полному истончению, до состояния чистой идеи и отвлеченной мысли.

И точно так же — пульсирующая в жилах кровь, что тщится

прорвать изнутри неволю плоти, освободиться и стать безбрежным и безудержным потоком.

И взмах руки, охватывающей рукоятку бритвы, — ни дать ни взять движение виртуоза, а волосы — это струны, и не бритьем занят брат-доминиканец Тофф на исходе ночи, а играет на скрипке при свете свечи в своей келье.

А дробный звук сбрасываемой щетины — не что иное, как музыкальное переложение напева пил, которыми сводят лес при страшном пожаре, вспыхнувшем в летний зной.

И радостное чувство, что струится внутри и орошает некий узел глубоко внизу живота или в крестце — перед тем, как низкий рев вырвется из горла и окончания всех нервов лопнут в ритмичном, слепом хаосе.

И первые, сероватые, в потеках ночной мути, признаки зари, остатки лунного света в языках берез, что цепью выстроились в переулке, стены монастыря, две девушки, что смеются и зябнут снаружи или, может быть, ждут знака, и крик локомотива из лона ночи, и сама эта ночь, доживающая свое, и решетка окна, крест и распятие на стене кельи, священные книги, позор и исступление, ползучая сволочь-смерть, муки, запах далекой тьмы, тишина, невозмутимость камня.

Глава 35

Местом проведения всемирного конгресса по философии и математической логике был избран на этот раз прелестный город Баден-Баден, что в Германии. Честь сказать вступительную речь на конгрессе была возложена на престарелого философа Хайдегера, хотя по поводу этой кандидатуры имели место расхождения во мнениях.

И вот, в полдень, на одном из витков дороги, взбирающейся вверх, на осиянные солнцем галилейские горы, появляется автомобиль, гудит во весь голос и — доставляет Элише Померанцу вместе с множеством других, пустейших писем *это* — с официальным, украшенным тиснением и с приложением золотой печати приглашением: да не соизволит ли высокоуважаемый выступить перед конгрессом с докладом на тему "математическая бесконечность"? Да позволительно будет нам задать еще один вопрос: не угодно ли Его превосходительству письменно сформулировать

краткое изложение либо основные положения предстоящего доклада, с тем, чтобы мы смогли их предложить для предварительного ознакомления всем нашим дорогим и уважаемым, которые прибудут на конгресс? С надеждой на встречу, искренне, с глубоким уважением. Германия, день такой-то такого-то месяца и года.

Несколько дней обдумывал Померанц это приглашение, рассматривал его вблизи да издали, вертел так и этак, прикидывал, сопоставлял различные за и против, как будто его приглашали взять на себя обязательство выкопать канал, что соединит Новое Польское Королевство на греческих островах с Балтийским морем.

И вдруг решил принять и поехать:

— Эй, Мечислав Первый, Штшивольский Последний, да разве это допустимо, чтобы силы покинули тебя в миг решающей схватки на глазах у всех?

Но даже если такое случится как раз там и в то время, это будет только к лучшему.

Пусть это то же самое, что сунуть голову в разверстную львиную пасть, пусть множество людей усомнится и посмеется над тобой — да будет то место и тот миг прокляты навек.

Это решение приободрило его, почти обрадовало. Он сказал себе:

— Так и не иначе.

И добавил:

— Мертвые стекляшки глаз медвежьего чучела.

А еще:

— Хайдегер собственной персоной. Сам Хайдегер...

Он сообщил о своем решении секретариату кибуца, там отнеслись к его намерению доброжелательно и тут же охотно утвердили поездку.

Пользуясь случаем, Померанц дал понять, что намерен и в будущем уделять половину своего времени работе в секторе мелкого рогатого скота и что даже в мыслях у него нет прекратить починку часов для сотрудников или прервать дополнительные занятия с отстающими учениками.

Это произвело положительное впечатление и даже вызвало удивление. У некоторых мнение об Элише переменилось к лучшему. Другие лишь пожали плечами и пробормотали: ну и ну. Или: ну-ну.

Конечно, были и такие, что продолжали судить об Элише по-прежнему и усматривали в этой его преданности кибуцу поддельное скромничание, позу еще более уродливую в их глазах, чем любое лицемерие, любое чванство на свете: дескать, вот, глядите, он точь-в-точь, как все другие, несет свое ежемесячное дежурство по мойке посуды в общей кухне, ни минуты свободного времени у человека нет — эй, где там фотоаппарат?! ну-ка, запечатлейте: вон он, одет как все люди, вот он на секундочку снисходит к народу. Да что говорить — это же Великий Раввин из Вильны в облике деревенского святого.

Дальше — больше. Стало известно из газет, что иные — а их не так уж мало — оспаривают новое открытие. Сомнения возникли и в нескольких знаменитых университетах. Повевало отрезвляющим. То в том, то в другом научном журнале — письмо или заметка. Один профессор, еврей итальянского происхождения, имеющий влияние в нескольких научных институтах на западе Соединенных Штатов, вдруг во всеулышание обвинил Померанца в мошенничестве, математической акробатике и со всей суровостью провозгласил, что нет тут никакого открытия, а вся эта формула — нечто вроде такого удивительно хитрого фокуса-морюкуса в просвете между двумя смежными научными дисциплинами, на запущенном поле, что разделяет две центральные логические системы.

В то же время обнаружился в Роттердаме некий нахальный скромный учитель, который представил какое-то туманное свидетельство, что не кто иной, как он, еще в тридцать девятом году расщелкал этот самый математический парадокс и лишь из-за его, учителя, невезучести весть об открытии не стала тогда достоянием многих.

А замнаркома по делам науки и энергетики Осип Григорьевич Кумин в речи, которую он произнес на собрании Академии наук СССР, напал на бесплодные, схоластические и оторванные от жизни теории западных псевдоученых и их тель-авивских приспешников. Всю эту схоластику оратор нарек "талмудизмом и начетничеством".

Даже среди кибуцников находились такие, что выискивали и прочитывали другим каждое подобное сообщение, стоило ему появиться в какой-нибудь газете, хотя бы даже в разделе забавных случаев. У них просто сердце таяло при чтении подобных опровер-

жений. Они перешептывались, пересмеивались тайком, сдобривали слухи перцем и втихомолку ждали, когда грянет обвал, рухнет формула и прекратится вся эта мельтешащая в глазах, хотя и согревающая их душу, суета.

У большинства кибуцников не было определенного мнения. Мол, чего от нас хотят? Не простого человека это дело — судить? Может, оно так, а может, иначе. У нас своих хлопот полон рот. И не горит. Вот до реки-то доедем, тогда и подумаем, как через нее перебраться. А может, ее и вовсе нет, реки-то. Одним словом, поживем — увидим.

Тем временем отстающие ученики, как и прежде, с непроницаемыми лицами и с загадочной для Померанца прилежностью являлись к нему. Рассаживались. Обильно потели. Старались изо всех сил, аж кричали. Когда им что-то становилось понятным, глядели на своего учителя светящимся взором. Если не понимали, уходили себе тихо домой, чтобы прийти снова через пару дней и постараться понять.

А этот чудаковатый Йотам, Эрнестов сын, привязался к Померанцу и что-то, не переставая, ему рассказывал. Да ведь во всем кибуце не найти было человека, который избежал стать жертвой ненасытной страсти этого мальчишки поговорить. Он даже перед голубями речи произносил и кустам олеандра проповеди читал, а о девчонках и говорить нечего — те, как заметят его, убегут или спрячутся, пока не пройдет мимо, а то ведь спасу от него не будет.

Мамаши этих девчонок поглядывали на Элишу Померанца с востых скамеек да из шезлонгов в вечернюю пору, прохлаждались на легком ветерке и судачили промеж собой.

— Известность и слава скоро приходят, но и проходят скоро.

— Каких только звезд небесных ни насмотрелись, а кто их нынче помнит?

— На семинаре как-то прочитали нам заметку Борохова* под названием "Воздушные замки"... Ох, и метко!.. Или, может, то был Табенкин**?..

* Борохов (1881—1917) — один из идеологов левого сионизма, полагал, что репатриация евреев в Палестину произойдет как стихийный процесс. В Палестине никогда не был.

** Табенкин (1887—1979) — также один из идеологов левого сионизма, однако принимал активнейшее участие в евреизации Палестины: становлении кибуцного движения, создании армии, развитии сионистского воспитания и т. д.

— В этих делах тоже ведь мода: появляется некто, понаделает шуму да исчезает. Так оно.

— Да ведь это дело с самого начала было уму непостижимо. Неестественное.

— А может быть, ди ганце зах из а дрей, а спекуляцие, а гигантише блаф*?

Глава 36

Тема сценария: ошеломляюще жестокое столкновение между агентами разных секретных служб, чья хитрость не знает предела. Действие происходит в переулках, на глухих железнодорожных станциях, в залах ожидания роскошных гостиниц городов Милан, Турин, Лукарно. Главное действующее лицо — видная особа из русской разведывательной службы, красивая, незаурядная, окутанная таинственностью женщина, несмотря на смертельную опасность решившая перейти на сторону израильской секретной службы, после того как в недрах ее души неожиданно проснулась старая любовь, а также по другим причинам, которые обозначены лишь легкими намеками. Все свершается ночью, и ужасы этой ночи должны быть засняты в черно-серых красках и резких, нервных контрастах, в то время как воспоминания главной героини, переплетенные с галопирующим основным действием, следует показать в мягких красновато-серых тонах и сокровенно до предела, в духе импрессионистской живописи. Диалоги краткие, четкие и немногочисленные. Большинство кадров сопровождает глухой рокот двигателей. Музыка нет. Использование эффектов умеренное. Общая атмосфера — злобная и немая вспышка, наподобие кинжальной схватки водолазов на глубине. Милан. Ночь. Неоновые огни. Телефонная будка. Некто с татарскими чертами лица, выдающими звериную хитрость и смертельную тупость (снять крупным планом), плоскоголовый Андреич поджидает во тьме, между двумя огромными грузовиками, стоящими в боковой улочке. Резкая смена кадров. Вестибюль гостиницы. Служители. Шейх в пустынном одеянии и с золотыми перстнями. Старик в кресле-качалке. Обезьяны, попугаи. Холодные красотки. Два господина, тесно сдавившие промеж собой некоего близорукого. Особа, чье лицо скрыто белой вуалью. И — внезапно — двое толстых мужчин

*...все это дело — трюкачество, махинация, гигантский блеф? (иди).

стреляют вслед остервенело улепетывающему прочь автомобилю, промахиваются, стреляют еще, в них стреляют сзади, они не слишком взволнованы, пускают в ход некие лучевые аппараты, мерцающие или издающие легкий, ритмичный стук, по ним вновь стреляют, а они по-прежнему не обращают ни малейшего внимания на жалящие пули, замыкают какое-то кольцо окружения и только после этого, плавно, словно балетные танцоры, валятся один на другого, и вот уже оба — никчемные тряпичные куклы, а под одеждами у них — синтетическое нутро. Не люди, и тела у них — не человеchi. Сразу перемена цвета. Меняется ритм. Меняется обстановка. Просторы. И вновь все черно-серое, ночь, резкие сечения. Товарный состав сходит с рельсов и срывается в пропасть. Маленький самолетик при выключенных огнях приземляется и тут же вновь взмывает ввысь. Ночь. Кто-то на миллиметр проворней других, кто-то перехитрил, оставил с носом, кто-то попался в ловушку и скрежещет зубами, нечто промелькнуло молнией, возникло и пропало в сумерках, тень изменила очертания, кто-то изменил кому-то, злобный удар, бледная ночь, и все это — под покровом тишины. Сценарий написал раввин, доктор Эрих Ванденберг. Министр, земляк Стефы и Померанца, состоявший когда-то в обществе имени Гете, утвердил и поддержал. Владелец внешности молодого повесы, победно ликуя, вернулся в свою скучную холостяцкую комнату на окраине старого Бат-Яма и там проспал двое суток подряд, затем дал себе отдохнуть еще сутки, сумев продвинуться за это время на пару страниц в своем частном исследовании о неизвестных донине истоках ссоры и ненависти между раввинами Эйвшицем и Амданом, и при этом ему удалось раскрыть такие тайны, которые до сих пор не поддавались ни одному исследователю. Что касается плоскоголового Михаила Андреича, то он вовремя сообразил, что ждет его за провал, и — попросил политического убежища в Америке. После того, как из него извлекли пользу и выплатили за это мзду, он некоторое время зарабатывал воплощением — в старом духе — образов русских помещиков в кино, а затем набил руку не то на ролях бессовестных негодяев, не то славянских дворян в изгнании. и наконец укатил в Аргентину и там, если верить слухам, страшно разбогател, подвизаясь на поприще мясных консервов.

Между тем Галилея распахнулась навстречу волне весенних запахов. По утрам все заливал влажный свет. Этот изменчивый свет точно околдовал вечно отрешенные холмы, их вдруг обуяло исступленное ликование, и, уже не помня себя, вспыхнули холмы несметными огоньками анемонов. А вблизи — неразлучно, будто связаны невидимой ниточкой, порхают бабочки, жужжат пчелы, снуют, шебурша, муравьи, капли росы по утрам, новые птицы с новыми песнями. И яркая завязь бутонов.

В рабочей одежде, в шапке своей всегдашней, надвинутой на лоб, и с пастушьей палкой в руке проходит Элиша Померанц спозаранок перед баракон кибуцной конторы, а Эрнест, пряча улыбку и приподняв одну бровь, неприметно наблюдает в это время за ним через окно. Неужто? — пытливо вопрошает бровь. Элиша удаляется, и Эрнест сразу же вновь усаживается у своего арифмометра. Воистину так, — удовлетворенно опускается бровь.

Несколько раз в неделю Померанц погоняет стадо. По вечерам он сидит в своей комнате. Придет гость — привечает его Элиша чашкой кофе с печеньем. Две подружки, Вера и Сарра, та и другая — состарившиеся возлюбленные Эрнеста, заботятся, чтобы печенья было всегда вдосталь. Порой и другие женщины вызываются помочь чем-нибудь Померанцу. Хозяин затевает с гостем просвещенную, хотя и незамысловатую, беседу — о музыке, о перспективах прогресса и его опасности, о положении вообще, а также нынешнем, тут. Вскоре гость заговаривает о душевном убожестве, а иной еще приводит примеры... Элиша весь внимание, подчас ответит вежливо и туманно либо намекнет, что нужно сохранять душевное спокойствие и что это возможно, даже когда кажется, что превыше сил. И вновь замолчит, превнимательно вслушиваясь во все, о чем ни заговорит гость, хотя бы тот нес несусветную чушь.

И в то же время, не отрываясь ни на миг, слушает непокорное бие воды в трубах, внимает детскому крику на далекой лужайке, увещевающим порывам ветра и отзыву сосновых крон, свету ночных звезд, шелесту полей от прикосновений ветра и шероховатому шепоту тишины в последний час перед рассветом.

В комнате всегда прибрано, насколько это в его силах, и всякая вещь знает свое неизменное место. Будто не человеческое это

жилье. И запах стоит тонкий и беспокойный, может быть, кисловатый, или, может, не запах, а неуловимое присутствие чего-то, примета, что обитает здесь неугомонный холостяк, которому до старости — рукой подать. Временами этот запах или незапах начинает раздражать, вызывает мимолетную злость, поскольку сам хозяин комнаты не умеет ни свыкнуться, ни примириться с этим явлением.

Кибуцу, не переча и не ропща, он отдает положенное, а справив все обязанности, закрывается в своей комнате.

Спокойному, но ровному, как волос, распорядку подчинено у него все. Рано утром, едва проснувшись, проделывает он с полдюжины энергичных, почти изнурительных гимнастических упражнений по индийским правилам. Эти упражнения еще тридцать лет назад в городе М. внедрял в обиход у своих друзей и знакомых профессор Зайчак. Однако самому профессору они были совершенно непосильны.

После зарядки Элиша выходит наружу в несуразном, бросающемся в глаза, как у клоуна, своем рабочем одеянии и мимо окна Эрнестовой конторы шествует в столовую. Там он берет краюху хлеба, повидло, оливы, наливает себе кофе с маслянистой пленкой и отправляется к навесу, под которым его дожидается стадо, а оттуда — на пастбище.

В шесть утра равнины уже затоплены ранним весенним светом. Холмы источают печаль. Тонким и ядовитым чудится дуновение бегущего времени. А напротив, за логом, виден кибуцный двор, окруженный легкой зоревой дымкой. И кажется, видать, как на площадке для железного лома медленно ржавеют большие куски. Вокруг площадки и всего двора — паутина колючей проволоки, поверх которой поднялась дикая поросль и переплелась с проволокой в попытке утолить ее уродство. Вдоль этой ограды, через равные промежутки, деревянные фонарные столбы. И каждый столб вздымается из проволоки колкой, как будто сам он по себе и нет других столбов, да и не может быть.

Под крытыми жостью навесами видны машины для сельских работ, большие, укутанные промасленной мешковиной и в окружении тишины, словно русские медведи, доставленные в эти опаленные солнцем края, где они, ошеломленные, залегли не шелохнувшись.

На обед в столовой котлеты с картошкой, приправленной, как обычно, жареным луком. Женщины. Письма. Объявления на лист-

ках и на доске. На третье — компот. Красавцы парни в синих комбинезонах. Старики, чьи лица будто вырезаны из корявого дерева. Старушки, губы в ниточку. Полтора поколения назад товарищи старушки пошли в священный бой против законов самой природы. Исход борьбы еще не решен, и боевые подруги поныне тут, по-прежнему беспощадны и до сих пор на страже.

За дальним столом сгрудились несколько лысых и седовласых мыслителей. Собравшись вместе, они всякий раз поглощены спором: о заметке в газете или происшествии, о чем-нибудь из ряда вон выходящем или, скажем, о неожиданном и напрасном отказе от должности одного из основателей "Тнувы"* или союза земледельцев, о политических событиях и вообще — что происходит, почему так, а не иначе, к чему это идет, и что из всего этого следует, и каков скрытый смысл всех этих дел.

А из кухни слышится шипение масла, и воздух пропитан благоуханием пышной запеканки и квашеной капусты. Но только благоухание это не вызывает ни единого замечания у спорящих.

В послеобеденный час любит Элиша побродить по тропинкам под сенью деревьев. Неспешно ступает он с палкой в руке. Умственно идет, ни дать ни взять — материк движется, — говорит всяк наблюдающий за ним. Он будто с головой ушел в какие-то многосложные расчеты.

И выжидает.

Вернувшись с прогулки, он обычно посвящает какое-то время своему саду: пропалывает, подрезает ветки, рыхлит, поливает немного. Сад его крохотный, одно название что сад: полдюжины разных кактусов высажено в расселинах меж ноздреватыми камнями. Эти камни выложены в строгом порядке, двумя параллельными дугами, которым запрещено сойтись, и на то приставлены к ним два одинаковых куста, остриженных по-солдатски.

Посадовничав, уже ближе к вечеру, отправляется Померанц вздремнуть с часок. Но даже во сне временами вершится какой-то расчет, сопоставление разночтений, устойчивости шаткой поиск.

А где-то на границе между сном и явью темнеет мир: серый прямоугольник окна среди черных стен комнаты.

Чашка кофе с печеньем. Сигарета. Сполоснуть чашку, вытереть

* "Тнува" — израильское кооперативное предприятие по заготовке и оптовому сбыту продукции сельского хозяйства.

и водворить на свое место. Протереть стол тряпкой, впитывающей влагу. Неуверенное раздумье: как поступить с этой тряпкой? Решение: стряхнуть с нее крошки за окно. Проветрить полотенце. Поменять воду в цветочной вазе. А после короткого колебания: сменить и цветы.

Затем он читает газету. Израиль повторно предупреждает, тогда как его враги вновь угрожают. Толкования так и толкования этак. Столбец диковинок и побасенок. На развороте: речи, стихийные бедствия, замыслы развития, возобновление старой общественной перепалки. Потом подходит время послушать радио. Новости и ежедневный обзор. Хорошо бы спокойную музыку в промежутке... А снаружи восходит, проникает в комнату и щемит душу здешний вечерний простецкий запах. И несколько терпких, тоскливых переживаний перепыхивают душу от края до края — ну просто до того, что хочется взять и сгинуть немедленно, в этот самый вечер, как будто трахнуть вдребезги единым махом какой-то нестерпимо ослепительный прожектор становится желанием неизбывным и первейшим. Весь круг возможностей давно перепроверен. Но вот воспоминание набегаёт, проскальзывает внутрь — и тут же отшвыривается железной рукой... Ан нет руки железной. А только есть остаток сил последний, что позволяет, коль сей же миг не сдохнуть, то посвятить себя математическим раздумьям.

А вот и вечер. Желтый электрический свет. Предметы, находящиеся в комнате, меняют свой облик. Раньше здесь была собака, ничтожная, сомнительная и противная с виду, но теперь нет и той. И если тень от книжной полки меняет очертания или колышется, хотя сама полка все та же и не пошевелинулась, то что поддерживает тебя в этот определенный миг?

За окном все скрыто от взора ночью тьмой: галилейские горы, серые скалы, одинокая олива на склоне, западный ветер, черный, как сама ночь. Но и во мгле не знают покоя долины, там что-то происходит в тишине: сплывается, горбится, бродит. Но что? И что оно желает обратить в обломки, погубить? И кто наводчик?

Но человек, что одиноко стоит у окна своей комнаты в кибуце галилейском, чувствует и понимает: в этом мраке живом перед ним все холмы да пустые холмы, но холмами они притворяются лишь, а на самом-то деле — совсем не холмы, только страсть отвлеченная, что укрывает на короткое время кипарисы и камни. До поры.

В начале девятого начинают сходиться его ученики. В комнату они входят неуверенно, почти боязливо. Легонько стучат в дверь пальцем, Померанц приглашает их войти, они делают два шажка и смущенно останавливаются, как будто все еще надеются, что хозяин передумает и вытолкает их обратно, в ночь. Сядутся они не иначе, как на самый краешек стула. И эта настороженная скованность тем паче удивляет, что парни-то они все здоровые, с тяжелыми ручищами и черными от въевшегося машинного масла ногтями, широкоплечие, и лица у них грубые. И девицы им под стать: крепкие, полнотелые — аж распирает. Однако ж что-то принуждает их мелко семенить, когда заходят друг за дружкой в эту комнату — ни дать ни взять ступают по канату. И вот еще: стараются явиться все как один в назначенное время. Сидят и учатся решать простые уравнения и применять геометрические теоремы. На взгляд со стороны так и напрашивается сравнение: тревогою охваченные и с толку сбитые дикие звери, угодившие в сеть. Вот Померанц пересаживает одного из них к столу, наливает и, невзирая на невнятный отказ, подает этому переростку стакан лимонаду, а затем вычерчивает для него на листе в клетку какой-нибудь простейший график, или решает вместе с ним уравнение с одним неизвестным, или с помощью вилки и двух столовых ножей строит неравные углы, проводит касательную к стакану.

Частенько приходит вместе с ними Эрнестов сын Йотам, однако не для того, чтобы учиться, но высказать свои суждения Померанцу. Или просто прикорнуть в единственном кресле, отодвинутом в угол комнаты, в то время как по радио приглушенно звучит классическая музыка.

Часов в десять, по окончании занятий с учениками, Померанц вновь берет палку и отправляется в свою вечернюю прогулку. У старожилов кибуца светятся квадраты окон. Слышно радио. И звуки смеха. Женщина что-то раздраженно говорит на идише.

Он недолго меряет шагами освещенные фонарями тропинки, спускается в конец аллеи — быть может, чтоб вспомнить на краткий миг аллею на Ярославском бульваре. Выкуривает во тьме последнюю сигарету. Лицо его хмуро. Ночь шлет ему свои голоса. Король Польши на греческих островах медленно погружается в ночную тишину. Потом он возвращается в свою комнату. Поищет и найдет по радио какую-нибудь далекую европейскую станцию, что передает музыку допоздна. Усаживается к столу и предается

на полчаса своей беде — призывному костру, зажженному на пустыре, — математическому уравнению.

И вдруг промолвит про себя: баста.

Соберет листы, положит в ящик стола и запрет. Припрячет ключ за занавеской. Затверженным движением выключит радио. И изготовится ко сну. Притом случается подчас какая-то ничтожная заминка: тюбик зубной пасты лопается ли внизу или шнурок на пижаме запутывается так, что не развяжешь... Померанц что-то бормочет себе под нос по-польски и — гасит свет у изголовья кровати.

Нисходит сон:

Скулеж волков. Ночные вампиры. Удар топора. Леса, леса... Снега. Греческая музыка. Американские денежные знаки. Одри. Начала все простые, но дьявольски хитры соединенья их.

А поутру пожар восхода вновь заколдует горы с восточной стороны. Словно какое-то печальное торжество подходит к концу как раз в эти минуты где-то там, на краю просторов, за горною цепью, и тихо гаснет.

Иногда за стадом с его пастухом увязываются две большие овчарки Шаулика, Егуды Ятома сына, того самого Шаулика, что отвечает за скотный двор.

Рассеянные по склону овцы жуют траву, а то перестают и надолго цепенеют в полудреме, пусто уставившись на свет галилейских гор вдоль небесного побережья.

Бывает, одна из овец ошеломленно поднимет голову и заблеет протяжно, удрученно, утробно — будто вдруг позвали ее издалека.

И тотчас ощетиниваются обе овчарки в смутном беспокойстве, угрожающий, сдержанный ропот прокатывается в их глотках, хрипнет, всхлипывает, словно глохнет под водой. И замолкает.

И обе вновь покойно распластываются на земле.

Глава 38

В человеческом страхе перед небытием и вечным присутствием смерти философ Хайдегер пытается усмотреть ключ к загадке связи между временем, бытием и сознанием.

В своей знаменитой книге "Введение в метафизику" (1953 г.) философ вновь старается разъяснить, что немецкое слово *ist* (его можно перевести как "есть", "имеется", "является", "пребывает",

“находится”, “существует”, “происходит”, “наличествует”, “царит” и т. д.) не только имеет разные значения, но они нередко взаимно противоположны. Для наглядности философ приводит чудесную подборку случайных предложений, в каждом из которых непременно есть это слово, только мы не обращаем на него внимания. Говорят: “Бог ist”, “земля ist”, “в аудитории ist лекция”, “этот человек ist уроженец Швабии”, “в сплаве, из которого вылита эта чашка, ist серебро”, “крестьянин ist на пути к полю”, “эта книга ist моя собственность”.

А также нижеследующие:

“Враг ist в отступлении”, “в России ist голод”, “в саду ist собака” и прочее.

В заключение Хайдеггер цитирует строки из известного стихотворения Гете:

”Über allen Gipfeln
ist Ruh“,

что в переводе означает:

”Над всеми холмами
ist покой”*

Во всех этих вместе взятых примерах философ черпает поддержку для вывода, к которому он приходит, хотя делает это с тяжелой душой: язык как таковой — всякий язык, всегда и повсюду — готов предать, и притом именно в тех вещах, на которых зиждется наше пребывание на свете. А потому наш долг — освежить и очистить язык, сотворить язык достойный — еще раньше, чем поднимем якорь и отплывем в неведомые миры, за тайнами Времени и Бытия.

С той самой поры, как университет во Фрейбурге очистили от евреев, а профессор Хайдеггер с благословения нацистских властей был назначен его ректором (1933 г.), философ не прекращал настойчиво, без усталости копаться, обследовать оболочку ложного языка, заурядного, окаменевшего в своих искривленных грамматических формах мышления, искать возможный пролом, дабы проникнуть в область таинственного, в неведомые бездны бытия. И словно

* В вольном переводе М. Ю. Лермонтова (1840 г.) эти строфы представлены иначе:

”Горные вершины
спят во тьме ночной...”

кончиками пальцев, желал сознанием своим коснуться этих тайн, монашески воздерживаясь от применения слов и языковых форм, что не прошли испытания светом его разума. Но вот, в середине сороковых годов, к великому его смущению и растерянности, в Германии вдруг сменился государственный порядок, чуждые идеи были занесены в нее на чужих штыках, и в голове престарелого философа на какое-то время все спуталось от непонимания и огорчения.

Бывает же, ринется человек изо всех своих духовных сил, стремясь ухватить в словах страх перед небытием, или всматривается в объятые покоем холмы, а у него под ногами вдруг переворачивается земля: враг *ist* в отступлении, в стране России *ist* голод, собака *ist* в саду, а ноги так внезапно *ist* увязнуть в свином жиру.

Глава 39

Секретарь кибуца Эрнест говорил себе в душе:

По сути дела, не исключено, что тут среди нас случайно обитает настоящий научный гений. Однако жизнью-то он живет не нашей. В кибуцных собраниях не участвует, в работу комиссий не вносит никакого вклада, крупными вопросами, такими, как совершенствование общества или будущее нашего движения или государства, не интересуется, да и мелкие вопросы, из которых состоит наша повседневная жизнь, ему столь же безразличны. С другой стороны, он чинит часы, помогает ученикам, у которых есть затруднения по естественным предметам. Стадо выгоняет на пастбище. Все это хорошо и прекрасно, но добром не кончится.

Тут нужно проверить все по мелочам. Каждый сучок и задоринку хорошенько прощупать. Тогда и увидим наверняка, из чего может развиться зло.

Вот, о часах. Тут все безукоризненно. И работа прекрасная, и жест по отношению к товарищам похвальный. Вот, мол, вы-то все знаете и ни на миг забыть не можете, что я такой-сякой, а я перед самим собой не так уж важничая и никаких почестей мне не надо, давайте мне ваши часы, я каждую неделю по два-три часа к вашим услугам, оруженосец я ваш.

Зато взять эти частные уроки по естественным предметам — тут явно двойное дело. Было несколько случаев, когда он в самом деле сотворил чудо, мальчишек и девчонок на правильный путь

вернул, пробудил у них глубокое отношение к правилам, долгу и вообще к учебе. Прекрасно. А с другой стороны, что-то в нем подрывает их спокойствие и невозмутимость. Всякие эмоции он будит у этих взрослеющих мальчишек и, в особенности, у девочек. А это ничего доброго не предвещает. Какая-то непонятная эмоциональная взволнованность у них, все они до одного что-то от других скрывают. Тут не математика с физикой и не геометрия — что-то другое тут кроется. Вообще, худое это дело — холостяцкая жизнь в организованном и налаженном обществе.

С большими требованиями он к нам не обращался. Покамест. А с другой стороны, разве он нас чем-то одарил? Каков его вклад? В каком смысле мы можем считать его своим? Общественность наша, что она от него получает? Да и что, по сути, удерживает его у нас?

Математическая бесконечность — она вещь, само собой, уважаемая, однако нам-то тут сегодня от нее какая такая польза-выгода?

Тут надо еще разок разобраться.

Может, даже посоветоваться малость.

А пока вот послушаем последние известия.

Глава 40

Был у Эрнеста-секретаря единственный сын. Задумчивый он был, пришибленный, расслабленный и близорукий с детства. Одним словом, никудышный парнишка.

Уставится пусто сквозь круглые стекла своих очков на деревья или на камни и смотрит не отрываясь. Руки вялые, что ни возьмет — уронит да разобьет вдребезги, будь то стакан, тарелка или ваза, граммофонная пластинка или очки его собственные.

Словно упорно не верил в вещность любых предметов.

Сперва воспитательницы в детском саду, а потом учителя всегда были наготове, дабы избавить его от сверстников, покуда те душу из него не вышибли. Мальчишки горазды были издеваться над ним и всячески его унижать — и словами, и проделками всякими гадкими. А стоило им отстать, девочки, вострые на язык, тут как тут, от смешков же их да насмешек не знал он, куда деться. Доводили до того, что не выдерживал он и раздражался

ревом. А девчонкам того и надо — мастерицы они, девчонки, осушать слезы сочувствием и жалостью, будто взаправдашними, — скоренько утешат его и — пошло все сначала.

С тех пор как минуло Йотаму десять лет, что ни день грезил он о могущественной власти, которою будет вознагражден за все свои страдания. Уж тогда-то заставит он своих мучителей пасть перед ним ниц, пресмыкаться, вымалывать прощение, милосердие и пощаду. Настанет его черед доказать им, мальчишкам, а главное — девчонкам, что мести он вовсе не жаждет. Наоборот. Он одарит их всех своей любовью, будет осыпать их невероятными милостями, пока душа их не исполнится стыдом и позором за все, что они вытворяли над ним. О, то будет поистине великая радость и наслаждение — прощать и прощать, дни и ночи напролет, до потери сил.

Так, в одиночестве, на протяжении всего своего детства в далеком галилейском кибуце, слонялся Йотам меж белыми домиками, пригожими палисадниками, навесами для овец, коровниками, курятниками, складами удобрений, забирался в укромные уголки в глубине фруктового сада, бродил в тени осенних стогов, напоминавших множеством своим деревню без крыш и погребов. Китайский император в не по росту коротких штанах — одна штанина вытянута, другая — загнулась. Александр Македонский, похожий на совенка из-за маленьких, круглых очков, добрый ко всем своим подданным, в мечтах раздающий им, несчетным, золото, шарик, жемчуг, карамельки и даже брелки для ключей, а взамен собирающий благоуханный нектар всеобщего потрясения и любви, что потечет к нему — когда настанет день.

А покамест подданные колотили его, девчонки насмехались, залезали в его пенал и грабили все цветные карандаши, но только Йотам не гневался, потому как не ведали они, кто он и что творят. А еще потому, что Эрнест в ближайшую свою поездку купит в два раза больший пенал, и вдвое больше будет в нем карандашей разных цветов. Кроме того, была у Йотама заветнейшая тайна, и уж о ней-то знать никто не мог, ни покуситься на нее: ящерица. Жила она между двумя большими, треснувшими бетонными плитами позади столярной мастерской. Ни у кого из мальчишек и девчонок нет ящерицы. И не будет. Какие бы способы издеваться над ним они ни придумывали.

Ноги у Йотама вымахали необычайно длинные. Всяк насмехался, видя, как он, по обыкновению своему вприпрыжку, идет,

стараясь для верности не ступать в просветы между плитами, которыми вымощены тропинки в кибуце. Или вот еще была у него повадка: сильно и долго сжимал кончиками пальцев свои веки — до того, что в закрытых его глазах возникал восхитительный водоворот сверкающих, игривых зайчиков. Прodelывал он это в классе, во время уроков, и его нередко ловили на этом и порицали.

Он неизменно был влюблен, соплив и несчастен.

И всегда влекло его к добру.

Подошел срок, и он был призван в армию.

Поставили его у прилавка, обучили тихо и мирно продавать вафли, газированные напитки, сигареты, фисташки в прозрачных пакетах.

И так каждый вечер, с простодушной, невинной улыбкой, расплывшейся на лице, он стоял и обслуживал покрытых потом солдат; цветущие девицы в защитной форменной одежде, что чуть не лопалась, тесно охватывая их крепкие, здоровые тела, являлись к нему утолять свою жажду; заносчивые офицеры с оттопыренными задями смрадно дышали ему в лицо табачным перегаром и мрачными, добродушно-грубыми шутками — непременный залог низкопробной, плотской мужественности.

Йотам непричастно взирал на всех сквозь стекла своих очков.

Он слышал, не вслушиваясь, всякие глупости и непристойности и вместе с тем видел, как сонмище грубых вожделений теснит и бесконечно принижает этих людей, а они не ощущают этого. Как утомительный вздор и пустота обволакивают все липким, гнилостным слоем.

Однажды ясным утром встал Йотам со своей койки в палатке солдат подсобной службы, тщательно почистил зубы, долго мыл лицо, водрузил очки и — заключил в душе, что все люди, все как один, до последнего, нуждаются в неотложном спасении. Не исключая его самого.

А вслед затем пришло ему в голову, что нужно сбросить мундир, идти в Иерусалим и оттуда кликнуть клич, который проникнет в каждую душу на свете: прекратить раз навсегда войны, отрешиться от всех искушений, преодолеть бессмыслицу. И тогда окончательный мир придет ко всем.

Следуя этой цели, стал Йотам понемногу отделять из выручки от продажи газированных напитков и вафель. Эти деньги он еже-

ночно делил между шоферами, кладовщиками, девушками-машинистками, кухонной службой, которые клялись ему, что двинут за ним прямым ходом в Иерусалим и – будь что будет.

И вот, в одно прекрасное утро стал Йотам, Эрнестов сын, дезертиром. Он пролез в маленький пролом в заборе и зашагал в Иерусалим. К нему присоединились некий вспыльчивый стрелок по имени Элисар Моше, ефрейторы Вильнаи и Адорно, а еще – солдатка – пышная коротышка по имени Бамбергер, уроженка Венгрии, помощник повара, помощник оружейника да двое рабочих-стариков, которые на военной службе не состояли, а пололи колочки вдоль лагерной ограды и тем зарабатывали себе на жизнь.

Их путь пролегал через городки и деревни, кибуцы и хутора, и всюду, где проходили, они пели и дарили радость людям, больше всего – детям малым. Покуда были у них вафли, делили их – совсем задаром – среди мальчишек и девчонок, по штуке каждому. А кончились вафли, раздавали смоквы, которые находили в заброшенных посадках вдоль дороги.

Между Лодом и Рамле их остановила военная полиция. Единственный, кто оказал сопротивление, был солдат Элисар Моше, который принялся кусаться, так что были вынуждены связать его толстой веревкой, и сделали это очень тщательно – как привязывают ящики с абрикосами к борту морского судна. Прочие сдались спокойно, не переча и не ропща.

Йотам, Эрнестов сын, предстал перед судьей-офицером и получил девяносто дней под стражей. Он несколько раз покушался на свою жизнь в надежде привлечь внимание к страшным вопросам, таким, как одиночество, войны, искушения страсти, бессмыслица, решать которые сыны человеческие избегают. Но всякий раз его насильно возвращали к жизни, и врачи говорили ему, что все его попытки тщетны и пусть он не притворяется: хотя он артист или законченный идиот, но все же вполне нормален.

Секретарь кибуца Эрнест, ни сна, ни отдыха не зная, целые дни напролет колесил с места на место, приводил в действие влиятельных лиц в партии и профсоюзах – тех, что были его друзьями в далеких тридцатых годах. Две старые его возлюбленные, Вера и Сарра, не скрывали своего гнева: обе были одинаково уверены, что истинный виновник – Элиша. И хотя ни объяснить, ни обосновать это ощущение они не могли, обе перестали печь для него печенье. Между тем Эрнесту удалось поднять вопрос о Йотаме до

высоких судебных ступеней, да и психиатры по-разному относились теперь к Йотаму. И был выпущен Эрнестов сын из тюрьмы, уволен из армии и вернулся домой.

Немедля отправили его кибуцные организации на семинар для наставников-посланцев, тая надежду, что повстречает он там, на учебе, между делом, какую-нибудь чувствительную девушку и так будет к лучшему. Подобное случалось в прошлом, и всегда находилось решение — не то, так другое.

И впрямь, на учебе Йотаму полегчало, однако от взглядов своих о необходимости неотложного спасения он не отошел. Тем временем целая уйма тактиков наставническо-посланнического дела учила Йотама, как ловить души в странах рассеяния, как воспламенять сердца и направлять этот огонь в нужное русло. Его учили также испанскому. Йотам крепился и не бросал. Старые раны стерлись в его памяти, морщины разгладились на лбу. Солдатка Тхия Бамбергер, уроженка Венгрии, привиделась ему вдруг — маленькая, пышная до невыносимости.

Спустя некоторое время поехал Йотам посланцем молодежного движения в Аргентину. Там он жил в общей квартире с другими посланцами-наставниками, участвовал в бурных спорах, что продолжались, бывало, всю ночь, до рассвета. А по прошествии нескольких месяцев вдруг заметил, до чего ошеломительно красивы дома в богатых кварталах, что на горе, и женщины, — обнаружил мир вокруг. Он сдружился со своею тетей, сестрою матери, что проживала в Аргентине и поставляла мясо в коробках во все концы света в компании со своей дочерью и еще двумя пожилыми русскими эмигрантами.

А тем временем, как Йотам шел к полному выздоровлению и продолжал искать свое место в мире, Эрнест заболел тяжелой, неизлечимой болезнью крови.

Его серые глаза еще больше посерели.

Забота о сотрудничестве между Померанцем и общественностью кибуца вновь перестала занимать мысли Эрнеста. И все же несколько раз так случилось в предвечерний час, что математическая бесконечность, а также парадоксы, вытекающие из нее, возбудили его любопытство.

Его бровь, та, что всегда была изумленно приподнята — дескать, как это мог его собеседник столь низко пасть, — склонна была

теперь прийти к согласию со своею напарницей. Лицо его выражало покой, сродни тому, который, возможно, подразумевал в своем стихотворении Гете.

Глава 41

Он даже раза два или три после вечерних радионовостей заходил к Померанцу, усаживался, задавал вопросы и внимательно слушал, что тот ему отвечал.

Несмотря на болезнь, Эрнест оставался человеком спокойным и вдумчивым, не было заметно в нем никакой суетливости, и, сидя с хозяином комнаты, он не прекращая рассуждал, сопоставлял, клал слова на чаши весов, рассматривал их на свет лампы, а новые мысли оставлял мокнуть на ночь и еще на день, чтоб затем посмотреть и проверить: что это и в какой мере?

Ночь смыкалась над ним и над хозяином комнаты, галилейская ночь первых дней лета, и видно было, как в ней кишит нечто косматое, но это не отклоняло Эрнеста от выверенной жизненной нити, за которой он следовал от начала своих дней. Даже то, что пытался он ныне понять в общих чертах, не сбивало его с толку. К полуночи он возвращался домой; одна из женщин — а подчас обе вместе — заваривала ему стакан чаю, протягивала пилюли, стелила простыни, а Эрнест тем временем отстукивал на пишущей машинке некий итог, краткие выводы того, что видел и слышал, подобие дневника наблюдений. Писал он ясным — яснее быть почти не может — языком и словно учинял каждому слову скрупулезный личный обыск, прежде чем позволял появиться в письменном виде.

Быть может, найдется пара каких-нибудь мест, да и то лишь в последних записях, где сила невозмутимости у Эрнеста несколько иссякает. Но ведь он страдал тяжелой болезнью, испытывал в те дни неистовые боли и был горько удручен. Возможно, и страх охватывал его.

Запись первая.

Если хорошенько вдуматься в такие понятия, как "сила притяжения" (гравитация), "сила непрерывности" (инерция) или "закон природы", то думающему об этом тут же становится ясным простой вывод: разные ученые пользуются здесь языком вопросов, сравнениями, поэтическим языком. Ученый впадает во

всяческую панику, когда его внимание обращают на точный смысл выражений: “земля влечет”, “тела страдают” и тому подобное. Тут перед нами выбор: так либо этак.

Запись вторая.

Масса, энергия, электричество, магнитные поля. И вместе с тем: время, пространство, движение. А наряду со всем этим: воля и страдание. Место, где все это сталкивается или пересекается, есть музыка. Даже не принимая никакого решения, можно отчитаться: отсюда вытекает гипотеза, обладающая очень крепкой силой соблазна.

Запись третья.

Представим на секунду, что музыка — это на самом деле энергия в состоянии подлинного, первичного накопления, что она была, когда ничего еще не было, и будет после всего. Если рассуждать по этой цепи, музыка — это метаэнергия. Вместе с тем это математическое понятие. Отсюда кое-кто может прийти даже до того, что “мысли — это радиоволны”. Исходя из того, что математикой можно уловить все то, что и звуками, получается, что сеть цифр дано уловить начала воли и начала страданий. Далее, система взаимоотношений между мерами времени, пространства и мышления, а также между всем этим и энергией, движением и ритмом давно уже схвачена в музыке. Если ты обладаешь ключевой формулой, то все можешь перевести в математику, в формально-количественные отношения.

Запись четвертая.

Итак, перед нами нотная шкала. Время и воля, электричество и образ, пространство, магнит, страдания, гравитация — отныне все поддается синоптическому сплочению, все в единой системе. Ключ, различные модуляции, ритм. Трансфигурация времени и материи. Звуковые пересечения между субъектом и объектом. Назовем всю эту систему математика.

Запись пятая.

Математическую формулу, которая приводит в действие могучие галактики и атомные частицы, а также жизненные начала, можно ухватить и выразить в звуках. Парадокс математической бесконечности, по сути, не “решен”, а лишь замирает: в звуковой

системе он опять-таки не парадокс, и в обязательных логических формах с ним не сталкиваешься. Возможный практический аспект — это, например, подчинение гравитации силою музыки. Искоренение самой медвежести в пляске (выражаясь его словами). Итак, музыка — это поющая математика, и тот, у кого в руках переводной ключ, может, в принципе, менять материю на энергию, энергию — на страдания, страдания превратятся во время, время — в волю, воля — в пространство, все во все, в любом порядке и — прежде, чем сознание разложит все это на различные начала, полностью оторванные друг от друга. Музыка отменяет эту оторванность, и все становится возможным, если ты вообще владеешь музыкой или (опять-таки не мои слова) если ты слышишь, как поют звезды в их пути и можешь воспроизвести их песню.

О магии и тому подобном Элиша не желает тратить ни единого слова, и я этому рад. Смерть — это настолько резкая модуляция, что нет ей подобной. Не более и не менее. Переход со шкалы на шкалу.

Запись шестая и последняя.

Я, Эрнест Коэн, находясь при ясном сознании, выражаю сомнение во всех предыдущих пяти записях. Допускаю, что они сделаны под влиянием болезни, боли и страха. Что все это написано не по моей доброй воле, а в силу принуждения со стороны моего состояния, которое заставило меня хвататься за каждую соломинку. Что все это — мошенничество, которое существует какое-то время лишь только потому, что весь мир целиком, включая научный мир, нуждается в сверхсрочном спасении, а потому готов поощрять какое-то время любого остряка-оракула, принять любое новшество, каким бы поразительным оно ни было, пока не появится нечто еще более новое, еще поразительнее прежнего.

Такое, подобного которому нет и никогда не бывало. В том числе и это — с ним и его уравнениями, его открытием, его доказательствами, этими встречами по вечерам, со мной и моим сыном, этой пишущей рукой и словами, написанными ею. Совсем ни с чем. Пляшущий медведь. Лисий смех. Вовсе ничего.

Я, Эрнест Коэн, этой ночью, сейчас, перед тем, как поставлю последнюю точку, свидетельствую: в данную минуту, сидя на этом месте, я своими ушами слышу, что звезды поют. На вопрос, достаточное ли это доказательство, что они на самом деле поют, у меня нет никакого ответа.

Кстати, если попытаюсь уловить мелодию, повторить ее про себя и воспроизвести вслух — наверняка сильно ее переверну.

К тому же поздно. И холодно.

Глава 42

Вспоминая жену свою Стефу, не мог припомнить Элиша Померанц звучания голоса ее, но видел, будто наяву, ее волосы, изгиб ее шеи и затылка, покатошь плеч и пальцев призрачную невесомость. Через огромные пространства он видел, как умирает медленно вечерний свет у основания колокольни Святого Стефана и зажигаются ночные огни вдоль Ярославского бульвара, колеблются, окутанные желтым туманом, как будто жаль им нарушать окраску ночи. И леса, сплошные леса вокруг города М., а в тишине этих лесов кроется нечто такое, к чему человек может идти всю свою жизнь и — не дойти: кусты, камни, избы, белки, диковинные цветы. Такие цветы, что просто не верится, жадно дышат там. А еще — лисица и еж, мелодия ночных ветров, глубокий вздох заброшенных тропинок.

Во всей ее породистой, прекрасной стати он видел Стефу: вот она стоит, облокотившись на перила моста, лицом к воде, к лесам, во тьме ночной не различимым, и курит. Он стоит отдельно, у нее за спиной, в четырех шагах, не заговаривая с ней и вовсе не напоминая ни о своем присутствии, ни о бегущем времени, стоит себе скромно, курит втихомолку, почти что погружен в отчаяние, и думает.

Стефа приехала домой, на галилейские холмы, утром того дня, когда умер секретарь кибуца Эрнест. Почти что в одночасье с ней появился и Йотам. Он поспешил из Аргентины проститься с отцом. Эти помирающие старики, размышлял он, простирают на тебя такую власть, какой у них никогда не было. В ту минуту, когда они умирают, ты поднимаешь ее и несешь всю свою жизнь, как долг, осторожно, словно это зародыш или опасный нарост в стеклянной банке. И всю твою жизнь, уж больше не гневаясь и не наказывая тебя, а разве что вызывая в душе тихий смех, сопутствуют тебе эти старцы. Во всех твоих бунтах. Всю твою жизнь.

Ну, и Одри — загоревшая под солнцем Красного моря, брызжущая искрами революции, всему на свете присваивающая новое,

верное имя — не преминула, понятно, явиться в срок: она, а вместе с нею Джефф и Сандер со своей гитарой, останутся здесь добровольцами, будут спускаться в поля и работать, по вечерам — уходить в заросли и предаваться там грезам, а ночью — крутить любовь.

Эрнест умер в ясный, теплый день начала лета, когда повсюду разлит неумолимый, резкий, безжалостный свет, время жатвы подходит к концу, стерня на полях золотится с горячей яростью, на крыше портновской, будто гвоздями приколочены, — три черных ворона. А по радио передаются грозные сообщения о сплочении вражеских боевых сил со всех сторон.

И люди, целиком во власти признаков, которые на глаз видать, взрываясь гневом, обмениваются догадками, отыскивают намеки. Питают все еще надежду в отчаянии своем.

Накануне вечером Эрнеста отправили из больницы: дано было указание выписать гражданских больных, а еще — болезнь его была неизлечима; к тому же сам Эрнест просился домой.

Из-за жары и духоты кровать его вынесли на веранду, и там секретарь лежал с открытыми глазами. Он вел один несложный подсчет и подытожил, что жизнь его длилась примерно двадцать тысяч дней. И вот же, в корне смешное положение: половину этих дней он горячо стремился потратить впустую, погонял, чтоб побыстрее оставить позади этот первый десяток тысяч и на всем скаку достичь того времени, когда происходят чудеса. Он сожалел тогда о злой медлительности дней, а во вторую половину все больше погружался в грусть о том, что промелькнуло: о лицах, звуках, местах и запахах, и о дверях, что вышибал, и о дорогах — тех, что не прошел, или о тех, что раз прошел, но не вернулся ими, о грусти, о томлении сердца, о горестной тоске, которую возможно утолить лишь новой тоскою. А ведь все это как раз и есть непротивление и преданность. Зато переваливши середину, дни ринулись и замелькали так яростно, почти забавно — ну, словно маленькие человечки в немых кинокартинах старых. В последний час пред ним мелькнули неверное свечение, бесконечность, спокойствие начал могучих, звезд, моря, ветра и песков, тьмы, музыки. Один вопрос: имеют ли значение все эти чары? Теперь тебе необходимо — как никогда — обмозговать, все хорошенько взвесить. Но сил, которые годами копил, заботливо лелеял, уж нет: они покинули тебя. А может, не было совсем, и только невидимки предательски сме-

ялись за спиною, кривлялись масками — коверные, пигмеи, злые бесы.

В те времена, покуда не был болен, он своему обрюзглому лицу частенько придавал вид замешательства и разочарования, в насмешке сдержанной и грустном изумлении взлетала бровь: мол, вообще, как можно такое вытворять?

О смерти Эрнеста ходили разные путаные толки. Неудивительно, ведь вскоре пришла великая война, жизнь изменилась, люди отмахнулись от мелких вопросов. По одному слуху, Эрнест будто бы решил избавить себя от нескольких дней мук и не то взял сам, не то приказал двум своим возлюбленным дать ему повышенную дозу морфия, который он принимал для утоления боли. И умер спустя полтора часа. Другие говорили, что, наоборот, Эрнест отказывался принимать даже те лекарства, которые были необходимы для поддержания жизни еще одну или две недели, а с обеими женщинами вел себя ужасно жестоко, отказывался отвечать им хотя бы кивком, выплескивал микстуру им в лицо, а пилюли бросал на пол.

Так или иначе, он лежал на кровати, вынесенной на веранду, головою — к цепи ливанских гор, справа от него громоздились сирийские скалы, позади которых, как поговаривали, притаился город Дамаск, реки Амана и Фарпар, мирра и ладан там, на скрытой от взора стороне этих укрепленных, изрытых окопами гор. Непрерывно почти, день и ночь, сидели подле Эрнеста две его пожилые возлюбленные: Вера, чье маленькое, сухонькое тело исполнено было поныне почти непомерной силы, и высокая, согбенная, с жидкими волосами Сарра, которая умела выделявать из глины диковинных зверюшек.

По временам одна из них смиряла ласково намоченным платком Эрнестов серый лоб, виски и губы. Те губы все еще лепили отдельные слова, продуманные, меткие, и которые вонзались, словно гвозди, в Йотама, безгласно сидевшего на табурете и молча ненавидевшего свою любовь к умирающему отцу.

Иногда обе женщины вставали разом и быстро шли вместе, словно совершали тревожный дозор, по бетонной дорожке до угла дома, затем возвращались на веранду и усаживались к изголовью кровати больного. Бывало, Сарра подавала Йотаму чай, и тогда спешила Вера приласкать его стриженую голову. А если Вера подкладывала ему подушку, то тут же Сарра брала прохладный платок, которым только что остужала лоб отца, и отирала пот с

его лба. Когда же случалось, по неосторожности, взгляды женщин встречались, то обе они мгновенно отводили глаза.

Со смертью старого зачинателя в устроенном и основательном кибуце всегда сопряжено что-то неуместное: как будто нарушен определенный порядок, пресечены полномочия какой-нибудь комиссии, резкое отклонение произошло, попрано непреложное старшинство или даже некий ясный идеал низвергнут. То неуместное, которое, однако, не обойдешь молчанием в повестке дня, а может быть, напротив, уж лучше не говорить о нем совсем, чтоб не нарушилась всеобщая устойчивость и кабы не возник дурной пример, предтеча.

Человек спокойный, вдумчивый, обладающий отличным, ясным чувством меры, широкоплечий, трезвого ума, который не изменил ему даже в эти дни крушения и страха, лежит в поту под простынею в кровати, на веранде своего дома, в полуденные часы, и, корчась в муках, перебирает в бреду имена, места и числа, а также произносит почему-то диковинные вещи, в которых он не понимает ничего, как, например, Карибское море или стаи журавлей на перелете осеннею порой в иной стране, а то большими, измученными руками он хочет обнять своего худосочного сына Йотама, пытается вспомнить название старой книги, имя чешской художницы — не удастся, все его грузное тело вздымается от ярого гнева, он неразборчиво бунтует, захлебывается, отталкивает что-то, невидимое другим, бросает Йотаму глухие слова на языке, которым отвечали его младенческому лепету, затем не то икает, не то короткое рыдание издаст, бьет слепо кулаком по собственному лбу, и — нет его, Эрнеста.

Глава 43

Эрнест умер в десять минут пятого пополудни. Стефа же пришла в кибуц несколько раньше, в предобеденный час. На ней было летнее платье в зеленую полоску неопределенного начертания. Человек с ушами, как у летучей мыши, привез Стефу сюда. С услужливой учтивостью и широко, до смешного, размахивая руками, он бросился и открыл для нее дверцу автомобиля, легонько придержал ее под локоть, а своим светловолосым красавцам юношам он приказал ступать впереди, да не спеша, и предупреждать о каждом уступе или уклоне, и словно под звуки походной мелодии, де-

шевой, но безудержной, немногочисленная Стефина свита зашагала по направлению к дому Элиши Померанца.

На расстоянии шагов двадцати от входа ушастый человек и его юноши остановились и дальше не пошли. Всецело исполненные благоговения и невероятной почтительности, они застыли в напряженном размышлении, предоставив Стефе в одиночку и без помех преодолеть последнюю часть пути. До чего побледнело ее лицо, даже губы! Она вошла внутрь, и дверь за ней закрылась.

К слову, светловолосые юноши останутся здесь на некоторое время: на них возложено проделать землемерные работы, а может, им в обязанность вменили пересчитать холмы и горы, готовить перечень долин — до нового распоряжения. Что касается их повелителя, маленького человечка с уродливыми ушами, он отправился своей дорогой, в большом, широком автомобиле, бурчал себе под нос что-то свое еврейское, односложное — бам-бам-бам, — шлепнул пару раз по баранке, поразмышлял о тяжелой тактической ошибке раввина Якова Амдана и о раввине Йонатане Эйвшице, который не сумел использовать промах своего соперника, до конца своих дней не сумел. Но на этот раз маленький человечек слов не громоздил, ни вслух, ни про себя. И лишь изрек в душе: "Гора и холм во власти стихии. Гемахт. Гиендикт"*.

Глава 44

Час от часу смыкались сплоченные силы. Война собиралась. Горячей страстью наполнился воздух. Спирало дыхание. И странная стояла тишина. Солнце полыхало на жестяных крышах и отражало раскаленную ненависть. А над горами и равнинами горела поздняя весна. И ни единой птицы не видать. Еще не скошенное жито шептало сухо, словно чуя дым. А леса? Разве есть тут леса, Стефа, в чьем мраке ты сможешь укрыться. Нет. Страна сплошного белого огня. А где избушки, в которых спрячешься? Или, напоследок, дано здесь основать общество имени Гете? Нет, все исключено. Ослепительная нагота во всем. Ведь вот, опять война, а ни воды, ни тени. Беги, Иисус. Все в точности, как говорил рутенский доктор. И однорукий органист, его приятель. Они заранее предвидели.

*Сделано. Гогово (идиш).

Прервали жатву. Забросили прополку в хлопковых полях: всех молодых призвали в их полки. Старухи чистили убежища, срезали с гряд цветы, чтоб возложить на гроб секретаря Эрнеста, чьи похороны — завтра. Всех, даже пожилых со сморщенными лицами, как у старых блудников-революционеров, тех, что глумились над Стефой в Красноярске, упрямец крутолобых, чей стариковский лик подобие пророческого гнева источал, — всех кликнули на чрезвычайные работы. Они катали тачки нагруженные, консервы разделяли по сортам, распределяли свечи, керосиновые лампы, печенье паковали в пачки и воду запасали в ручных бачках.

И точно так же обеих пожилых возлюбленных Эрнеста, хотя те были в трауре, назначили наклеивать на стекла окон, крест-накрест, вдоль и поперек, бумажные полоски. А юный Йотам, растерянный, трясущийся, как будто в лихорадке, сам вызвался помочь в рытье канав и ям. При этом он вовсю крепился, поскольку в душе не мог смириться ни с войнами, ни с копкой, ни с кончиной отца, ни с мясными консервами, и вся его жизнь показалась ему вдруг запутанной, изъеденной противоречиями — вопреки всем надеждам. Кроме того, копать землю было намного превыше его сил. Саднящие волдыри сплошь покрыли ладони, лопались, соленый пот натекал в отверстия раны, на них садилась пыль, они наполнялись грязной кашицей, было очень больно, он кусал губы, подавляя рыдания. И вместе с тем усердствовал вовсю — в тщеславии перед отцом, Эрнестом, — желая показать тому, насколько в силах вынести страдания, как много выкопать успел. Отец неслышно смеялся, зубы у него были большие, белые, удивительно крепкие. Сын удваивал терпение и усилия, копал судорожно, разбрасывал прах во все стороны, в слепой ярости, ударами торопливыми, неверными бил мотыгой по твердой земле — подобно движениям барахтающегося в воде утопающего. Вскоре он ушиб собственную ногу, выступила кровь. Кровь у него остановили, перевязали ногу и отослали, чтоб посидел в тени деревьев, в зарослях. Там он застал Одри, которая развертывала тюки с бинтами и приготавливала коробки с лекарствами. Они познакомились, разговорились, он остался ею доволен, она сменила у него повязку и соглашалась с каждым его словом. Так пробежали час за часом, она уж пот его телес была готова утирать своими волосами. Он приподнял ее и заключил в объятия.

Поскольку Егуды Ятома сын, Шаулик, был взят командовать

танковым подразделением, необходимо стало вновь приставить Померанца к стаду. В шесть вечера постучали в дверь его жилища. Элиша и его гостя пошли в хлев и уже затемно вернулись в столовую.

Из-за того, что ток был отключен, ужинали при свете керосиновых ламп. Пожилые кибуцники, которых не взяли в войска, а этой ночью не поставили в дозор, а также женщины и дети сидели тут же, ели, пили и приглушенно говорили об ожидаемом развитии событий. Одни считали, будто ссора уже дошла до крайней точки и ждать отныне остается только медленного умиротворения. Другим не верилось, что внешний мир останется вовне и не вмешается. А были и такие, что разгадать пытались намеки и толковали признаки, знамения. И, наконец, пророчил кое-кто, что худшее покамест впереди.

Большинство из тех, которые отмалчивались, не вслушивались в эти разговоры, а думали об усопшем Эрнесте, о его теперешнем одиночестве в обернутом черной тканью гробу на четырех стульях на веранде Дома культуры. Из-за перерыва в подаче тока гроб покоился в кромешной тьме. Восточный ветер доносил с полей ночные запахи и звуки, они ворошили тканый покров гроба, норвили сбросить его на пол, чтобы проверить добротность дерева и испытать, насколько узки зазоры между досками. Те силы знали все, что им хотелось знать, добра они не замыслили, трудились не для нас.

Люди задумывались, какие суждения высказал бы Эрнест в этот вечер, в свете нового положения, но лишь немногие поминали его имя. Нелегко было привыкать к его смерти. Иные совсем не прикасались к пище, не могли. И только пили чай.

Поужинав, вернулись все на добровольческую службу, которую приняли на себя. Померанцу и его госте на эту ночь предложили быть кладовщиками. Не осталось никого, ни немощных стариков, ни кормящих матерей, кто бы ни взялся за какую-то работу. Когда иссякли должности, а ночь спустилась и утопила все, и даже очертания гор с востока впитала тьма, занялись лихорадочной уборкой. Других трудов уже не оставалось. Скребли в лечебнице полы, в убежищах, на крышах разбрызгивали жидкость против насекомых, соляной кислотой опрыскивали раковины, бетонные тропинки подметали и смахивали пыль с оконных рам в столовой.

Темна была эта ночь, в кромешности ее слышался рокот двигателя-

лей и, как обычно, лягушачий хохот, а хоры сверчков казались более четкими, громкими и пронзительными, чем когда-либо прежде.

В течение этой ночи там и тут предпринимались всевозможные большие усилия, чтобы спасти пошатнувшийся мир. Главы государств рассылали послания. Разные круги сеяли беспредметные слухи, дабы предотвратить отчаяние: ведь отчаяние способно воспламениться. Иные провозглашали угрозы. И были такие, которые со всей мощью своего красноречия увещевали и умоляли. Эмануэль Зайчак появлялся в эту ночь сразу во многих местах, далеких друг от друга. С медвежьей шкурой на плечах, с котомкою и палкой, он страны проходил, пересекал моря, без усталости взывал к сердцам народов. Но не было мужей среди внимавших: их взяли, большей частью, по призыву, а те гостили где-то или дрыхнули в своих постелях. Ребята, женщины и старики взирали на него с опаскою глубокою да, не прислушиваясь, слушали, как слабым голосом целует, нанизывает он слова. А то, случалось, швыряли в него камень, в то время как другие, сердобольные, преподносили подаяние и предлагали попить горяченького. Философ Сартр и несколько его сподвижников составили открытое письмо к арабам и всем людям доброй воли и там в изысканных и подходящих к случаю словах учтиво призывали к сдержанности. А маленький таинственный человечек, как только доставил Стефу в ее страну, заспешил по своим делам и заботам и даже на часок не заглянул в свою невзрачную холостяцкую комнату на окраине старого Бат-Яма. С приходом ночи он уже быстро как молния летел в военном самолете на остров Мальту. И там до двух часов после полуночи сидел и вел беседу с тремя американцами в гражданском. То были очень спокойные, приятные на вид люди, понятливые собеседники, чья речь была сдобрена милыми, тонкими шутками, а поведение исполнено умеренности. Маленький же человечек потчевал их от своей возвышенной учтивости, окуривал удивительно замысловатой и протяжной талмудической речью, до того долгой и терпеливой, что по прошествии часа или двух их головы слегка затуманились. Он много прибегал к поговоркам и ярким сравнениям, крылатым словам — для наглядности, часто менял предмет, подтрунивал над самим собой, идеи живописал словами и вдруг провозглашал, что, дескать, хватит слов, не бритвой рубят лес, а если видишь дым, то жди огня.

В два полуночи его просьба была удовлетворена. Нет, то не его

суждения повлияли, а просто те американцы, и что самое поразительное, вместе, все трое как один и враз, вдруг убедились: воистину, все именно так выглядит и происходит, а иначе не может быть. Еще час спустя он вылетел с Мальты обратно, в свою страну, а в семь утра уже видели, как он сидит и неторопливо жует булочку, яичницу, салат и пьет кефир в молочной под названием “Тнува” на улице Бен-Иегуда.

Примерно в тот же час в монастыре доминиканском в Баден-Бадене, в высокой церкви, сошлись монахи и вознесли молитву за мир для всех народов. И долго звонили в колокол.

Глава 45

Что касается Одри и Йотама, то они решили не довольствоваться лишь одними словами, но той же ночью поднялись и отправились пешком в горы, которые по ту сторону границы, чтобы там, насколько хватит сил, встречаться, говорить, и разъяснять, и убеждать, и верными словами тушить огонь слепой вражды. Они не то, чтоб крепко верили в успех попытки этой, но разделяли меж собою чувство, что нет на свете ничего, способного сравниться хотя бы с неудачей предстоящей, но даже неудаче — несомненно — непостижимей и возвышеннее быть, чем всем и всяческим победам, которых исторические книги приумножают красоту и славу и причисляют к чуду из чудес. Ночь была холодная, и, дабы не замерзнуть в дороге, потрудился Йотам раздобыть фуфайки для Одри и себя. О, до чего похорошела Одри в мужской фуфайке на плечах — тонюсенькая, хрупкая сердцеедка, упорная в своей вере, нежная и непреклонная, вся излучающая любовь и гнев. Между двумя передними зубами у нее был маленький зазор, а груди — правильного очертания, вольные, капризно отвечающие каждому ее движению. Одна из тапочек у Одри была надорвана и скреплена бечевкой желтой, а также парой шпилек для волос. И вслед за ней, растрепанной и дышащей свободно, хоть на край света он готов, хоть на восстания, через овраг, колючками поросший, в самозабвенном наслаждении, в крутой кручине и в рыданиях, мыча, ведомый, с песней приглушенной — той, от которой кровь бунтует, и он лишь из последних сил способен подавить неистовый порыв разуться, и зашвырнуть ботинки к черту, и броситься за нею голоногим, бежать, пускаться в пляс, нестись, и петь и — избавлять.

Светловолосые юноши, которым приказано было находиться тут до нового распоряжения, засекли двух, спускающихся в овраг. Шепотом послали они короткий запрос в чрево прибора связи, что был при них, и приняли издали ответ, какого и не предполагали. Остались, не пошевелившись, все трое на своих местах, лишь продолжая всматриваться в холодный мрак.

Все так же, как и встарь, взирали стекляшки глаз медвежьих.

И сам Эрнест, как будто в легком отвращении, рот покривил во тьме — так, словно неожиданно позвали: восстань и выйди.

Глава 46

В девять вечера принялись сирийцы обстреливать из сотен пушечных стволов кибуц и всю Галилею, ее долины и горы — от подножий до самых вершин. Страшные радуги мерцали в небе, сливались громовые раскаты, а взбудораженные воды Кинерета светились и временами извергали струи, которые в тщете и щерясь вставали дыбом и — разрушались в пыль и пену, а эти тоже покорялись и обращались снова в воду. Они стояли вдвоем в темной комнате, облокотившись на подоконник, и теперь Элиша мог ей рассказать, как там, далеко, на лесном яру, где кусты лижут речную воду, немецкие технари взрывали динамитом все подряд железнодорожные мосты, а он из своего укрытия в избушке лесоруба наблюдал. Как из-за воздуха, что переполнял сероватые просторы, происходила некая задержка, подобная опасливой заминке, меж вспышкой взрыва и раскатом низким грома, но, даже продолжаясь лишь мгновение, она всему этому действию успевала придать оттенок столь забавный, почти смешной, что Померанца в его убежище сомнение обуяло... Как пару дней спустя явились те же технари и начали в великой спешке, яростном порыве, во исполнение нового приказа все восстанавливать, как было прежде. О, до чего же небесспорны дела любые и места. И раз уже заговорил, а Стефа слушала не прерывая, то он собрался с духом и рассказал ей кое-что еще. Потом поведала она ему из своего былого. Поздней, когда огонь разбушевался и озарил фигурки стариков пожарных, что суетились около строений, спасая от гибели добро, возможно, и сумели эти двое итоги подвести и краткий сделать вывод, покуда не покинули жилище. Среди теней и отблесков пожара,

плечом и локтем чувствуя друг друга, они пошли в конец пустой аллеи — красавица, гордячка Стефа (еще в далекой юности всяк образованный искал ее коснуться, идеи призывая в помощь) и непутевый сын часовщика. Она его избрала и любила и верила, покуда были вместе, а в разлуке явиться жаждала, рукой коснуться его щеки и — посмотреть, что станет с ее рукой и не исчезнут ли морщины с его щеки. И причаститься тою силой, что в одиночестве его хранила, — хотя бы взвившись вместе с бурей, пусть ушибиться, пусть погибнуть, коль не дано ей сына родить ему.

(Что касается самой войны, то Гершон Кумин, этот могучий старик, еще воспевает всю невидаль ее с превеликою силой, как, например, в “Гимнах Нового Польского Королевства на островах Эгейского моря”. Там у него не будет недостатка ни в барабанах, ни в сверкании труб, ни в духовном величии.) А тут, в кибуцной усадьбе, все так же беспорядочно, с тупой свирепостью рвались снаряды. До чего же отсталыми юнцами были те, которые пришли в отчаяние от математики и музыки, взбунтовались и весь скопившийся свой гнев излили на благой порядок, стремясь искоренить его хилые вкрапления в мире. Хищные когти скребли по красноватым осколкам черепичной кровли, сдергивали с деревьев кроны, дробили жестяные навесы, разорвали быка на куски. Все делалось с ужасным, хриплым грохотом, грубо, клопоча, без всяческого замысла и ритма, с тонким воем, с сиплыми зверскими вздохами, жаркими выдохами, среди пыльных вихрей и в диком смятении. То было скотство, мощная случка, яростное извержение семени — залп за залпом, за залпом залп, — до умопомрачения.

Глава 47

Примерно в час пополудни Элиша и Стефа Померанц пришли к травяной лужайке перед Домом культуры.

Они стояли у края этой лужайки, смотрели на дугообразный путь снарядов, на вспышки огненного света. В затемненных окнах кибуцного Дома культуры отражался пожар. Эрнестов гроб — мрачный, тоскливый, продолговатый — стоял на четырех грубых деревянных стульях. На краю лужайки валялась веревка, свитая в бухту.

Йотам и Одри тем же часом под куполом ураганного огня нащупывали путь в расщелинах горы. Они благополучно обходили

заграждения, и минные поля, и западни: им сила была дана парить. А может, не было ни силы, ни парения, и только воодушевление им в спину дуло легким ветерком, спрямляя путь.

Муж и жена стояли во тьме на краю лужайки, над ними мерцали летящие снаряды, еще выше была ночь с ее сверчками, а поверх всего — на тех местах, где им предназначено быть из ночи в ночь, — звезды.

Мужчина и женщина, оба худощавые и далеко не молодые, казались бессильными в призрачном свечении этой ночи, покрывшей Галилею, но вот губная гармошка появилась в ее белой руке, и другая, такая же, — в руке у ее мужа. И они заиграли.

Музыка растворялась во тьме, и маленькая трещинка начала раскрываться у их ног — обыкновенная, каких сонмище разбегается по спекшейся земле на исходе лета, извилистая, узкая, сухая, но — играла музыка, и трещина была уже не сухая, она была теплая, влажная, продолговатая, а музыка все играла. Тьма стояла над землею и над людьми. То земная кора отдавалась в сыром сумраке и судорожно шипя. Она как будто раскрыла теплые свои девичьи губы и медленно вобрала в себя этих двоих. Разлом дрожал еще мгновение, а затем умиротворенно, мягко и тихо сомкнулась земля над обоими. Слово свершился немой поцелуй двух одиноких. Мелодия угасла. Лужайка выглядела, как прежде. Положение звезд не изменилось. К утру возобновился пушечный огонь, однако вскоре какое-то оцепенение охватило плоскогорье; все пушки, что стреляли оттуда, были подавлены и смолкли. Война была такой скоротечной и разящей, что не верится. А многие не видели ее и ничего о ней не слыхали. Есть такие, что верят во все. Иные даже приписывают тому месту в траве целебные свойства или же способность снимать грехи и очищать душу.

Буйное солнце поджигает лето за летом. Каждая зима приносит дождь и ветер, что балует в сосновых кронах. Йотам и Одри кружат по городам и странам, испытывая силу слов, если только не выпускают мясные консервы. Нет да и не может быть исходу для шороха сосен при вечернем ветре в позднюю осеннюю пору. От случая к случаю сходятся в том месте под вечер с полдюжины людей — мужчин и женщин. Некий ритуал проделывают они: глухо напевают себе под нос протяжную мелодию.

Но в тот же час уже сияют яркие огни в Доме культуры. Из освещенного зала течет и разливается вовне иная музыка.

Перевел с иврита Валерий Кукуй

Весна затягивалась в этом году, каверзно подражая лету дневным теплом, которое к вечеру покрывалось гусиной кожей, а к ночи вместе с людьми пряталась в дома от стойких заморозков. Днем почки набухали, трещали по швам, выбрасывали нетерпеливые побеги, а те жухли, корчились от ночного холода, опадали, и множество крохотных трупиков чернело под деревьями. Но из осатаневших маток выползали все новые и новые побеги, и самые хваткие, самые жадные из них выживали, и уже курчавились бульварные кроны, и липовый дух явственно подмешивался к городскому угару.

...Без людей город похорошел, подобрел, безвредно дремали амбразуры темных окон, из-за витринных стекол миролюбиво тарачились стройные манекены, в сырой тьме дворов копошилась, казалось, какая-то незлая жизнь. Но вот в высоком этаже углового дома на Самотеке резко вспыхнули два окна, тревожно метнулась угловатая тень... Где-то в этой московской ночи висело и Дмитриево окно — он вспомнил, что не выключил лампу, и теперь вдруг представил себе этот поджидающий его тюремный, голый свет, остатки ужина на сто-

Эдуард Кузнецов

РУССКИЙ РОМАН

(главы из новой книги)

ле, развороченный диван с вялой подушкой, комком несвежих простыней — и поежился.

Часы на башне Ленинградского вокзала показывали без четверти два.

У трех вокзалов, как обычно, Москва ночная праздновала победу над Москвой дневной.

* * *

“Банку” Дмитрий купил у дюжего таксиста — навалившись на капот, он поигрывал ключами, всматривался в проходящих, видно кого-то особо поджидая. Дмитрий сунул бутылку в карман пальто и поворачивался уходить, когда таксист, легонько двинув его локтем в бок, спросил:

— Слухай, паря, дырку надо?.. А то сейчас подскочит одна — жду вот. Свежачок — не балованная, значит. И недорого. Идет?.. А то, может, амамку? — и, увидев, что Дмитрий не понял, смачно похлопал губами. — Ам-ам... Усек? Которая ам-ам делает.

— Не интересуюсь, — ответил Дмитрий.

...Было что-то около половины третьего, но какой год — это нарваться надо, по вторичным приметам уловить: вокзальное время, как всегда, показывало беду... С вокзала, казалось, не уезжают, а бегут, на вокзал — не приезжают, а спасаются. Особенно ночью. Даже прилично одетые пассажиры приобретают беженское выражение лиц, когда с чемоданами в руках и тихим помешательством в глазах пробираются сквозь толпу алкашей, проституток, пригородного люда с мешками, надравшихся командировочных и какой-то совсем непонятной ночной рвани. И вокзальные шлюхи отличались от своих, просто уличных, товарок. Не тем даже, что замашками погрубей, лицами поистасканней, одеждой обтерханней — и это тоже, но еще и другое что-то в них просматривалось. Словно любая — останови только, спроси — с воем и плачем поведает, как папаню на прошлой неделе раскулачили, а маманю пристрелили по пьяни то ли белые, то ли красные — в темноте не разберешь, — а вчера последнюю курицу прибил во дворе немец, фашист проклятый, а ее саму приезжий дачник-гимназист подпоил сладким ликером и ссильничал.

Все беды, прокатившиеся над страной в исторически обусловленном порядке, хронологически подтянутые, идеологически обоснованные, сбегали из времени сюда, в привокзальное про-

странство — неизбежные, сегодняшние, они лишь рядились в одежды и слова былого. Ходили по кругу с полуночи до рассвета сегодняшние беды с видом жертв индустриализации-коллективизации, всех войн с их оккупациями-эвакуациями-реквизициями, а на рассвете они опять становились “страницами славной истории” или “пережитками прошлого” и его же “родимыми пятнами”.

...Описывая очередной круг, Дмитрий наткнулся на только что скопившуюся небольшую, но густую толпу. Из центра ее, плотно скрытого спинами, доносились всхлипы, вроде бы мужские, и женский голос, властный, но с истерическими срывами. Дмитрий пробрался поближе. Всклипывал невидный мужичонка, не то чтобы чересчур пьяный, а как будто недавно в эпилептическом припадке бился — одичавший, растерзанный весь... С подвывом и попытками рвануть на себе рубаху, клочьями свисавшую из-под пиджака, он давился каким-то поездом, на который не то не успел, не то был с него ссажен, или тот шел в другую сторону, а пальто у него украли, он его в поезде в карты проиграл, потому он сирота, баба моя померла, один остался, как дырка в гузне, и должен я, должен, спасители вы мои, к старухе моей на похороны поспеть, не на чужих же ей руках помирать, всю избу до последнего горшка соседки растащут...

Мужичонка все норовил брякнуться на колени, куда его не пускала, ухватя за тряское плечо, крупнотелая женщина партийного облика, точь-в-точь Нонна Мордюкова. Масштаба она была не выше районного. Высокая, широкая, в велюровой шляпке, нелепо сидевшей на обмотанной косами голове. Одной рукой она придерживала магазинные пакеты, другой — мужичонку, приговаривая начальственно, однако с надрывом:

— Гражданин, встаньте с колен, гражданин... Вы же советский человек!.. Не смейте унижаться!

Но того неудержимо тянуло унизиться, он выскальзывал, бухался на асфальт, она рывком вздергивала его и в очередной раз обращалась к собравшимся с призывом не оставлять человека в беде, проявить чувство локтя, не проходить мимо, свести в милицию или медпункт, собрать деньги на проезд...

— Товарищи! Ну, нельзя же так, товарищи!.. и вдруг взвилась истошно, видя, что товарищи лишь молча хлопают любопытствующими зенками. — Русские мы или не русские?!.

Такого оборота толпа не ожидала, дрогнула на миг, но все же не поддавалась, благо налетел вдруг откуда-то громоздкий дядька в

распахнутом полушубке, гаркнул зычно: “Катерина! Мать твою!.. Там поезд уходит, а ты тут, бля, агитацию разводишь!” — подхватил Мордюкову со всеми ее пакетами и уволок в ночь, злобно матерясь на ходу.

Мужичонка так и остался на коленях, всхлипывая прежнее про поезд и похороны, но слушать уже было некому, опустело вокруг пространство, вмиг рассосался вокзальный люд: москвичи — народ тертый, и не такое видывали... Дмитрий и сам отошел из первых, почти механически про себя повторяя:

— Русские мы или не русские? Вот в чем вопрос...

Часовые стрелки подбирались к трем, надо было поискать скамейку в зале ожидания — все лучше, чем его арбатская одиночка, и на работу не проспичь, растолкают... Сперва он заглянул в зал ожидания Ленинградского вокзала — не продохнешь, зато на Казанском пустых скамеек оказалось множество — видно, все ночные поезда уже поуходили. И мусоров не видно было, один только дремал у буфетной стойки, подпирая шапкой таинственное объявление: “Имеются в продаже чипсы и крекера”.

Дмитрий достал бутылку, но милиционер вроде бы встрепенулся, скосил глаз в его сторону, и он, от греха подальше, вышел на перрон, глотнул теплой противной водки, закурил.

Пусты были пути и перроны, только одинокий, страшный в темноте паровоз, астматически дыша, уходил в депо, да огромный, в два этажа, портретный Ленин сторожил вокзальную пустоту. Под ним ветер надувал и выгибал транспарант с его же, ленинским, речением: “Железные дороги — это гвоздь всего нашего коммунистического строительства”. Гвоздь, так гвоздь... Занозисто выражались классики, ничего не скажешь.

...Он так и уснул, с рукой, застрявшей в кармане. Еще секунду-другую шевелились пальцы, придавливая жестяную пробку, и затихли, распрямились спокойно. И тут же, как декорацию в современном спектакле, спустили сверху кусты. Поколебавшись немного, кусты расположились рядом с буфетной стойкой, из кустов воровато высунулся Плеханов, осмотрелся и тихонько, чтобы не разбудить милиционера, вышел... Вообще говоря, это был Маркс, но Дмитрий, пронизательно урезав ему клочковатую бороду, сообразил, что все-таки — Плеханов. И как только он это сообразил, из перронных дверей пыхнуло зеленым светом, и вошла бабка — старая, стройная, сухая, в белом гимназическом переднике, с беженским узелком в руках. Дмитрий счастливо закры-

чал: “Вера Никандровна!” Плеханов его крика перепугался и опять скрылся в кустах, милиционер не пускал Дмитрия к бабке, а та медленно, на вершок от заплеванного пола, проплывала мимо, не слыша, не поворачивая головы. Дмитрий рвался к ней, милиционер сосредоточенно отталкивал его, а потом и вовсе, защемив ему локоть, потащил куда-то. Дмитрий напрягся и последним отчаянным усилием — вырвался...

На скамейке, у него в ногах, сидела девчонка, прижимая к щеке, словно у нее прибаливал зуб, его поллитровку. Из правого угла ее рта стекала на подбородок крупная водочная капля. Приветствуя его пробуждение, она бегло ему улыбнулась, запрокинула голову и отпила такой полновесный глоток, что Дмитрий за нее внутренне поперхнулся и понял, что не такая уж она и девчонка — в жестковатой складке рта, в издерганной шее, во всей посадке головы на остро приподнятых, но не детских плечах проглядывала зрелость.

— С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем, — без распева, серьезно сказала она и протянула Дмитрию бутылку.

— Чего уж там, допивай, не стесняйся, — неприязненно сказал он. — Что? Подворовываем помаленьку?

— Я? — удивилась она. — Да если б я... У тебя не то что бутылку, штаны бы увела — не щекотнулся... Я уже с полчаса дожидаясь тебя.

— Зачем?

— Так... А что тебе снилось? Лицо у тебя было... счастливое, что ли. То есть всякое было, но и счастливое тоже. Расскажи — я умею разгадывать... Ну?

— Плеханов снился, — рассмеялся Дмитрий. — К чему бы это? К амнистии, как думаешь?

Она не поняла: “Кто?”

— Ну, Маркс, одним словом, — уже неохотно уточнил Дмитрий.

— Ма-а-ркс? — недоверчиво переспросила она. — Вот это да!.. — и, раздумчиво пробежав по его лицу, как по строчкам, прибавила: — Да нет, врешь, пожалуй. Никакой не Маркс, а женщина. Только старая. Покойница... Бабка твоя, что ли?

Дмитрий потрясенно приподнялся — не то спросить, не то переспросить, но она, как бы отмахиваясь и от его удивления, и от распросов, подмигнула озорно и продекламировала с выражением:

— На Казанском на вокзале хуй нашли, да без волос, пока во-

лосы искали, хуй на яйцах уполоз... Я тут в уборной вычитала на стенке. Смешно, правда? "Уполоз"... Так и видишь, как он ползет...

Дмитрий сообразил: конечно же он во сне выкрикнул "бабка!" или, может, "Вера Никандровна!" — она и догадалась, водчонку отрабатывает...

Она сидела спокойно, не меняя позы, вполне изящной, почти киношной — одна рука, полусогнутая, на спинке скамейки, в другой бутылка, уже почти пустая, поигрывает ногой, на другую закинутой, покачивает, словно на ней легкая туфелька, а не растоптанный фетровый бот... Пальто сползло с ее плеч — тяжелое, драповое, чрезмерное для ее роста и худобы. Да и все выглядело на ней чрезмерным: те же боты, обвислый свитер, чуть не до колен, даже глаза, может и не такие большие, казались непомерно огромными на скуластом, стянутом к острому подбородку лице... При всем том была бы она вполне миловидна, если бы не эта ее манера передергивать плечами, ежиться зябко, встряхиваться, как будто на нее все время сверху капает, внезапно закрывать и так же внезапно тарачить темные, неестественно блестящие глаза. И еще запашок от нее какой-то казенный, неприятно знакомый... "Лекарства, — догадался он. — Из больницы она, что ли?"

— Вчера из диспансера, — спокойно подтвердила она и, заметив, как дернулся Дмитрий, торопливо успокоила. — Не из венерического, из нервного.

Дмитрий смутился: что за чертовщина?.. Хотя нервный диспансер как будто все прояснял — у двинутых чего только не бывает, они вон и по проволоке ходят при луне.

— А мне какая разница, хоть бы из венерического?.. — прозвучало даже грубей, чем хотелось, но все равно пора было кончать это ненужное знакомство, да и на работу он, кажется, опаздывает: репродуктор обещает солнечную погоду, стало быть, последние известия на исходе — минут десять седьмого.

— То есть как это "хоть бы из венерического"? — она и оскорбилась, и удивилась. — Мы же к тебе домой сейчас... Или, скажешь, жена ждет не дождется?.. Жены у тебя нет. И невесты тоже, — она запнулась, прищурилась, вглядываясь во что-то смутно различимое, и прибавила совсем тихо. — И вообще девушки нет. Не так разве?

— Так, все так, — разозлился Дмитрий. — Никого у меня нет, угадала. Сирота я казанская, холостяк, бобылем живу, не на тот

поезд сел, и пальто украли, я его в карты прошпилил, а только все равно домой ко мне мы не пойдём. Понятно?

— Понятно, — покорно согласилась она. — Просто я тебе не нравлюсь.

Жалость к ней и стыд за себя ожгли Дмитрия — нашел на ком отыграться, зло согнать...

— Тебя как зовут?

— Наконец-то догадался. Психа. Психа меня зовут.

— Я тебя как зовут спрашиваю, а не кличку. Как тебя мама с папой зовут?

— Назвали Надей, а зовут все равно Психой... А тебя?

— Дмитрий... Понимаешь, дело не в том... Я вообще не вожу к себе. Соседи и вообще... И потом — мне на работу к полвосьмого. То есть к без пятнадцати, — уже опасаясь ее, уточнил он.

Но она пропустила объяснение. Тихонько, с разными интонациями, словно прислушиваясь со стороны или примеряя на что-то, Психа повторяла его имя, а наслушавшись и примерив окончательно, просияла:

— Хорошее у тебя имя... А на работу не ходи сегодня, раз не хочется. Обойдется как-нибудь.

Сквозь окна в кляксах голубинового помета глядело мутное утро, не таившее в себе пока что и золотника обещанного солнца. Очумело возились на лавках проснувшиеся пассажиры, через уличные двери вливались новые, суетливо протискивались к перронным турникетам. Гнусавая скороговорка сообщила: "Скорый поезд из... номер... прибыл... перрон... путь... на... опаздывает... отбывает... на... из... на... из..." В зал впорхнула стайка воробьев, таких же очумелых, взъерошенных, как пассажиры. Воробьи то шарахались под самый потолок, то панически сигналы вниз, бились с размаху об оконные стекла... Появился милицейский наряд, скалозубый, налитый утренним румянцем. Один, распахнув высокое окно, принялся шугать воробьев, другой, хозяйски окинув пространство, остановил вышколенный взгляд на Дмитрие с Психой. Дмитрий тут же скинул ноги со скамейки, выпрямился выжидательно, но милиционер с чего-то передумал и тоже взялся за воробьев. Из-за буфетной стойки аппетитно потянуло закипающим кофе. Еще один день, безысходно серый, неотвратимо, как поезд, надвигался на Дмитрия.

— Ну ладно, пора отсюда смываться... Вставай, поехали, — неожиданно для самого себя решил Дмитрий.

...В милицейской дежурке, едва Дмитрий назвал себя, ему предложили пройти в седьмой кабинет на втором этаже, однако дверь с семеркой на дерматиновой обивке оказалась запертой. "Вот тебе и срочно!" — выругался Дмитрий и, сев на деревянную скамейку под приказом: "Не курить", закурил.

Из-за неплотно притворенной двери под номером девять неспешно сочился сытый басок:

— А я ему: запомни, гражданин хороший, жизнь как детская рубашка — короткая и обосранная. А он мне, — тут басок сменился глуповатым тенором. — Как вы смеете?.. И чистоплюйство эдакое на личике, знаешь, как бывает у тех, кого еще жареный петух в попку не клевал.

Второй голос, не такой сытый и густой, но тоже вполне самодовольный, поддакнул: "В клоповник бы его, мудака, на пару годиков, тогда он по-другому запоет".

— Вот и я ему: садись, говорю, у кого стоит, у того правды нет...

Дмитрий напрягся — кого-то ему этот голос напоминал. Не столько сытостью баска, сколько снисходительной интонацией человека, допущенного к зафасадным истинам. И вдруг догадался: генерала! Покойного генерала!.. Он пересел на другой край скамейки, поближе к дверной щели, но там, словно догадавшись о его любопытстве, затворили дверь.

— Громов? — услышал Дмитрий — перед ним стоял молоденький лейтенант, роста так себе, ниже среднего, и какой-то весь сдобный, как колобок из детской книжки. — Пройдемте в кабинет.

— Что с ней? — сразу начал Дмитрий.

Лейтенант попытался осадить его строгим взглядом:

— Давайте по порядку. Кем вы ей приходитесь, Надежде Семеновне Стромилиной?

— Да какая разница? Что с ней? Она жива? Вы мне только слово скажите: жива?

— Да, да, жива! — тоже повысил голос лейтенант, видимо очень раздраженный тем, что допрос идет не по писаной инструкции. — А теперь *вы* отвечайте на мои вопросы, тут пока еще я хозяин.

Главное Дмитрий услышал: Психа жива. Он облегченно вздохнул и закурил. Лейтенант, копаясь в бумагах, время от времени

ерошил рукой белобрысый ежик и озабоченно выпячивал толстые губы.

— Так кем же вы ей все-таки приходиться? Друг, жених или просто, так сказать, сожитель?

— Друг и... жених тоже, — выдавил Дмитрий и поморщился от этого какого-то парикмахерского слова. Он уговаривал себя набраться терпения: лейтенант, похоже, был новичок, еще не заматерел, еще благоговел перед недавно вызубренными инструкциями, с таким препираться — только время терять, пусть уж лучше поскорее закончит всю эту формалистику.

— Так, жених, значит, — отложил тот ручку. — А как же вы, жених... вот ваши соседи показывают, что она, гражданка Стромилина то есть, жила у вас днями, а вы что же не знали, что она без документов, из психушки сбежала?

— Так она же вернулась.

— Ага, — удовлетворенно сказал лейтенант и поощрительно закивал головой. — Значит, это вы ее уговорили вернуться? Так?

— Не совсем. Мы вместе решили, что вот она вернется, подлечится, выпишется по всем правилам и тогда мы оформим брак.

— Понятно... А то, что она обратно сбежала, вы в курсе? Виделись с ней вчера, например?

— Нет, — Дмитрий покачал головой. — То есть что она опять ушла из больницы, я знаю, а видеть — не видел.

— Записка ваша? — лейтенант протянул тетрадный лист, который Дмитрий оставил соседке вместе с ключом.

— Моя.

— Отлично, — лейтенант откинулся на стуле, отдуваясь, пухлые его щеки рдели, как у кустодиевской купчихи. — Отличненько. Это подтверждает вашу правдивость... А при каких обстоятельствах вы с ней познакомились и когда?

— Случайно, месяца два назад. На улице... Кажется, в конце апреля.

— Что значит "случайно"? Вы ведь вроде тогда зашибали?.. Так, может, она к вам приставала? Мы ведь в курсе — она на диспансерном учете, и в больнице ее столько лет наблюдали, так что ее выходы — секрет Полушинели... Она к вам приставала? Насчет выпивки там или еще чего?

Дмитрий заколебался было, но тут же напомнив себе, что он не где-нибудь, а в милиции, и его дело — выставить Психу в самом выгодном свете, ответил со всей возможной твердостью,

что нет, она к нему не приставала. Ему показалось, что лейтенант почувствовал его колебание, уловил, как на долю секунды метнулись его глаза, и обругал себя, готовясь к тому, что сейчас тот начнет его уличать, припирять к стенке... Но лейтенант почему-то вроде как даже обрадовался его отрицанию и склонился над протоколом.

Тревожное нетерпение вновь начало одолевать Дмитрия — вся эта серьезность лейтенанта не могла же объясняться всего лишь его молодым прилежанием...

— Вы, — собрался он с духом, — насколько я понял, задержали ее, и теперь она снова в больнице?

Лейтенант отложил ручку, выпятил губы, решая, сказать уже сейчас или попозже, и наконец произнес чуть ли не по слогам, чтобы звучало как можно более значительно:

— Да, она в больнице... но в Склифосовского.

— Да что с ней, в конце концов? — Дмитрий вскочил на ноги. — Почему вы не скажете толком? Жилы тянете!..

— Успокойтесь, — лейтенант тоже встал и начал расхаживать по кабинету, ероша рукой ежик. — Успокойтесь и приготовьтесь... Я вас заверяю, что виновные будут наказаны по всей строгости советского закона.

Дмитрий опустил на стул.

— Виновники уже, можно сказать, найдены. Через главного зачинщика. Его-то мы нашли с ходу — у него окно разбито, — а уж потом он сам запел как миленький... Все они такие, — презрительно обобщил он. — И уже папы-мамы ихние называют. Правда, главного этого. Ему Водила кликуха... Так его родителей еще, слава Аллаху, нет — в загранкомандировке. А у него, сопляка, уже и деньги свои, и целая квартира в наличности — гуляй, не хочу. Я в его годы с матерью и дедом на двенадцати метрах жил, в кино лишний раз сходить — и то событие, а этому семнадцать всего... И хитрый не по годам: "Это она сама к нам приставала!" А двое — сговориться-то не успели! — что *они* ей предложили выпить-повеселиться. Они сами, а не она! Это крайне важно, поскольку меняет картину преступления, хотя нам известно, что в прошлом она иногда сама допускала себя... напрашивалась, так сказать. Но после знакомства с вами она перестала пить и тем более приставать на улице... Можем мы так сказать? — он остановился напротив Дмитрия, но тот даже не кивнул в ответ, и лейтенант продолжал. — Значит, вырисовывается такая картина. Она

сбежала из больницы, вас дома не застала и... что же ей делать? Ведь если она сбежала, у нее снова был этот псих, этот приступ, а тут вас нет и нет, а тут эти молодчики предлагают повеселиться, ну она и не удержалась, согласилась... Ведь тогда шел дождь, значит, она это чтобы скоротать время до вашего прихода и от дождя укрыться. Так я понимаю... Они пошли домой к этому Водиле, напились, как колхозники, и ее напоили. Тут она сама виновата, потому что это же и дураку ясно — в компании кобелей одна... Ясно, зачем они зовут. Хотя она и больная, но не настолько ведь... Но это, тут я с вами полностью согласен (Дмитрий даже не шевельнулся), вины с них никак не снимает, потому что одно дело — добровольно, другое — силой... В общем, она оказала сопротивление, тогда они ее избили, связали и стали по-всякому надругаться. И причем этот Водила оказался прямо садист. Они, значит, потом снова пить стали, а она давай проситься, чтобы отпустили, тогда он силой ей коньяку в горло: "Сперва, — говорит, — убери блевотину". Они там все облевали, фужеры хрустальные побили — я осматривал: кое-как замыто, но все равно следы попойки налицо, и осколок фужера под диваном. А на стене апельсиновый сок пятнами, это они забавлялись — пуляли апельсины, кто в выключатель попадет... Я помню... Я сам владимирский. Так помню, уже парнем был, уже вот в Москву собирался учиться, так раз по нашей улице дядька с авоськой шел, а в ней эти оранжевые мячики, мы и рты раскрыли: что за чудо такое?!. Но это к делу не касается.

Убери, он ей кричит, все, тогда отпущу. Она ни в какую, так он ее давай по спине ремнем и в блевотину эту лицом тыкать, а те двое ржут. Хлещет и кричит: "Ты мразь, плебей (это такие рабы в древнем мире были) ... ты, плебей, должна перед аристократом на коленях ползать, руки-ноги лизать". Тут она ему в морду плюнула, хотела укусить еще, да он увернулся, а жалко — сейчас бы имели бумажку от медэкспертизы... В общем, он взбесился, сейчас я, кричит, в толчке тебя утоплю, и тащит ее в уборную, а она как-то развязалась, вырвалась и — в окно с шестого этажа... Да нет, жива, жива она, я же вам сказал! Там, на счастье, ремонтные работы, леса стоят — правда, только до четвертого этажа, а то и вовсе обошлось бы, а так она все-таки... К тому же леса почти без настила — знаете, такие щиты деревянные кладут... Должны класть, точнее. Это я еще специально в стройуправление напишу, частное определение называется.

В общем, она сперва на леса упала, это ее притормозило. И еще ей везуха — окно было открыто, а то бы голову порезала. Но хорошо, что она его все-таки разбила случайно, локтем там или как — я только приехал, сразу понял, где и что...

* * *

Дмитрий все же прорвался к дежурному хирургу, но почти ничего из его объяснений не разобрал — слушал, да не слышал. Понял только, что сразу после операции Психа чувствовала себя сносно, а потом ей стало неожиданно и неизвестно почему хуже, и поэтому сейчас к ней ни в коем случае нельзя. Хирург отводил изъеденные острым недосыпанием глаза, на белой курточке вместо пуговицы — второй снизу — торчал пучок рыжих ниток.

Весь вечер и всю ночь Дмитрий просидел в приемной, зажав руки меж колен и раскачиваясь взад-вперед, как молящийся еврей.

— А ну-ка, гражданин, в сторонку куда-нибудь, — услышал он хриплый голос — перед ним стояла, опираясь правой рукой на швабру, а в левой покачивая ведро с черной водой, уборщица, дряблый ее подбородок неодобрительно вздрагивал. Приемную заливал солнечный свет, мокро блестели коричневые квадраты свежeweымытого пола.

В уборной Дмитрий наспех выкурил сигарету и сполоснул под краном лицо, кое-как осушив его носовым платком. Шпингалет затек краской и не сразу поддался, Дмитрий раскачал раму и рывком распахнул окно. Утренняя свежесть разом колыхнула настоей хлорки, потеснила его — пахнуло вязкой горечью желтых одуванчиков, с карниза сорвалась воробьиная стайка, волной подступили городские шумы. Окно выходило в глухой больничный закоулок, в зарослях крапивы и курослепа краснели обглоданные ржавчиной остовы каких-то железных конструкций вперемешку с грудами серого кирпича. В расстегнутый ворот рубашки пробрался зябкий ветерок, Дмитрий вздрогнул, еще и еще раз, и уже не мог остановиться — затрясся, закусив губу, давясь всхлипами, пока беззвучные схватки не перешли в громкое рыдание.

Едва в приемной он сел на скамейку и уже привычным жестом сунул ладони меж колен, подошел санитар: что-то такое совсем непредвиденное случилось, пришлось оперировать вторично...

в общем, если он хочет проститься, то... она зовет. Дмитрию дали халат, и кто-то завязал ему тесемки сзади.

В палате, ему показалось, толпилось что-то человек десять в белом, они расступились, поглядывая на него с любопытством. Психа сразу увидела его и уже не спускала глаз, лучившихся слабо-слабо каким-то исчезающим, гаснущим светом. Ее губы чуть заметно вздрагивали, словно силились что-то выговорить. Дмитрий наклонился к ней, осторожно коснулся губами щеки. "Прости", — слышал он шелест ее шепота и улыбнулся ободряюще, закивал головой. Ее лицо расслабилось, успокоилось, она облегченно вздохнула и закрыла глаза.

Зачем-то суетились вокруг белые халаты, какие-то трубки членисто липли к ее рукам, нелепо было вот так стоять, согнувшись крючком, но присесть на край койки он побоялся, чтобы не потревожить Психу.

Веки ее снова дрогнули, он склонился ниже — в ее глазах темнела тревога.

— Ты его нашел? — прошептала она и страдальчески сморщилась, уловив его растерянность.

— Я только сегодня... то есть вчера узнал. Прямо с работы в милицию, — Дмитрий прикрыл ладонью рот, чувствуя, как расплзаются губы, отвисает и дрожит подбородок. — Они там ищут... Это все не важно... Забудь. Главное — выздоравливай скорей...

Она смотрела на него неотрывно, Дмитрий совсем смешался, не зная, что сказать, чтобы исчезло из ее глаз это осуждение.

— Эх, ты-и-и... — почти громко протянула Психа, и глаза ее закатились, все зримее наливаясь молочным, с просинью, тусклым блеском.

Дмитрий совсем растерялся, поняв, что вот-вот случится что-то непоправимое и если сейчас он не скажет того, что она от него ждет, то потом будет навсегда поздно — он забормотал потерянно, объясняя, успокаивая, оправдываясь, обещая... но тут его взяли за локоть и вывели, озирающегося, в коридор.

Потом у него спрашивали какие-то документы и что-то про ее родителей — он ничего не понимал, все еще видя ее осуждающий взгляд и слыша этот мучительный выдох: "Эх, ты-и-и..." Он морщился, как от зубной боли, тряс головой и бормотал себе под нос, объяснял и клялся... Кто-то в белом, крепко обхватив его за спину, довел до дверей.

...Дмитрию почудилось какое-то шевеление, он откинул одеяло — на стуле, растопырив толстые колени, сидел Сипягин.

— Очнулся? — спросил заботливо. — Ты болеешь, что ли? Я стучал, стучал — молчок, а потом смотрю, дверь-то не заперта. Да, браток... Я только что с допроса. Вызывали...

Дмитрий вмиг все вспомнил и не удержался, застонал.

— Да, старик... — снова сказал Сипягин.

— Выпить не найдется чего-нибудь?

— Найдется. Чего-чего, а такого добра... — Сипягин нагнулся к портфелю, притаившемуся у ножки стула.

Дмитрий достал из буфета хлеб, масленку, открыл консервную банку и вывалил кильку на тарелку.

— Поизносился ты, — сказал Сипягин и кивнул на щербатую тарелку, но тут же, испугавшись, что Дмитрий воспримет это как намек на минусы холостяцкой жизни — намек неуместный особенно сейчас, — перевел разговор на бабуку. — Помнишь, блюдечко у нас было с мухой посередке? Еще ты в первый раз хотел ее смахнуть, до того живая... Бабка хоть и плевалась: мещанство, мол, купеческие забавы, а сама всю жизнь его берегла. Наверное, память о чем-то... А я его кокнул с переездом этим.

Дмитрий молчал.

— Ну что ж, — сказал Сипягин и поднял стакан. — За упокой души, как говорится.

Дмитрий болезненно сморщился:

— Давай помолчим.

Закрыв глаза, он отвернулся, осушил стакан, сунул его, не глядя, на стол — грохнула об пол тарелка с килькой.

Сгребая осколки и рыбью размазну, он прятал слезы в шварканье совка и веника.

Глава двадцать седьмая

Выдержки никогда не хватало — оставить на утро, на утоление похмельных страданий хоть граммешку. Так и маялся на диване до без четверти до заветного часа всех алчущих — ровно в десять он уже был в магазине.

Прозрачная струйка, жгучей ртутью скатившись по горлу в же-

лудок, оборачивалась там мощной волной и захлестывала голову, смывая боль, растворяя ее, претворяя в теплое блаженство, растекающееся по всему телу. Дмитрий навзничь валился на диван, закидывал руки за голову и принимался за Водилу, хитроумно загоняя его в ловушку. После второго стакана мысли утрачивали нормальную живость, зато обретали особую остроту, способность выхватывать ранее неуловимые детальки, обращая иную мелочь в легкое озарение.

Так он и засыпал, блаженно уверенный, что теперь уже все: план — и какой! — готов... Просыпался под вечер с прежней головной болью, но с утешительной памятью о найденном решении. Напрягался его вспомнить — всплывала какая-то чушь, несурязица, дешевая детективщина... И он снова тащился в магазин.

* * *

...Допив четвертинку, Дмитрий уронил голову на руки и закрыл глаза — в темноте прошлое вставало отчетливей... Надо было нащупать самую главную промашку, после которой все пошло наперекосяк. Он хотел все продумать последовательно, с самого начала, с той первой встречи в Сокольниках, но не думалось, а только ныло и ныло сердце. "Надо было не тянуть, а сразу жениться на Тане", — сказал он глухо и тут же застонал, яростно замотал головой, зная, что это не то, не ответ...

Не раздеваясь, он повалился на диван. С тумбочки на него смотрела фотография Психи — веселое легкое платье в белых цветочках, и лицо, под стать платью, тонкое, с озорной улыбкой, но в глазах, если взглядеться, — тайный испуг. Или укор?.. Дмитрий вздрогнул и повернул фотографию лицом к стене. Добраться до выключателя уже не было сил. Едва он закрыл глаза, как голова пошла кругом, за стенкой лба что-то завертелось все стремительней, словно воронка засасывала — тошнота подкатывала к горлу. Надо бы блевануть, вяло подумалось ему...

Послышалась шаткая поступь Пуговкина, старческий бормот: "Жизнь, мать ее в корень...", клацнул дверной крючок в уборной, через минуту — тот же неровный шаг и опять что-то о жизни и о матери...

За окном страстно взвыли кошки, и тут же задребезжал дверной звонок — три раза.

"Кого это несет так поздно?.." — подумал Дмитрий и сделал

усилие выбраться из сна, но тут кто-то (Анна Михайловна, что ли?), громко чертыхаясь, прошаркал по коридору, щелкнул замок, донеслись негромкие голоса и потом — приближаясь, все отчетливей, мерный деревянный стук. Дмитрий вскинулся, хватая ртом воздух, — показалось, отец стучит своей деревяшкой... Дверь начала тихонько приоткрываться, и в проем всунулась женская голова в лохмах серых волос.

— Дмитрий Громов? — спросила она хрипло.

Дмитрий кивнул неуверенно, голова скрылась на миг, в глубине коридора качнулась неясная тень, что-то зашербуршилось, стукнуло, и дверь растворилась шире. Дмитрий с трудом сел, сунул ноги в шлепанцы и, сгоняя пьяную одеревенелость, потер лицо, пригладил волосы... С улицы потянуло сыростью, он вздрогнул зябко, — надо бы закрыть окно.

В дверь боком протиснулась квадратная женщина в зеленом солдатском бушлате без пуговиц — левая нога в мазуте, из прорехи топорщится клочок серой ваты. Под бушлатом чернел свитер, заправленный в черную же юбку, а под юбкой — всего одна нога, вместо второй из-под косо вздернутой вверх подмышки рос костыль.

Им она и стучала, подумал Дмитрий, с любопытством и растерянностью разглядывая красное обветренное лицо.

— Я сяду? — спросила она и тут же, не дожидаясь ответа, оказалась возле стула, прислонила к его спинке костыль и плотно усеялась, уперев кулаки в ляжки. — Вообще-то у меня есть протез, но уж больно он культю натирает, — объяснила она, поймав взгляд Дмитрия. — Вот, значит, как ты живешь-поживаешь, — она обвела глазами комнату. — Не шибко богато... А я, признаться, думала, ты тут с мебелью и прочими коврами... Ну, признаешь теперь? — устала она в упор.

Дмитрий пожал плечами, силясь угадать, где он мог видеть это лицо с прямым носом, с резко очерченными губами...

— По паспорту я Лени́на Бесфамильная, а на самом деле Громова. Лени́на, — опершись левым локтем о спинку стула, она натужно приподнялась и протянула Дмитрию правую руку, согнув ее вежливой лодочкой. Он еще ничего не успел сообразить и машинально пожал мозолистую ладонь. — Ну что же ты — не больно рад, вижу? Все-таки единокровная — хоть и не родная, а какая-никакая сестра. Пахан, я знаю, искал меня все время. Да я и са-

ма только недавно узнала, что не Бесфамильная я, а Громова.

Дмитрий дернулся было подняться, но тошнота кисло подкатила к самому горлу, и он снова откинулся на подушку.

— Сиди, сиди, чего уж там. Вижу, что рад — и слава Богу... Выпить — нет ли у тебя чего, с дороги да с устатку? — тяжело скрипнув стулом, она обернулась к столу, взяла четвертинку и посмотрела ее на свет — нет ли чего на дне.

— А вот я сейчас, — она встала и, опираясь на костыль, простучала к двери, отворила ее, нагнулась, выставив в сторону Дмитрия пухлый зад (из-под юбки, задрав ее, мелькнула толстая культя), протянула руку в коридор, тут же выпрямилась, и в руке у нее оказался фанерный сундучок с висячим замком. Снова опустившись на стул, она пристроила сундучок на колени. Откуда-то взялся в ее руке ключ, замок ржаво скрипнул, и, чуть приподняв крышку, словно боясь, чтобы Дмитрий не увидел, что там внутри, она запустила руку в сундучную темь, зашуршала там — пахло застойной гнилью. Она достала замотанный в промасленную бумагу шмат старого желтого сала и алюминиевую флягу с мятыми боками.

— Первачок, — побулькала она флягой.

Дмитрия передернуло...

— Перепил... Утром разве что, а сейчас не пойдет, — объяснил он. Не подумала бы, что он брезгует.

— Ну, как знаешь.

Из кармана бушлата она достала длиннющий нож, вроде булочного, с таким же тонким, сточенным посередине лезвием, аккуратно отрезала толстый ломоть сала и пристроила его на обкусанную Дмитрием горбушку, черствевшую на столе со вчерашнего дня.

— А как вы меня разыскали? — спросил Дмитрий. — Отец вот...

— Помер, знаю, — прошамкала она набитым ртом. — Так вот и разыскала... Встрела тетя-Пашу, давно уже, лет пять тому. Она тогда завхозом в моем детдоме жировала. Ну, кричит: папаня твой тебя шукает, запросы шлет... А я ж тогда свалила от них, ну и... А тут, значит, написала в детдом... Да ты не бойся, я тебя не объем, с годик поживу, пока вот отдышусь...

— А что с ногой? — тоскливо спросил Дмитрий, прикидывая, что как же оно так, вот будет она жить тут целый год... И отказать неудобно — сестра все-таки...

— Оттяпали по колено, — небрежно сказала она как о само собой разумеющемся и, приподняв юбку, обнажила толстое колено здоровой ноги и — рядом — розовую, в струпьях культю второй...

“Как у отца — тоже по колено,— мелькнуло у Дмитрия, и начало щемить сердце. — Только у него правой не было, а у нее... Или у него тоже левой?” — он закрыл глаза и все никак не мог вспомнить, какой ноги не было у отца.

— За блядство, — пояснила она. — Хорошо, что по колено, а не по самую пизду, — и, увидев, как округлились глаза Дмитрия, поспешно, словно оправдываясь, зачастила. — А ты как думал? Как бы я выжила-то? Мне тогда и семнадцати не было, а с голоду дохли как мухи. Тогда пурга произошла, так с неделю хлеба не завозили в лагерь, жмуриков ели... А я тогда Саньки-Резаного подстилкой была, он такой стосс подрезал — сидит, ноги калачиком и шмотья этого разного на нарах горой!.. А тут не фартит ему и все. И день не фартит, и два — хоть лапу соси! А мне Лом-Лопата кричит втихаря: канай ко мне! Ну я и метнулась к нему. Резаный кричит: он, мол, ссученный — счас вертайся, а не то матку выверну! Тут ему по новой фарт попер, а на Лом-Лопату в натуре доказали, что сука — в сральнике утопили, только я уже к Резаному не хотела — насчет харева он слабак был. А любил меня — страсть! Я, кричит, руки тебе по самую пизду пообрываю, чтобы, значит, никому уже без интересу. Ну, руки-то не пообрывал, врать не стану, а ноженьку вот оттяпал топором.

Она снова плеснула в стакан вонючего самогону, шумно выдохнула, опрокинула его в рот и замерла с куском сала в руке — задумалась о чем-то невеселом.

На кухне звякнуло жестяным, заурчал, причмокивая, кран, опять кто-то прошаркал по коридору, и тут же из уборной раздались визгливое:

— Это какая же сволочь не спускает за собой?! — и обрушилась вода.

— Да-а, — протянула Ленина, очнувшись, и покачала головой, как бы говоря, что были времена — и трудные, а вспомнить есть чего... Она быстро-быстро задвигала челюстями, пережевывая жилистое сало, потом обтерла губы бушлатным рукавом.

За дверьми угадывалось какое-то беспокойство — кто-то ерзал там и шушукался. Вдруг мелькнуло с испугом — милиция! Насчет того пьянчуги, убитого Таней!.. Но ведь сколько уж времени с того прошло... И тут он догадался — соседи! Подслушивают...

Ленина игриво прищурилась:

— Так ты, значится, племяшку-то свою родную того-сего... по мужской линии обслуживал? Может, и мной не побрезгуешь?

Дмитрий, почти зная ответ, побледнел:

— Какую племяшку?

— А Психу-то! Она мне ведь дочь родная, от Резаного.

— Не может быть, — прошептал Дмитрий. Он силился закричать, вскочить на ноги, но не мог. Все вокруг вздрагивало, колебалось, струилось, как речная вода, ломило и жгло под ложечкой... — Врешь!.. И по годам не подходит. Сколько тебе лет? — губы не подчинялись ему, он даже не знал, слышит ли она его.

— А вот я сейчас покажу тебе, сколько мне лет, — протянула со злорадством, нагнулась к сундучку, снова запустила руку под крышку. — Сейчас, сейчас, — одышливо приговаривала она, не спуская с Дмитрия насмешливого глаза. — Сейчас я тебе документ покажу, — она начала нарочно потихоньку вытаскивать руку, почему-то в густых черных кудрях, потом резко вздернула ее вверх — в воздухе закачалась голова Психи: в глазах тот самый укор, губы чуть приоткрыты, словно только что выговорили: “Эх, ты-ы-и...”

Дмитрий захрипел, из горла наконец вырвался вскрик, вытолкнутый спазмой ужаса, он напрягся из последних сил и скатился с дивана на пол...

Под потолком желтела лампочка, на столе стояла пустая четвертинка, кисли остатки селедки, в окно сочился бледный рассвет...

— Допился! — сказал он вслух. — Надо завязывать.

Глава двадцать девятая

...Сипягин суетливо отвел глаза, ругнул Дмитрия — почему кардиограмму не сделал? — а потом признал, что выглядит он в самом деле хреново, хотя на гроб не тянет — туда покраше кладут...

— Я-то вообще, старик, уверен, что врачевать тебе надобно не тело, а душу, в каком-то случае медицина бессильна, а вот отец Алексей — в самый раз.

Дмитрий удивился:

— Кто?

— Отец Алексей. Да я тебе о нем, по-моему, рассказывал, но,

вероятно, как все наши с тобой серьезные разговоры — под водку, вот ты и забыл.

Человек он... У него приход под Москвой. Человек он сравнительно молодой, что-то под сорок, а то и всего тридцать пять. Образованностью, пожалуй, доцента переплюнет, лучший, говорят, в нашем отечестве знаток Баха, в специальных музыковедческих журналах статьи печатает не то о влиянии баховского контрапункта на протестантскую экономику, не то наоборот, я в этом деле не копенгаген... Мистик, я тебе доложу, профессиональный, озарения по два раза на дню случаются. Великий ловец человек и проницатель... Ты не смотри, что я в таком стиле, как бы ироническом, его расписываю: благоговение не в моей природе, а — благо-го-ве-ю, впервые в жизни благо-го-вею. Потому и езжу редко, а ты — поезжай. Спасение, браток, только оттуда приходит, откуда его не ожидаешь, а уж с этой стороны, признайся, ты его никак не ожидал.

— И не ожидаю, — угрюмо уставясь в пол, сказал Дмитрий. Выдавил усмешку и прибавил. — Ты бы мне еще старца Зосиму порекомендовал... Ну и делишки у нас творятся на святой Руси на советской.

Сипягин разозлился:

— А ты бы еще на пяток лет загремел в лагерь по рассеянности или проспи такой же срок — то-то удивись, когда проснешься... Небось, тоскуешь по лагерю: там-де надежда хоть какая-то корячилась, некий просвет впереди, обетование... Эх вы!.. Лагерь у нас теперь все равно, что какая-нибудь там "башня из слоновой кости" или наркотики — бегство из действительности. Ты не дергайся, не про тебя говорю — ты и в собственной жизни человек случайный. Я про тех добровольных страдальцев наших, которые готовы в лагерях да тюрьмах преть, лишь бы воплощенной укоризною отсидеть перед отчиною: гляди, мол, прогрессивное человечество, что делают со свободной личностью в несвободном обществе!.. А что делают, если вдуматься? Ни-че-го такого особого не делают!.. Зато сама "свободная личность" такое с обществом и государством выделяет, что, хоть оно, государство-то наше, уже преклонных годов, с унынием, стало быть, и ленью, а не выдерживает, куснет иной раз, но — по старости — беззубо, так только, деснами шамкнет: ссылка там, высылка, ну, в крайности, три-четыре годочка за спекуляцию или ресторанный дебош. Каковой дебош, между нами, очень даже имеет место... И то сказать:

нервишки не выдерживают в незаконной связи с чужими государствами состоять, стучать заграничному начальству на родимого "гетмана-злодея"... Ну и загуляет иная диссидентская душа на тридцать неправедных долларов, чтобы потом отсидеться героически... Дезертиры и перебежчики, вот они кто, западники наши гунявые. Консервируют в отсидке время, Богом на жизнь отпущенное, чтобы потом на Западе купоны стричь. Да и консервируют-то как-то не всерьез, а так, "на зиму", домашним способом. Потому, кто ж нынче у нас сидит подолгу? Ну, Огурцов, ну какой-нибудь там Кузнецов с жидовней своей пиратской. А не воруй самолет, это тебе не лошадь с конюшни свести... Так за лошадой наши прямодушные предки конокрадов вилами приканчивали и, надо полагать, правильно делали.

Да хоть бы и на Западе — это же ужас, что у них там с самолетами творится!.. Летишь ты, скажем, в Ниццу какую-нибудь на морские купанья, нервешки подлечить, а приземляешься в пустыне Сахаре, у виска — пистолет, под жопой взрывчатка, с благополучным вас прибытием, дамы и господ!.. Мне лично в Израиль не надо, а вот в Ялту или в другой какой дом творчества — очень даже, и, хоть немало у меня с родным государством разногласий, а как частное лицо тут я ему благодарен: все-таки, садясь в ТУ-104, рискую в крайнем случае пойти на сельхозудобрения или рыбий корм. Обидно, но не оскорбительно: воздушный океан все-таки, свободная стихия...

— Постой, ты же про отца Алексея хотел, — напомнил Дмитрий, уже жалея, что так неосмотрительно завел разговор про себя.

— А я про что?.. Пока наши борцы по лагерям отсиживаются, готовят себя к свободной жизни в свободном мире, появляется, как испокон веку на Руси ведется, Алексей человек Божий и работает за всех "страдальцев": крестит, хоронит, души врачует, книги пишет — про ту же западную культуру, между прочим...

— Я-то здесь при чем? — неловко смеялся Дмитрий. — Я откуда дезертировал?

— Не "откуда", а "куда", — яростно парировал Сипягин. — Ты в собственные несчастья дезертировал, вот куда... И за Виктором своим Победоносцем отца Алексея проглядел, новое упустил... Именно новое, потому что новое — это даже не хорошо забытое старое, а старое, возврата которого не ожидали, похерили за ненужностью. А ведь судьба и отдельного человека и целого народа из повторов складывается. Даром, что ли, тебя Дмитрием зовут?

На Дмитрия Карамазова — старец Зосима, на Дмитрия Громова — отец Алексей. Русская жизнь и русская литература — близнецы-братья, думаем — литература, ан, глядь, это жизнь оказалась, думаем — жизнь у нас в руках, а это чей-то черновик... Словом, отвечай: поедешь к отцу Алексею или нет? Если едешь — я сопроводилку настрочу...

— Поеду, поеду, не шуми, — угрюмо согласился Дмитрий.

* * *

От станции до кладбища, а значит, и до церкви, каждые полчаса ходил автобус, но Дмитрий пошел пешком, хотя вокзальная буфетчица, объясняя ему, в какую сторону держать путь, присовокупила, что “до батюшки” километров с пяток будет, не меньше.

Усекла, — отметил Дмитрий.— То ли у меня вид такой...взыскующий, то ли к нему и в самом деле косяками ездят, как Сипягин говорил.

...По обе стороны грязевой реки выстроились пятиэтажные новехонькие дома. Работенка, конечно, была аховой — осыпалась штукатурка, нарядная мозаика, украшавшая иные фасады, тут и там серела залысинами, но гигантские фрески, на которых гигантские же фигуры с профилями ацтеков и в каких-то крито-микенских хитонах что-то ковали, вздымали, звали и разили, казались впечатляющими иллюстрациями из научной фантастики — какой-нибудь там вымерший поселок на жутковатом Марсе.

Но наконец проспект с новостройками кончился, зашагалось бодрей. Дорога выровнялась в нормальную сельскую, неспешно попетляла через березовую рощу, круто взяла на муравчатый бугор, потом полого спустилась к речушке, прозрачно струящейся промеж темно-зеленого бархата тины, снова — через деревянный мостик — взлетела на горку и вывела в деревню. Тихие осевшие избы, жалобный перебор ветра в проводах, галки и воробьи копошатся в навозных кучах, мутный, загаженный утками пруд отражает мутное небо... Почталъон на велосипеде тряско вывернулся из-за плетня и покатил, позванивая на ухабах, сзади неслась, нагоняя, рыжая собачонка, стремительно, но молча — чтобы ошарашить пронзительным лаем, когда уже поравняется... Внезапно, как в щелочку деревенского ставня, прорезалось солнце, растолкало неряшливую грудку туч, выкатилось решительно и тут же принялось припекать.

Меж верхушками редкого ельника проглянула часовенка. Дмитрий сделал еще несколько шагов, окаймляющий дорогу кустарник оборвался, и навстречу выплыли первые кладбищенские кресты. Теперь можно было и передохнуть, как-то подготовиться к разговору, если уж приехал...

Дмитрий свернул с дороги, выбрал бугорок посуше, расстелил телогрейку, сел, прислонившись к березовому стволу, закурил со вкусом и только тут сообразил, что устроился на могильном холмике — в траве чернел полусгнивший крест. Над тропинкой, у самых его ног, большая лимонно-желтая бабочка с черной талией суетливо кружила над гнилью сыроежки с уже почерневшим рыхлым исподом. В лесу, за спиной, деликатно перекликались птицы, таинственно шелестели деревья. Пахло болотной сыростью, прелыми листьями, грибами, на невидимой отсюда улице гремели колодезной цепью, жалобно бляла коза.

Из-за кустов на дороге вышел и тут же свернул на тропинку большой, странного вида мужчина, и появился он так неожиданно, что Дмитрий не сразу понял, в чем эта странность — он был в рясе. На мокрый ее подол налипла хвоя, репейник, и на взгляд чувствовалось, какая она тяжелая, а тут еще дерюжный мешок в руке, тоже весь какой-то отсыревший — что-то в нем железно ворочалось, брякало. Но батюшка шел по-молодому легко, быстро и озабоченно шептал что-то вполголоса, загибая на ходу пальцы свободной руки. Он чуть не задел Дмитрия краем рясы, скользнул по нему отрешенным взглядом, прошел еще несколько шагов, потом остановился, словно что-то вспомнив, и обернулся.

— Вы ко мне? — спросил он, как показалось Дмитрию, грозно.

Дмитрий поднялся:

— Наверно... Наверно, к вам...

— Ну, раз наверное — значит, ко мне, — обреченно сказал батюшка и загрустил. — От кого, позвольте узнать?

— От Сипягина... от Анатолия Васильевича.

— Ага. От Сипягина. Рекомендательное письмо, разумеется, есть, но вы его забыли...

— Нет, отчего же забыл? — Дмитрий торопливо сунулся в карман.

— О, что вы, что вы!.. Не беспокойтесь, это я так, — тоже засмутился отец Алексей и загрустил еще больше. — А вы не сидите все-таки на сырой земле — ишиас там всякий, знаете, почки... И опять же — могилка, хоть и забытая, а все-таки... Значит, вы от Сипягина,

от Анатолия Васильевича, и письмо рекомендательное при вас, — разочарованно подытожил он. — Что ж, милости прошу... Только меня, знаете, уже дожидаются, так что вам потерпеть придется... час, а может быть, и полтора, — серые со ржавой искрой глаза смотрели с затаенной надеждой. — Я, знаете, нынче в моде, как дантист какой-нибудь или портной.

— А мне торопиться некуда, — чуть ли не с вызовом сказал Дмитрий. Отец Алексей нравился ему с каждой минутой все больше, но странно как-то нравился, как в театре, что ли.

— Вам торопиться некуда, — повторил отец Алексей, с еще большим интересом приглядываясь к Дмитрию. — Послушайте, а вы случайно не разбираетесь в машинах?

— Я? — Дмитрий несколько оторопел. — Нет, к сожалению. И вообще... Ну, разве что электричество в доме починить могу, а так — нет...

— Электричество в доме и я починить могу, — неприязненно сказал отец Алексей. — Я даже и в машине кое-что кумекаю, но как только дело до чего-то серьезного доходит, до какого-нибудь там карбюратора или цилиндра... У меня, знаете ли, презабавнейшая история вышла с этим цилиндром. Я уже давно чувствовал, что он как-то, знаете, рефлектирует, уходит в себя, задумываться начал и все эдак, знаете, о грустном... Ну, думаю, не буду его пока тревожить, как задумался, так, авось, и отдумается... Решить-то я решил правильно, но — не выдержал: копался тут как-то в моторе, а цилиндр этот все взглядом миную, из деликатности, однако не утерпел — взглянул, а в нем — в прокладке, собственно... Знаете, есть такая прокладка в головке блока цилиндра?.. Да, в общем — трещина, да еще какая! С таким надломом и так долго держался — непостижимо, преклоняюсь... Но удивительное в другом: держаться-то он держался, но только до той минуты, пока мы не встретились очами — духовными, понятно, с его стороны. Тут он и отказал... Прямо пиши книгу "Цилиндр как воля и представление".

Значит, вы не специалист... А я уж было про вас подумал... Взаимное врачевание, так сказать. Лицо у вас, знаете, честное... Не просто честное — честных лиц много, а той особой честностью, какая бывает по преимуществу у людей положительных знаний. У гуманитариев, к примеру, лица несколько... э-э-э, жуликоватые. И даже чем гуманитарней, тем жуликоватей.

Ну, что же делать? Не судьба... Тем не менее, милости прошу, —

он развернулся и споро зашагал, погромыхая мешком то ли с церковной утварью какой-то, то ли с автодетальями.

* * *

Восковой белизны половицы источали уют, деловито поскрипывали ходики, мерцали, потрескивая, лампадки перед киотом. У стола две сухонькие монашенки, поджатые их морщинистые губы шевелились в лад друг другу — перед каждой молитвенник. Из другой комнаты наплывал внушительный баритон отца Алексея. Дмитрий, постояв на пороге сколько нужно, чтобы обратиться на себя внимание, но не обратив его, сдвинулся с половика к деревянной лавке с резной спинкой.

— Ноги-то, ноги оботри, — зашипела одна из монашенок, дряблая ее, в складках, как у черепахи, шея возмущенно вздрагивала. — Ходят тут всякие, ни днем, ни ночью покоя нет, — и выжидательно уставилась на вторую.

Та подхватила немедля:

— Ты зачем?

— К отцу Алексею.

— Знамо, к отцу Алексею. К кому же еще?.. Спрашиваю: зачем? Помер у тебя кто, родился или еще что? — ее бесцветные глаза смотрели уничтожающе.

— Нет, я так... сам по себе, — растерялся Дмитрий. — Отец Алексей знает. Он велел подождать.

— А велел подождать, так и жди. Подь на завалинку посиди, небось не застудишься.

Дмитрий еле сдержался, чтобы не хлопнуть дверь. “Ну и сестрички!.. Им бы, с их бескорыстной злобой, продащицами работать. Наверное, приставлены за отцом Алексеем присматривать”.

Он присел на завалинку, прислонился к стене, вытянул ноги — ступни горели с отвычки от сапог и долгой ходьбы. Из форточки углового окна доносился батюшкин рокот, но вот его остановил мужской голос, показавшийся Дмитрию отдаленно знакомым. Интонация вопрошающая, но что вопрошалось — не разобрать.

Из-за угла вышел гусь, сердито обшарил клювом пух на грязной шее, трескуче прокричал и снова скрылся. Печально звенели комары. В дальнем углу двора, поросшего седой травой с песчаными проплешинами, гнили сваленные кое-как доски, в корыте под кривой березой мокло белье, деревянная церквушка смотрела понуро,

на обступающих двор могилах потусторонне шелестели бумажные венки... На всем печать неотвратимого увядания, при сочувственном взгляде — запустение, чеховский колорит, при язвительном, гоголевском — выморочность...

Из-за церкви неспешно вышли двое, по виду — работяги. Один постарше, покряжистой, второй с испытанным лицом, юркий. Повертелись по двору, начали перетаскивать доски в другой угол, но, сделав пару ходок, бросили, уселись на бревно, закурили "Беломор".

— Наш-то что? Разливается все? — кивнул на избу тот, что постарше.

— Разливается... Чего ему еще делать? — ухмыльнулся юркий. — Дома-то у себя пусть его, сколько влезет, так он ведь и на службе так, перед блядем московским выкобенивается. Видал, вчера какая фря приезжала на вечерню? И точно я тебе говорю: из жидовок. Смехота!.. А мне, как назло, поссать приперло, а он, бля, свое гнет... Жидовка слезами умиляется, а я ссать хочу до помрачения!.. А что поделаешь? Я лицо подневольное — дьяк все-таки...

Дмитрий вздрогнул — показалось, что отец Алексей из окна к нему обращается, над самым ухом голос его зазвучал. Но батюшка, распахнув окно настежь, смачно втянул вечереющий воздух и сказал густо — конечно, тому, в комнате: "Все, мой друг, амбивалентно, то есть пародийно... Может, жестоковывные за то и Спасителя нашего распяли, что Он не столько старый закон отрицал, сколько пародировал... Народ же сей от века к пародии чуток... И вообще, милый вы мой, великий грех — уныние, оно же — однозначность", — он снова затворил окно.

— Ну и как — обос-с-сался? — допытывался дьяков приятель, обсасывая переднеязычный согласный, как леденец.

Ответа Дмитрий уже не слышал.

Обратный путь он проделал на автобусе. Лихой водитель горланил частушки, убийственно подбрасывало на ухабах, вспыхивали то тут, то там вечерние зарницы, как далекий магний фотографа, снимающего автобус то в фас, то в профиль. Не было ни досады, ни возмущения, ни разочарования. Только усталость.

Глава тридцатая

На дверях — объявление в игривой виньетке: "У нас сегодня ба-раний день". За стойкой, сразу у входа, громоздкий буфетчик с

прищуром вышибалы. Если бы не этот оценивающий прищур, вылитый Лев Толстой, даже и серый халат, короткий ему, походил на толстовку. Над его кудлатой головой пламенеет плакат, извещающий, что данное заведение обслуживает бригада коммунистического труда. Ресторан новехонький, наспех нарядный.

Грудастая официантка в наколке, не спрашивая, поставила перед Дмитрием двухсотграммовый графинчик, ноукогда он заказал суп-харчо (с бараниной) и плов рисовый (бараний), оттаяла и посоветовала на холодную закуску мясо заливное (баранье).

Дмитрий отказался:

— Эдак я у вас к концу обеда бараном заблею.

Грудастая сострила дежурно:

— Лучше молодой баран, чем старый козел.

Не дожидаясь горячего, Дмитрий хлопнул подряд две рюмки под черную горбушку, намазав ее горчицей. Но легче не стало.

Он уже приканчивал харчо, когда в проходе послышались неверные боязливые шажки: между столиками пробирался мелкий мужичок — брюки в деревенскую синюю полоску заправлены в резиновые сапоги, на плечах болтается китель, когда-то, видно, зеленый, а теперь и не скажешь какой. Сел за столик наискосок от Дмитрия, лицом к нему, а лицо — вот-вот, кажется, помрет: обтянутое, даже не обтянутое, а втянутое в себя, без кровинки, не лицо — один чертеж, глаза жалкие, словно у всех прощения просят. Встретился с Дмитрием взглядом, на всякий случай улыбнулся искательно — поневоле отвернешься...

На мужичка надвигалась грудастая, и он медленно вставал ей навстречу.

— Ты? — спросила грозно.

— Я... — затравленно выдавил тот. — Я так только... Посидеть малость.

— Сидят в другом месте, а у нас — заказывают. Понял? Катись отсюда, — люто сказала она.

— Да есть у меня, есть... Не сердчайте, Любовь Павловна, — и он, как-то весь суетясь, изгибаясь, выгреб из кармана мелочь, высыпал ее на стол.

Любовь Павловна пересчитала все до копейки, сгребла в ладонь, сказала постно: "Ладно" — и отошла. Мужичок в тот же миг сорвался с места, подсеменя к радиоле и вытащил пластинку — не первую попавшуюся, а давно облюбленную, поставил, воровато вернулся

к столику и улыбался уже чуть ли не надменно. Радиола зашлась итальянским бельканто: “Луна росса... Лу-у-на ро-о-сса...”

Появилась Любовь Павловна, поставила перед ним стакан водки, шваркнула тарелку с прямоугольничком плавленого сырка, положила на край стола пару медяков сдачи. Мотнув пухлым подбородком в сторону радиолы, спросила:

— Уже успел?

— Успел, Любовь Павловна, — признался тот.

— Твое счастье, что песня душевная.

Дмитрий допил последнюю рюмку, заказал еще графинчик, закрыл глаза. “Лу-у-на ро-о-сса, луна росса-а...” За его столиком кто-то двинул стул.

“Неужели он ко мне перебрался? — с досадой подумал Дмитрий. — Стоит только посочувствовать, хоть взглядом...” Он медлил открывать глаза, а когда открыл — прямо перед ним, уставясь в меню, сидел доцент.

“Ага, вот, значит, кто с отцом Алексеем беседовал, — догадался Дмитрий. — То-то мне голос знакомым показался... Ну-ну... Неужто и тебя, победительный доцент, так прижало, что духовный наставник понадобился?” — мысленно обращался он к доценту, и тот, словно расслышав, оторвался от меню. Изогнулись удивленно и поползли вверх брови.

— Дмитрий Николаевич?! Я не признал сперва. Вы-то что здесь делаете?

— Сижу, починаю примус, никого не трогаю, — легко ответил Дмитрий.

Они пытливо всматривались друг в друга. Время прошло по доценту, пожалуй, так же бесцеремонно, как по Дмитрию.

— Крепко же нас потрянуло, Дмитрий Николаевич, — подытожил доцент.

— Крепенько, Сергей Александрович, — согласился Дмитрий и вдруг брякнул: — А где Натали?

Лицо доцента недобро окаменело:

— Натали?.. Ее больше нет.

— Как?! И она тоже? — задохнулся Дмитрий, перегибаясь через стол.

— Что — “тоже”? — не понял Сергей Александрович.

— Умерла...

— Ах, вот вы о чем... Нет, не умерла, хуже — в Израиль уехала.

Дмитрий откинулся на спинку стула:

— Слава Богу... А то все как-то умирать наладилось-

Доцент глянул на него с любопытством:

— Вот вы как?.. Да, при ваших обстоятельствах...

— Откуда вам знать мои обстоятельства?

Доцент снисходительно улыбнулся:

— Ваш роман прочитан, Дмитрий Николаевич... Простите за цитату, мы ведь без цитат никуда, шагу не шагнем, чтобы на книжных героев не обернуться: как там у них?.. Так или иначе, рад отметить, что бодрость духа вам не изменяет.

— Великий грех — уныние, — в растяжку выговорил Дмитрий, медленно оглаживая подбородок, словно захватывая в горсть незримую бороду. Наконец-то перевес был на его стороне, и он даже подивился вспыхнувшему в нем азарту.

Доцент растерянно сморщил лоб, то ли сопоставляя что-то, то ли припоминая. Но тут давешний мужичонка, измаявшись радиоловым затишьем, улучил момент — грудастая влипла в кухонное окно, — подкрался к пластинкам, поставил, вернулся и опять заблаженствовал. "Луна росса" обволакивала мысли, как бараний жир — пищевод.

Доцент смахнул набежавшую догадку и свел партию к ничьей:

— Воистину, удивительное рядом... Обратили внимание на соседа? Ну, зачем ему итальянщина эта? А он блаженствует... Версиров — помните? — за метафизикой русской скуки в дешевые трактиры хаживал и структурные элементы ее перечислил, парадигму, так сказать: половые — нечисты, скатерти — грязны, понятно, водка, органчик в углу выводит "Санта Лючию"... Может показаться — сто лет прошло, в скатертях (по крайней мере, в здешнем заведении) прогресс, но в остальном, как и положено метафизике, неизменно: водка, "Санта луна", "Лючия росса"... Что это — наша русская тоска-кручина по мировой культуре, она же, повторяя Федора Михайловича, наша "всемирная отзывчивость"? Как думаете?

Сосед, учуяв, что говорят о нем, качнулся в их сторону и радостно поделился:

— Вот оно как — и за границей про нашу русскую луну поют...

Дмитрий закашлялся от смеха:

— Поистине удивительное рядом...

В лице доцента тоже дрогнуло что-то, он улыбнулся. Партия опять складывалась в пользу Дмитрия, но он упустил ход: уже под-

плавала Любовь Павловна с двумя графинчиками на подносе. По дороге прошипела соседу:

— Выматывайся! — а доценту с Дмитрием в полный голос наказала: — Будет просить — ни-ни: заблюет.

Мужичонка приговоренно поднялся под ее взглядом, затоптался в проходе и — только она понесла в другой конец зала свой раздобревший круп — зашептал горячечно, даже не им, а так, словно в пустоту молился:

— Братцы... товарищи... На посошок... Мочи нет... И денег тоже.

Дмитрий с доцентом переглянулись и, не сговариваясь, одновременно отлили — каждый из своего графинчика — в протянутый за водочным подаянием стакан.

Мужичонка пил крупно, размашисто двигал кадыком, в страдальческом блаженстве уводил глаза под самый лоб... Счастье, что в последний момент он — может, из благодарности — сумел-таки резко повернуться и длинно блеванул в другую сторону — на свой столик. Успел сказать: "Извиняюсь — не пошла" — и начал оседать, ломаться в поясе, страшно костенеть лицом. Подскочили Толстой с грудастой, подняли его без натуги, понесли к дверям и — шмяк! — наружу, на перронный цемент, как рогожный куль с вагона. Тело так и осталось голубеть у ресторанного входа — с поджатыми коленками и далеко, по-птичьи закинутой головой.

...Доцент с интересом проткнул вилкой заливную баранину, попробовал, одобрил, Дмитрию же посоветовал:

— Вы, Дмитрий Николаевич, выпейте, оно и полегчает. Впечатительный какой... побледнел даже, — и приглашающе поднял стакан.

Дмитрию и впрямь полегчало: вместо омерзения — злость.

— Вот оно как дело обернулось, — сказал он с вызовом.

— Это вы о чем? О мужичке-бедолаге?.. Не исключено — рак, но, скорее, застарелая язва плюс алкоголизм или застарелый алкоголизм плюс язва... Напрасно мы симпатичной нашей официанткой пренебрегли, поддались интеллигентской чувствительности, от коей всегда и во всем одни только казусы проистекают. А вот народ — в данном случае официантка — он в корень зрит. Народ, батенька, не жесток, но справедлив. Стихийно справедлив.

— Ах, вот оно что? То-то я соборность вашу вспомнил... Вот народ ваш соборный брата своего, как собаку дохлую, на помойку выбросил — и не почешется, и мы с вами сидим, прохлаждаемся, как будто так и надо. Это как же? Тоже справедливость? Соборность?..

— Торопитесь, Дмитрий Николаевич, ах, как вы торопитесь... Я вот студентов своих всегда предупреждаю... предупреждал, что худший способ обратить методологию в методику — это приложить глобальную концепцию к обыденной жизни. Из того, что мы с вами не хотели наших мам, а, по чести говоря, я такого рода влечений среди своих знакомых вообще не наблюдал, — от этого Фрейд не становится ни менее велик, ни менее прав... То есть он, может быть, и неправ, но не поэтому... Ну, выбросили мужичка, ну, лежит он там, скучает... ну и нас с вами выбросили, как этого мужичка, ну и что?..

Выпьем, Дмитрий Николаевич... Любезная, — окликнул он официантку. — Еще пару графинчиков.

— Нас с вами? — переспросил Дмитрий, не донеся рюмку до рта.

— А вы и не догадывались, как мы с вами похожи? Я тоже жертва измены и что характерно, она мне изменила с тем же самым...

— С кем — с тем, кто — она? — растерялся Дмитрий.

— Она, друг мой, — власть, а он — не важно, кто конкретно, но, как и в вашем случае, Виктор, Победитель. Власть, она ведь, как женщина, очень себе на уме, практична... И чем больше жиреет, расплзается киселем, тем больше ее на жесткое тянет, такое, знаете, нерассуждающее, цепкое, хваткое... И... права наши дамы, упрекнуть их не в чем, мстить — незачем. Выбросьте-ка из головы все эти планы мести, Дмитрий Николаевич. Пустое это, себя только загубите окончательно.

— Значит, говорите, месть — дело пустое?

— Пустое, Дмитрий Николаевич, пустое, как все сугубо деструктивное. Да и где мера страданию, наприклад, вам причиненному? Вы, что же, считаете, что можно его измерить, точно вычислить и, отомстив, ликвидировать это страдание? Если оно не безмерно, оно — не страдание... Прощение — вот ключевое слово.

— Именно, что слово, а месть, то есть желание мести — это чувство, Сергей Александрович, причем глубинное, одно из самых первичных, первочувство. А чувство словами, даже самыми ключевыми, не перешибешь... Я понимаю, если бы меня отец Алексей уговаривал... (Доцент приметно вздрогнул, отложил вилку с ножом.) По христианской заповеди врагов возлюбить должно... Так ведь какие мы христиане, Сергей Александрович?.. Амбивалентностью балуемся. А только не все еще в мире амбивалентно, не все подлежит пародированию. Нет, не все... Страсть, например. Любая.

К той же справедливости хотя бы. Одну страсть только другая может перебороть, вытеснить. Клин клином... А не слова. Ну, измена — туда-сюда, а кровь? Да еще не своя. Кому дано прощать чужую кровь?.. Только самой жертве...

Дмитрий говорил тихо, серьезно, как бы опуская явно ернический, то ли провоцирующий, то ли самопародийный тон доцента. У того игривости поубавилось, но насмешливое превосходство из глаз не ушло.

— Евангелие, — сказал он, — мы действительно оставим в покое. Я думаю, и отец Алексей не стал бы вас евангельскими притчами и заповедями вразумлять — слишком умен для этого, зря вы все-таки не дождались... Фигуру вашу, уходящую со двора, я заприметил, но, что называется, не опознал.

Логикой вас тоже не проймешь, разве что абсурдом. Абсурдность же вашей ситуации в том, что мстить вам некому, просто некому, вместо объекта страсти, положенной всякой страсти, пустое место...

Я, знаете, с большим и в высшей степени литературным любопытством пролистал роман Анатолия Васильевича. Безыскусность его пленяет, эдакое, знаете, воспроизведение жизни в формах самой жизни... Обожаю наивный реализм: герой, героиня, идейные разногласия... Одни диалоги чего стоят!.. Описание лагеря тоже впечатляет... Словом, стиль выдержан — чудо! И не без новаторства: "Человек — это звучит подло". Репарку последующую помните? — "Выпивает". Давайте же выпьем, Дмитрий Николаевич.

Они выпили и закусили.

— В скобках, — сказал доцент. — "Пьют и закусывают".

"А ведь он меня ненавидит", — думал Дмитрий, всматриваясь в бледное лицо доцента.

— Я за что реализм люблю, — продолжал Сергей Александрович. — За то, что жизнь на литературу похожа. Настоящую литературу — бульварную. Вот уже и ваш роман прочитали... О жизни как-то неудобно сказать: эпигонская, а с романом чего стесняться. О прототипе-то своем романном догадываетесь?.. Вот и Анатолий Васильевич не догадался, а мог бы — как лицо не замешанное... "Граф Монте-Кристо"... Какой роман! Не роман — миф. Я давненько еще на него заглядывался, переписать очень хотелось. Это модно сейчас — классику переписывать, чтобы уяснить меру неподобия. И вот, знаете, так я себе ясно все это представлял: тридцатые наши незабываемые годы, великая чистка и — юноша простодушный,

вроде вас, наш простой советский Эдмон Дантес с полным, понятно, сохранением фабулы: любовь, соперник, донос, политическое обвинение — передал, скажем, письмо от бывшего троцкиста будущему бухаринцу — ну и загремел на Колыму куда-нибудь, а там встреча с аббатом Фариа, но только — коллективным... Вы, может, и не знаете, но году эдак в тридцать восьмом латынь вышла из моды, зато в каждом бараке, куда ни плюнь, германисты, слависты, классики... Вот с ними я бы и столкнул нашего героя, они-то и стали бы его аббатом. Он бы и языки выучил лет за двадцать, а главное, такой бы литературы наслушался!.. У меня там каждый рассказывал бы историю своего ареста и отсидки, выдерживая стиль изучаемого автора. "День догорал на сфере той земли...", а дальше терцинами про лесоповал. Или допрос по Джойсу, такой, знаете, поток дознания... А очная ставка трех сестер как вам нравится? Или письмо Татьяны, подшитое к делу, с пометкой следователя на полях: "Мне ваша искренность мила"... Я бы на "Круге первом" не остановился, у меня бы герой на волю вышел, и тут бы ему литература жизнью обернулась: Мерседес на коммунальной кухне белье выкручивает, прокурор реабилитирован посмертно, бухгалтер, понятное дело, сел за растрату, но что самое замечательное — никто Дантеса не помнит и, следовательно, вины никакой не чувствует... Ну, кому тут мстить?.. Про сокровище я не забыл, не беспокойтесь... Сокровище — это горсточка стихов некоего загубленного поэта: все-таки Дантес для русского сознания прежде всего с поэзией связан... Так вот, листки эти наш герой все двадцать лет прятал-перепрятывал, через все вошебойки, шмоны там всякие пронес... думал человечество осчастливить. А то и вовсе — на память вызубрил. А стихи чудом каким-то, как раз месяца за два до него вышли... в издательстве Чехова, что в Нью-Йорке. Зря, стало быть, он их двадцать лет наизусть учил, и этот смысл потерян... Такой вот я себе роман по мотивам "Монте-Кристо" вымечтал. Сечете теперь, в чем разница?.. Я свою жизнь свободно читаю, а ваша — и это Анатолий Васильевич очень верно подметил — опыт принудительного чтения. Никакой отсебятины, то есть творчества... Ваши мстительные вожделения — дань дурному вкусу. Литературному. Неужели вы не видите, кто вершитель вашей судьбы?.. Сипягин. Ну не обидно ли?.. Он ведь уже последнюю главу романа написал, а вы не знали?

— И что там написано? — Дмитрий забыл улыбаться.

— Самоубийство. На большее вы не способны. Ведь вы и меня

сейчас вслед за мужичком нашим не отправите мордой об асфальт. А уж как хочется, правда?..

Тошнота беспомощности подступила к горлу.

— За что вы меня так ненавидите?

— За сходство, дружок... При всей нашей разнице — оскорбительное сходство. Называется: "Тема "двойника" в русской литературе".

— Да в чем же сходство-то? — почти не помня себя, чуть не умоляя, допытывался Дмитрий. — Какие мы двойники?.. В чем?!

— В чем? В обреченности, Дмитрий Николаевич.

— Ах, вот оно что!.. Вам удачливым хочется быть? И зарплату получать, и вроде бы идее служить — на двух лошадках разом... — наконец нашелся Дмитрий, понимая, что это еще не ответ, что это даже чуть ниже пояса, но надо было разогреть себя злостью, чтобы пришли сильные слова о том, что никакие они не двойники, что он сам по себе, а доцент пусть идет к черту. — Да вы знаете кто?.. — начал он и умолк — на него смотрели пустые глаза мертвецки пьяного человека.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ
АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. "ТРЕПЕТ ИУДЕЙСКИХ ЗАБОТ"
(ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ)

Почти музыкальный строй этой книги воспоминаний и размышлений лучше многих рациональных доводов автора доказывает, что наша судьба есть цельность, развертывающаяся во времени и пространстве, и нам надлежит прислушиваться к музыке своей жизни, чтобы не сфальшивить ненароком. Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Цена книги — по заказу — 90 шекелей (за рубежом — 8 долларов).
Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—JerusaLem",
P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

Хоронили ли вы вождей? Вожди после смерти мало отличаются от людей: их тоже приходится хоронить. Но если к обычным людям на могилу приходят родные, близкие и друзья, то к вождям сгоняют буквально всех. Этим достигается чувство невиданной любви и признательности, которое эти "все" питали к покойнику.

Вот, скажем, умер товарищ Куусинен. Отто Вильгельмович. Сейчас никто и не помнит этого вождя. А он был член Политбюро. Его трудным малодоступным именем названы улицы и учреждения. Народ его не может выговорить, но ведь надо жить на улице его имени! Поэтому в троллейбусах можно услышать: "Вы на Кусинине выходите?" "Нет, я на Тольятти выхожу". Я считал, что очень невежливо так говорить. Поэтому я всегда спрашивал: "Вы на Отто Вильгельмовиче сходите?" На меня опасно смотрели, но тут же пропускали.

И вот он умер. Во всех московских учреждениях были списки людей, встречающих космонавтов, зарубежных лидеров и коммунистических деятелей, приезжающих в СССР отдохнуть от революционной борьбы, понежиться на песочке в закрытых санаториях Крыма и Кавказа.

Илья Суслов

РАССКАЗЫ

Как только они прилетали, тех, кто был в списках, посылали к определенному столбу на Ленинском проспекте помахать флажком соответствующей страны и крикнуть: "Хинди-русси бхай-бхай!", что в переводе с зарубежного означало: "Здорово, старик! И не надоело тебе подрывать нормальную жизнь в своей стране? Хочешь, чтобы и у вас было так же погано, как у нас?"

Для тех, кто по спискам значился "похоронником", была та же процедура. Их отвозили к тому же столбу, и они должны были скорбно молчать, когда мимо них провозили катафалк с телом давшего дуба вождя. Потом, если вождь не провинился, не свалая дурака, не наломал дров и сумел помереть естественной смертью, его сжигали в крематории, клали это, оставшееся, в урну, и другие, еще не умершие вожди взваливали ее на плечи и несли к Красной площади, где покойного ставили в стенку. Потом к стенке подходили два, как их называли, "высокооплачиваемых специалиста узкой квалификации", работа которых заключалась в том, чтобы закрыть дыру с урной в стене мраморной дощечкой на болтах, на которой написано: "Такой-то, родился тогда-то, а умер тогда-то". Эти двое были всегда одни и те же. Они всех и хоронили.

Остальные вожди в это время стояли на мавзолее Ленина и думали, наверное, о том, кто и как их похоронит. И доживут ли они до кремлевской стены. А может, им выдадут простое Новодевичье кладбище. А может, их положат на манер Неизвестного солдата, так что ни имени, ни фамилии, ни дат. Кто, что, когда, — все это будет покрыто тайной. И никто не узнает, где могила. И чего тогда стараться? Бедные вожди... А народ? Который провожает в последний путь, где он? А вот он: на Красной площади. Но все по порядку.

Мне, Хазанову и Трубицыной приказали поехать к столбу № 465 в Замоскворечье. Оттуда организованным порядком мы должны были попасть на Красную площадь, куда завезут покойного ныне товарища Куусинена О. В. Трубицына спросила парторга, кто такой Куусинен и что он сделал? Парторг попросил Трубицыну не задавать глупых вопросов, ясно показывающих аполитичность и невоспитанность Трубицыной. Хазанов сказал, что он тут же идет за бутылкой, чтобы я не волновался. Я сказал, что для меня это большая честь — хоронить товарища Куусинена, имя и отчество которого я знаю наизусть, может быть, единственный во всем мире.

Секретарь сказал, чтобы я не изголялся, потому что дело государственное и политическое.

У столба № 465 стояли знакомые из других учреждений: мы уже не первый раз тут встречались на похоронах того или иного вождя. Хазанов сказал: "Давай по первой!" Поскольку в те годы промышленность не догнала Америку по выпуску бумажных стаканчиков, он тут же сбегал к знакомой дворничихе, давно поджидавшей скорбящих трудящихся у ворот вверенного ей дома. Она ждала вот зачем: трудящиеся брали у нее напрокат стеклянный граненый стакан, а взамен отдавали ей пустую бутылку, которая стоила двенадцать копеек. Если учесть, что стакан был один, а трудящихся — сотни, то дворничиха явно наживалась на всенародном горе — похоронах вождей. Единственное, что делало ее более гуманной в наших глазах, это то, что она наживалась и на других всенародных праздниках, на встречах космонавтов, например.

Первый стакан мы, естественно, предложили даме, Трубицыной, поскольку в нашем учреждении всегда с большим уважением и галантностью относились к слабому полу. Трубицына лихо расправилась со своим стаканом и занюхала выпитое рукавом. Хазанов повторил ее действия, а я заключил. Бутылка с благодарностью была отдана дворничихе, к которой образовалась даже небольшая очередь. Теперь все были веселые и довольные. На улице не смолкал смех. Лица у всех были радостные, раскрасневшиеся. И нас в таком виде отвели колоннами на Красную площадь. Поскольку урна еще не появилась со стороны Колонного зала, а вход в общественный туалет в ГУМе был отгорожен рядами милиции, на случай, чтобы собравшиеся не сбежали под предлогом того, что им "хочется по-маленькому", в толпе происходило движение: люди пританцовывали, подпрыгивали и жались к цепи милиционеров в форме и в штатском. Получив отказ и не зная, чем себя занять, народ рассказывал антисоветские анекдоты и анекдоты про евреев, тоже, к сожалению, носившие антисоветский характер. Остальная толпа играла в "жучка".

Потом мы посмотрели на мавзолей. А там, оказывается, уже стоят вожди и провожают в последний путь своего друга, О. В. Куусинена! И они уже вроде кончают. Поскольку все равно ни черта не было видно, я взял Трубицыну за руку, вытянул Хазанова из кружка любителей "жучка", и мы стали пробираться в сторону ГУМа, чтобы одними из первых попасть в туалет, о котором Трубицына мечтала последний час как о самой счастливой минуте своей жизни. И точно: милиция расступилась, потому что Куусинена Отто Вильгельмовича уже положили в стенку, и мы

ворвались в туалет, как маршал Жуков в Берлин – первые! А после нас уже образовалась километровая очередь, потому что если в России нет очереди, то это уже не Россия!

Однажды я увидел демонстрацию на улице Горького: кого-то хоронили. Без меня? Я подошел к милиционеру и спросил, кого хоронят?

– Как кого? – сказал милиционер. – Неизвестно кого.

Я был поражен. Если такая толпа, то должно быть известно кого! Ну пусть не по имени-отчеству, но хотя бы по фамилии.

Потом я узнал, что это было открытие могилы Неизвестного солдата.

Так что, по-своему, тот милиционер был прав!

В третий раз я хоронил ответственного сотрудника ЦК партии, который вышел на пенсию, а потом умер. Он еще при Сталине был начальником всего, что печаталось в Советском Союзе. Он отвечал за всю пропаганду. И за агитацию тоже. Он помыкал редакторами газет и журналов. И снимал с них три шкуры. Он был главный цензор. И цербер. За это они его очень боялись и уважали. Фамилия у него была Смердяков. Или Смертюков. Или Смердянкин. Я уже не помню. Некрасивая фамилия. Взял бы псевдоним. До революции все брали псевдонимы. И получалось очень красиво. Ленин. Сталин. Молотов. Емельян Ярославский. А тут какой-то Смердяшкин. Перед товарищами стыдно. Теперь нельзя псевдонимы. Раньше был клоун Бим. Или Бом. И как его настоящая фамилия, всем было неинтересно. Бим так Бим. Или Бом. А теперь в цирк ходить не хочется. “Весь вечер на манеже клоун Тимофей Петров”. Я таких клоунов на работе каждый день вижу. Такие номера откальвают, никакому цирку не приснится! Так что псевдонимы украшают жизнь.

А тут – умер товарищ... Бог с ним и его некрасивой фамилией. И все газеты, журналы и издательства получили приказ его похоронить. Чтобы покойному не было обидно: ведь всю жизнь он отдал травле этих изданий, всю жизнь свою мешал делать их интересными и читабельными, пусть уж напоследок придут и скажут несколько теплых слов.

Мне позвонили в “Клуб двенадцать стульев”, где я тогда работал, и сказали, что я буду делегатом на похоронах от “Литературной газеты”.

– Это даже как-то немного обидно, – сказал я. – Я не знал покойного, не работал с ним, он на меня ни разу не орал. Почему же

я должен его хоронить? Тем более “Клуб двенадцать стульев”. Подумают, что мы посмеяться над ним пришли. А он уже умер. И ничего смешного в этом нет. А то, что фамилия у него не совсем поэтическая, то Бог с ней, с фамилией! Он, наверное, из крепостных крестьян, у крестьян не всегда были хорошие фамилии.

— Заткнитесь, Суслов, — сказал мне секретарь. — Поезжайте и высоко несите знамя газеты. Там все будут. Не прерывайте ораторов своими неуместными шутками. Венок возьмите в профкоме. Уже готов. С лентами.

Покойный не-хочу-называть-его-фамилии лежал в здании ЦК на Старой площади. Уже скопилось много машин, лица у коллег усопшего были постные и серые. Некоторые держали подушечки с его наградами. Менялся почетный караул у гроба. Я тоже постоял немного. И вдруг увидел, что один из тех, кто держит подушечку с медалькой, — мой старый институтский товарищ, Валька П.

— Валька! — крикнул я. — Надо же, куда ты залез! Ты теперь что — вождь?

— Илюха! — обрадовался Валька. — Пойдем кернем, как в старые времена!

Но тут же опомнился, снова собрал на лице скорбь и печаль, мигнул мне правым глазом и затерялся в толпе почитателей таланта покойного Смердушкина.

И все поехали на Новодевичье кладбище. Потому что по рангу покойному не полагалась Красная площадь. И представители всех газет и журналов выступали с теплыми проникновенными речами о том, как добр был покойник и какой он был вождь и учитель советской журналистики. И какую роль он сыграл в становлении партийности и народности нашей печати. И все ораторы на трибуне говорили одинаково: с тяжелым украинским “г”. Они говорили, как Брежнев и Подгорный. И я еще подумал тогда, что “днепровская мафия” и вправду всюду рассовала своих ребят из Днепропетровска. Все гыкали и гакали.

Но тут выступил зампреда Гостелерадио товарищ Мамедов. Энвер Назимович. Я его немного знал, потому что некоторое время работал на радио. И я знал, что Мамедов — образованный и интеллигентный молодой деятель, отлично говорящий на литературном русском языке и еще на нескольких языках мира. Он руководил иностранным радиовещанием.

Мамедов вошел на трибуну и сказал:

— Дорогие товарищи! Сеходня мы провожаем у последний путь

нашехо догохохо Степана Никодимыча. Усе прогрессивное человечество хрустит (в смысле: грустит. — Прим. автора) об этой потере. Дорохой Степан! Мы усе, твоє ученики и коллехи, будем помнить тебе и твой ужизненный путь...

Ну и так далее. Я был потрясен. Азербайджанец Мамедов тоже, оказывается, из Днепропетровска! Какое совпадение!

Мамедов сошел с трибуны и, обращаясь к своему коллеге, тихо спросил его:

— Ну как я? Все в порядке?

И в этом не было никакого гыканья, и речь его была интеллигентная и чистая.

И я подумал, что театр начинается не с вешалки. Театр начинается с контроля!

МАСТЕР МИЛОВАНОВ

Когда я работал в типографии, у меня в цехе был мастер Милованов. Никто не называл его по имени-отчеству, все звали его Милованов. И еще Милованыч. Потому что Милованов был хорошим механиком. Он умел чинить машины, которые то и дело выходили из строя, старые, разболтанные. На них сшивали книжные тетради, но книжки все равно рассыпались, потому что машины эти давно была пора выбросить на свалку. Но других не было, и в цехе из разных углов все время несло: "Милованов! Милованыч! Сломалось!.." Милованов ходил от машины к машине, что-то подправлял, что-то смазывал, что-то сваривал, и цех работал, накручивал план по натуре и валу...

Милованов крепко выпивал, белесые его глаза были всегда с поволокой, отвечал он тихо, нескладно, и я все время боялся, что он попадет рукой в машину, и тогда хлопот не оберешься. "Милованыч, — просил я его, — ты, в общем, того, поосторожней, а то мне за тебя отвечать. Чего ж ты с утра-то? Дождался бы обеда, я б тебе компанию составил...". "Не трухай, Петров, — говорил он. — Человек без бутылки что корабль без паруса — может потонуть. Не трухай, все будет в порядке". И шел на очередной крик: "Милованыч! Сломалось!"

В цехе работали одни женщины, мы с Миловановым были для них "мужиками", поэтому с нами даже заигрывали, но мы не под-

давались: в своем цеху неудобно, в других цехах девчонки не хуже, и не надо целый день мозолить им глаза.

Однажды я видел, как Милованов пьет. Он стоял у окна в комнате мастеров и не видел, что я иду по фабричному двору. Он достал бутылку, свинтил пробку и выпил ее одним духом. Он ни разу не поперхнулся, просто перелил водку в желудок, как будто у него не было горла. Так выливают воду из бутылки в раковину. Я догнал его по дороге в цех и сказал, что я все видел. Он презрительно усмехнулся: “Не трухай, Петрович! Человек без бутылки что паровоз без колес — сразу с рельсов сходит”. И пошел чинить машины.

Был конец 56-го года. Мы ходили как помешанные. Мы зачитывались сборником “Литературная Москва”, где впервые появились правдивые рассказы и стихи, обсуждали решения двадцатого съезда партии, покончившего со Сталиным, переживали за венгров, которых давили советскими танками. Насер захватил Суэцкий канал, началась война на Ближнем Востоке. Хрущев сказал, что если англо-франко-израильские агрессоры не уберутся к чертям собачьим, Советский Союз пошлет туда добровольцев. Мои друзья криво улыбались: какой дурак поверит в добровольцев, пошлют туда армию и растопчут всех, как в Венгрии...

Милованов появился в цехе лишь во второй половине дня. “Что случилось, Милованыч, ты не заболел?” Он весь светился изнутри. Глаза его сияли, он был абсолютно трезв, на нем были чистый костюм, галстук, свежая сорочка. Он даже выглядел выше, чем обычно.

— Я был в военкомате, Петрович, — сказал он.

— Что ты там делал?

— Газет не читаешь? — насмешливо спросил он. — Добровольцев хотят позвать в Египет. Вот я и зарегистрировался.

Я смотрел на него с изумлением.

— Что ж ты там будешь делать?

— Воевать, — ответил он. — Воевать.

— Так ведь могут убить. Это же война.

— А может, и не убьют, — сказал он задумчиво. — На той войне, видишь, не убили.

Я никогда не видел его таким. Речь его была внятна и тверда. Даже тон его изменился. Я не узнавал Милованыча.

— Милованыч, — сказал я, — я тебя не узнаю. Что ты там потерял?

— Не Милованыч я, — сказал он жестко, — а Анатолий Иванович. А что я здесь нашел? Ты знаешь, кто я был в армии, мальчик? Я был подполковник. Я был хозяин жизни. Нам, военным разведчикам, отдавали города на три дня. А потом уже, после нас, в город входили военные власти. Ты это понять можешь? Все было нашим: вино, консервы, женщины. Я же жил на войне! Жил так, как никогда ни до, ни после не жил! И кем я стал? Милованычем? Машины твои сраные чинить, грязных девок этих из Марьиной Рощи ублажать? Я, разведчик, подполковник... Там мое место. Там я снова жить стану. Все нашим будет. А то я сопьюсь со скуки и помру. Молодец Хрущев! Знает он нашего брата. Камня на камне, камня на камне!..

Он вдруг остановился и посмотрел мне в глаза. Я был поражен. Он усмехнулся и сказал:

— Не трухай, Петрович. Не боись. Мы там вашему брату-агрессору устроим веселую жизнь...

И прошел мимо, подтянутый, строгий, другой.

Но Хрущеву не пришлось посылать добровольцев в Египет. Война утихла.

Милованов сжался. Он ходил по цеху с каменным лицом, ни с кем не разговаривал, все думал какую-то тяжкую думу.

Потом позвонила его жена и сказала, что он повесился в уборной.

И. Суслов — журналист и писатель, в прошлом — руководитель "Клуба 12 стульев" ("Шестнадцатой полосы") "Литературной газеты"; живет в США, где издал книги "Прошлогодний снег" и "Рассказы о товарище Сталине".

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН. УБИЙСТВО НА БУЛЬВАРЕ БЕН-МАЙМОН

В первую книгу бывшего ленинградского, ныне иерусалимского журналиста вошли повести "Похороны Мойше Дорфера", впервые рассказывающая правду о Биробиджане, и "Письма из розовой папки, или убийство на бульваре Бен-Маймон", насмешливо и весело изображающая жизнь советских евреев в Израиле.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 110 шекелей, за рубежом — 10 долларов.

Чеки и заказы принимаются по адресу:
"Foundation Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

Алексей Цветков

ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

натянешь на старости дней
носки поплотней и пижаму
и шепчешь скорее стемней
прилипшему к векам пейзажу

мгновенно припомнишь дотла
квартиру с ее обстановкой
где светка впервые дала
урок анатомии ловкой

петренко на кухне сидел
орудуя тщательным гребнем
и было как в бочке сельдей
людей в этом городе древнем

потом от заречных лачуг
где нож в обиходе нередко
с вином приезжал ровенчук
а светку работал петренко

в тот год в кинозале прибой
гремел гэдээровский вестерн
чтоб города житель прямой
смотрел его с семьями вместе

соседка одна умерла
холерная крепла зараза
но жив еще был у меня
отец подполковник запаса

* * *

система редких приполярных городов
сгущенных сливок с поясной наценкой
удовлетворение нужд путем народных песен
население так стосковалось по культуре
что называет своих немудрящих дочерей
викторина ольвия идиома

но уже шире подвоз сливового сока
на бедре у ольвии выколото
умру за горячую еблю
сотни собак на безлюдном снегу
поворачивают головы точно по команде
при виде человека правдоумца
заезжего труженика всемирных знаний

* * *

сколько мне лет спрашивал старших
они отвечали четыре с половиной
примерял этот возраст как дивное платье
сравнивать было не с чем

весной воробьи под карнизом веранды
мастерили неказистые гнезда
был долго и привычно болен
годами не поднимался с койки
узнавал устройство растений
из прутьев роняемых воробьями

к лету перевезли в павильон
с перил свисали едкие ягоды паслена
на горизонте вертикально стояло море
крутили китайское кино смелая разведка
ранняя зависть к этим героям гор

узнавал из кино устройство смерти
серая и длинная вроде крысы
приходилось бояться темноты
четырёх с половиной уже недоставало
хотелось быть всегда

* * *

помню пепельное утро
вязы в воздухе пестро
журавлей в лазури утло
ассирийское письмо

в хрустале как приступ астмы
сквер под бременем росы
ослепительные астры
напоследок там росли

очевидно есть причина
вечность прочная одна
что любовь неизлечима
до финального одра

лишь бы поступью обратной
проступала на траве
в сланце рыбой аккуратной
четкой мухой в янтаре

* * *

в отрочестве тянуло взглянуть на покойника
тихого желтого с бумажной лентой на лбу
промчатся опрометью через двор туда
где возносит его медный вал музыки
у нас в семье никогда не умирали
некого было любить этой торжественной любовью

когда же открылось что и мы цветковы смертны
лишь издали я сострадал взаимному горю
звонили из детройта передавали по буквам

телеграмму о скоропостижном уходе
музыка медно пела без меня

один из виденных навсегда запал в память
с черными головнями ступней на клеенке
безымянный узник старческой гангрены
а отец в своей новой дюралевой лодке
обожженный первым апрельским солнцем
горбится над упрямым мотором
в безветренном дрейфе времени

* * *

голодный глоток нембутала
кладбищенской глины разрез
нам только молвы не хватало
что данченко этот воскрес
он жил на асбестовой с дедом
где в марте платаны черны
неистовым занятый делом
моложе и лучше чем мы
строчил манифест на машинке
зимой из дурдома удрал
и умер почти по ошибке
за нас принимая удар

в начале пасхальной недели
был свет у наташки зажжен
к полуночи было виденье
к ней данченко в гости зашел
в нем не было смертной печали
когда они пили портвейн
пальто и худые перчатки
стихов непочатый портфель
мои же следы без просвета
кромешная ночь замела
в том городе с хордой проспекта
где данченко жив за меня

* * *

в парке дубовая роща
очередь точно струна
на обнищание ропща
брали по кружке с утра
прочь из отцовского плена
вынесла нас навсегда
кружек ажурная пена
ржавая жертва сельдя

в сумерки вновь на природу
нас поневоле вело
выучил шурик приему
пить в винтовую вино
игорь читал из бодлера
голосом гневно дрожа
завистью печень болела
жизнь оставалась должна
логач желтея от жажды
долгие дни голодал
мы с ним в зарнице однажды
пропили мой гонорар

в высшей судебной палате
участью горше щенка
логач предъявит к оплате
общие наши счета
там на посмертной странице
спишет любые долги
жажда которой в зарнице
мы утолить не могли

* * *

быть учителем химии где-то в ялуторовске
сорок лет садясь к жухлой глазунье
видеть прежнюю жену с циферблатом лица
нерушимо верить в амфотерность железа
в журнал здоровье в заповеди районо

реже задумываться над загадкой жизни
шамкая и шелестя страницами
внушать питомцам инцеста и авитаминоза
правило замещения водородного катиона
считать что зюева засиделась в завучах
и что электрон неисчерпаем как и атом

в августе по пути с методического совещания
замечать как осели стены поднялись липы
как выцвел и съезжился двумерный мир
в ялуторовске или даже в тобольске
где давно на ущербе скудный серп солнца

умереть судорожно поджав колени
под звон жены под ее скрипучий вздох
предстать перед первым законом термодинамики

* * *

облиздат выпустил своевременную книгу
учебник насморка для мальчиков
прискорбная неясность в этом вопросе
теперь рассеяна навсегда

но как еще много белых пятен
действительности не разъясненной наукой
зачем растут несъедобные грибы
созвездия не имеют правильной формы
как нам реорганизовать природу
в соответствии с объективной реальностью

ведь если на закате сойти к реке
там первобытен беспорядок жизни
шумное соревнование вредных видов
обилие голых женских купальщиц
требует срочных мер

*А. Цветков — поэт (статью о его сборнике "Состояние сна" см. "22", № 23),
живет в США.*

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Прошло больше одиннадцати лет с окончания Первого Ленинградского процесса и начала массовой алии. Сегодня еврейское движение в СССР переживает несомненный кризис. Советские власти взяли курс на прекращение эмиграции. Означает ли это конец алии — или конец определенного периода, этапа движения? Каковы причины кризиса? И какова наша собственная роль в происшедших событиях?

Этим вопросом мы посвящаем предлагаемый читателю "круглый стол", в котором приняли участие: Виктор Богуславский — архитектор, в прошлом активист ленинградского сионистского центра, узник Сиона; Александр Воронель — физик, в прошлом создатель самиздатского журнала "Евреи в СССР" и семинара ученых-отказников; Нина Воронель — драматург и переводчик, в прошлом один из создателей журнала "Евреи в СССР"; Лариса Герштейн — певица, в прошлом активист движения за алию; Амик Диамант — инженер, в прошлом — зачинатель сионистского движения в Киеве; Зеев Левин — служащий, в прошлом один из зачинателей сионистского движения в Москве; Эдуард Кузнецов — писатель, в прошлом активный деятель правозащитного и сионистского движений, узник Сиона; Рафаил Нудельман — журналист и переводчик, в прошлом один из редакторов журнала "Евреи в СССР"; Михаил Нудлер — математик, в прошлом преподаватель иврита и активист еврейского религиозного движения в Москве; Ицхак Шломович — служащий, в прошлом активист сионистского движения в Киеве.

ОГЛЯНИСЬ В РАЗДУМЬЕ...

Р. Нудельман: Существует такое затасканное выражение: великая энергия рождается для великих целей. Нечто подобное произошло, на мой взгляд, в раннем сионизме: он породил великую энергию, потому что предложил различным группам тогдашнего еврейства различные утопии — великие цели, резко отличавшиеся от реальности, в которой эти группы жили. Основной массе евреев он предложил мечту о жизни без тех жесточайших преследований, которым они подвергались; народнической молодежи — утопию возрождения народа через возвращение к земле и труду; национальной интеллигенции — ахад-гаамовский план создания в Палестине всемирного духовного центра еврейства; религиозным сионистам — надежду на ускорение прихода Мессии. Разумеется, эти цели — своей громадностью — многих отпугнули, но многих — тем же величием — вдохновили, порой даже на жертвы.

Сталинские времена сыграли в русской мысли злую шутку — они заморозили ее на полвека, и с началом оттепели она начала с того, что было полвека назад. Это относится и к сионизму: возродившись, он начал с повторения утопий начала века — разговоров о "еврейской жизни", "еврейской культуре" и

так далее. Но обращался он с этими лозунгами уже к другим евреям — которых эти расплывчатые утопии уже привлечь не могли. А других активисты и лидеры предложить не могли. Сионизм этих лидеров был, так сказать, чисто негативным. Он был порожден разочарованием в предшествующих попытках найти свое место в общественной жизни России, крахом иллюзий об органическом вхождении в российские общественные движения, о возможности что-либо в России изменить. Это был чисто “географический сионизм” — его единственный конструктивный призыв был: уехать из России, сменить место жительства. Но никакой программы действий *после* этой перемены он не предлагал. Лозунг алии в Израиль был сам по себе достаточен для евреев российских окраин и для незначительной, произраильски настроенной части еврейской интеллигенции центра; эти группы — благодаря стечению ряда внешних благоприятных обстоятельств — и создали то, что получило название “массовой алии”. Но когда этот первичный резервуар исчерпался, оказалось, что основная масса евреев России, Украины, Белоруссии восприняла из “географического сионизма” именно его единственный, по существу, лозунг: эмиграцию из СССР. Ведь кроме этого он не предлагал ничего такого, для чего нужен был именно Израиль, а не Америка, скажем. И на смену массовой алии пришла массовая эмиграция.

Лидеры и активисты, выехавшие с первыми волнами алии, ничего не могли предложить советскому еврейству и отсюда, из Израйля. Часть из них продолжала по инерции “бороться за алию” теми средствами, которые им были предложены израильским и мировым еврейским истеблишментом, то есть начала фактически играть в навязанные ей политические игры, лишённые всякого содержания, кроме “борьбы за выезд”. Другая часть попросту ушла из политической и общественной жизни, а то и вообще эмигрировала из страны. Постепенно стало очевидно, что никакой вдохновляющей программы социального и культурного творчества в Израиле предложить оставшимся в России мы не в состоянии. И чем труднее становилась израильская жизнь, чем больше колебались в своем выборе “места жительства” оставшиеся, чем острее становилась потребность в сионистской идеологии, тем откровеннее становилось наше идеологическое банкротство, даже импотенция.

Говоря об “идеологии” или “программе действий”, я вовсе не думаю о каких-то грандиозных планах переворачивания суще-

ствующего Израиля или создания своего, "русского" Израиля. Но мне представляется, что выдвигание таких идей, как, например, создание своими силами новых университетов, научно-исследовательских и промышленных комплексов, культурных центров в новых городах и поселениях, могло бы привлечь в Израиль куда большую часть советской еврейской интеллигенции, чем наша бессознательно выработанная стратегия встраивания в существующую систему, приспособления к ней, выцарапывания себе — каждым поодиночке — тепленького местечка под солнцем. И я думаю, что в этом — одна из основных, если не основная причина того, что алия наша захлебнулась при первых же трудностях. Повинны в том — мы сами.

В. Богуславский: Алия кончилась — через двенадцать лет после того, как началась. То, что она существовала целых двенадцать лет, — не так уж плохо. В принципе это следует считать большим успехом: начиная, мы и на это не надеялись. И поэтому сегодня нужно не оплакивать алию, а проанализировать ее итоги.

Я не уверен, что алию начали сионисты. Те сионистские группы, которые существовали к семидесятому году в разных городах, вряд ли могли это сделать! Алию родила ситуация. В известной мере ее породила сама советская власть, поднявшая грандиозный шум вокруг Шестидневной войны. В советской прессе возник образ воинственного, всепобеждающего еврея, и этот образ компенсировал тот комплекс неполноценности, который существовал у советских евреев. И тогда возникла ситуация, когда сионисты могли любого еврея "взять за пуговицу" и уговаривать ехать в Израиль. С другой стороны, в советском истеблишменте начался рост русского национализма, усилившийся желанием избавиться от евреев вообще. С третьей стороны, появились американцы, которые предложили Кремлю взятку. И тогда советские евреи хлынули в Израиль.

Они хлынули туда из самых разных соображений. Я бы не назвал их "сионистскими". Никакой сионистской идеологии у них не было. Да и у сионизма самого, на мой взгляд, никогда не было четкой позитивной идеологии или программы. Его идеология всегда была негативной: избавить евреев от недостатков галута. А уж чем их потом наделить — этого еще ни одна сионистская программа четко не сформулировала. Одни хотели сделать из них "обычный народ", другие — "народ Торы", но, в общем-то, сионизм не выдвинул какой-либо однозначной позитивной программы

жизни в еврейском государстве. И вот с этим-то отсутствием “программы жизни” столкнулись все течения и группы, оседавшие в Израиле. В нашем случае сыграло роль еще и то, что изменилась ситуация в самом Израиле: вместо государства, завоевывающего территории, он превратился в государство, под разными сомнительными предложениями их уступающее. Все это породило разочарование, и тот всплеск, который мы до сих пор по инерции называем “сионистским движением в России”, постепенно превратился просто в движение за выезд. Тем более что изменилась и ситуация в России: оттуда стало возможно уехать. Это совершенно иная ситуация, чем в 1970 году, и те, кто уезжает сегодня, вообще не связывают свой выезд с Израилем. Правда, они едут по израильским визам, но воспринимают это как чисто техническую деталь, обусловленную требованиями КГБ. Они с удовольствием ехали бы по любым вызовам, им это все равно; поэтому помощь Израиля они воспринимают как чисто гуманитарный жест, не связанный ни с каким сионизмом.

А. Диамант: Мне странно слышать от бывших сионистов то, что я слышу. О каком массовом сионистском движении вообще может идти речь? Сионизм всегда был движением меньшинства. До революции из России выехали миллион двести семьдесят тысяч евреев, из них в Палестину — всего десять тысяч, остальные — в Америку. И второе: что это мы вдруг стали такими “добренькими”, что стараемся “войти в положение” тех, кто считает израильские вызовы “технической деталью”?! Это не техническая деталь. И наша позиция — это ложь, в которой мы сознательно или бессознательно соучаствуем. За ложь рано или поздно приходится расплачиваться.

Русская алия захлебнулась в собственном дерьме, извините за выражение, — и я только тихо радуюсь этому. Ибо такая алия никому не нужна — ни себе, ни миру, ни еврейскому народу. Пусть себе теперь сидят там и ждут своего часа — как ждали шесть миллионов до них.

Наша алия никогда не была “национальным движением”. Сознательное национальное движение существовало до Шестидневной войны, когда его составляли сионисты-одиночки. После войны создалась идиотская ситуация: евреи начали болеть за Израиль, как футбольные болельщики — за команду-победительницу. Благодаря определенным условиям это явление набрало силу.

Но мы договорились здесь не говорить об этих условиях, а сосредоточиться на том, как мы сами посочувствовали в провале алии.

А посочувствовали мы самым решительным образом. Я помню, как в 1976 году, на конференции в Брюсселе, Воронель назвал еврейскую научно-техническую интеллигенцию из СССР "лидером в красной майке чемпиона". Действительно, это был лидер алии, и его движущим мотивом был поиск национальной свободы. Но постепенно это выродилось в поиск "свободы вообще", а потом из всех "свобод" оставили себе одну: свободу безответственного хамства. И наш "чемпион" внес в это перерождение свой решающий вклад.

Что тут твердят о каких-то программах? Программа сионизма сейчас, как и пятьдесят лет назад, проста и очевидна: строить эту страну. Страна пуста, незаселенна, недоразвита. Русскую алию потому и приняли здесь на ура, что в ней увидели потенциал для решения задачи, вставшей перед Израилем на данном этапе, — скачка в постиндустриальную эпоху. А что произошло с этой алией? Она пришла строить — и отказалась, отказалась сознательно. Не то чтобы она чего-то недопоняла: это была сознательная подмена долга — свободой от долга. А ведь долг всегда является парным к свободе, как минус к плюсу: свободы без долга не существует.

Наш лидер в красной майке воспользовался свободой исключительно для достижения собственного благополучия. Он забыл о всех долгах — кроме разве что долгов Сохнуту: за машину, за квартиру, за холодильник. Внезапно у нас не оказалось никаких больше долгов: ни перед теми, кто остался там, ни перед теми, кто лег в землю здесь. Все наши усилия были брошены на то, чтобы самим себе выбить работу. Не создать рабочие места, а выпросить их, не строить, а пристраиваться, не работать, а зарабатывать. Добренький Израиль бросил нам подачку — 100 миллионов долларов на абсорбцию, которые успешно разбазариваются до сих пор. Эти миллионы и стали той питательной средой, на которой растут всевозможные микробы, убившие сионизм русской алии.

Лидер в красной майке получил свое. Те, кто приехал первым, первым же получил свое: легли грудью на финише, закрыв собой ленточку и предоставив остальным бегунам самим искать свой финиш. А остальные — смотрели на лидеров и повторяли то, что делали те. И потому я говорю, что именно лидеры больше всех

повинны в том, что произошло. Это они пели знакомую песню, — сионизм кончается с переездом в Израиль. На самом деле сионизм только начинается с переездом. Во всяком случае, для меня и тех, кто когда-то разделял мои убеждения.

И. Шломович: Нудельман видит главную беду в том, что сионизм в России не имел социальных целей. Тогда надо начать с того, что такое сионизм. В его основе лежат три принципа: признание, что еврейство — это нация; убеждение, что проблемы еврейства могут быть решены, если значительная его часть (желательно большинство) будет жить на своей территории; и утверждение, что такая жизнь невозможна вне государственных рамок. Сионизм — это национальное движение прежде всего. А национальное движение не ставит себе социальных целей. Внутри него могут существовать различные группы со своими социальными программами, но в целом это движение ведет борьбу только за национальное освобождение или, как в случае сионизма, за национальное самоосвобождение. И когда мне говорят, будто цель сионизма — обеспечить еврейскую жизнь, я задумываюсь: какая жизнь может быть более «еврейской», чем в Бруклине? Разве к этому стремится сионизм? Он стремится покончить со всяким галутом, в том числе — и с сытым галутом Бруклина.

Еврейское движение в России было движением за национальную самоидентификацию, и потому от него нельзя требовать никаких социальных целей и задач, в том числе задачи построения страны, потому что с момента прибытия в Израиль уже нет смысла быть «русским сионистом» — ты становишься гражданином Израиля и делаешь то же, что делают другие израильтяне. В этом и есть твоя задача. В конце концов, страна строится не только на Голанах, куда призывает Диамант, или в Иудее и Самарии, где живет Богуславский, — она строится и в Тель-Авиве, и в Бат-Яме.

Говорят, что сейчас русские евреи не едут в Израиль, потому что в них нет ничего «еврейского». На мой взгляд, в них даже больше еврейского, чем в нас. Галутные евреи всегда перекочевывали туда, где лучше. Нужно отделить такую «еврейскость» от сионизма, и тогда мы увидим, что все разговоры, будто сионизм переживает кризис, несостоятельны. Сионизм продолжает свое движение. Он ставил своей задачей, чтобы у евреев были своя страна и свое государство; теперь они есть, но нуждаются в укреплении, и это — нынешняя задача сионизма.

Равным образом я не вижу кризиса сионистского движения и

в России. Я вижу кризис движения за выезд вообще и алию в частности, но считаю, что причина этого — не в изменении отношений между Востоком и Западом, не в каких-то ошибках Израиля, а в самих советских евреях. Все остальные факторы могут способствовать выезду и алие или тормозить их, но основная причина, по-моему, все-таки — в настроениях самих советских евреев. В их среде сейчас произошли определенные изменения. Эти изменения, я думаю, лежат в том же русле, что сдвиги во всем оппозиционном движении в СССР. Все движения стали более националистическими, почвенными, религиозными — и еврейское тоже. Поэтому нет ничего удивительного в том, что появилась даже группа крайне религиозных молодых евреев в Москве и Ленинграде. Плохо не это, а то, что между ними и остальной массой советского еврейства лежит пропасть, которую трудно перейти.

Н. Воронель: Я убеждена, что выезд евреев из СССР закончился из-за того, что большая часть потока ринулась прочь от Израиля. Но причины, связавшие направление потока с его прекращением, вовсе не так просты. Чтобы понять их, надо взглянуть на все явление в целом, то есть увидеть его, как событие, имеющее начало и конец, а главное — некий особый, высший смысл. Я уверена, что тут присутствовал такой высший смысл и даже замысел. Ведь если вдуматься, выезд из России, да еще в таком масштабе — событие абсолютно невозможное по всей логике советской системы. Объяснить его можно только чудом. И мне захотелось понять природу этого чуда. Мне кажется, что я ее поняла; и оказалось это совсем неутешительным.

Две тысячи лет евреи надоедали миру, Богу и себе постоянными жалобами на свое сиротство: у всех народов были свое государство и своя жизнь, и только евреи вечно скитались по чужим домам незванными гостями. И вот, против всех законов логики, было создано еврейское государство. Правда, бедное, небезопасное, но — свое. Казалось бы — чего уж лучше, теперь всем скорей в свое государство и дружно за работу! Но не тут-то было! Почему-то мир не наполнился топотом ног евреев, бегущих обживать свой дом. И тогда еврейский Бог решился на страшный эксперимент. Он совершил невозможное: открыл дверь в железной стене — для советских евреев. “Уж эти-то бедняги, — подумал Бог, — точно захотят жить в своей стране”. (Может, Он читал наши заявления в ОВИР о возвращении на историческую родину?)

Конечно, можно все объяснить детантом, пшеницей и замеча-

тельными качествами советских евреев. Но ведь Россия не первый раз заигрывала с богатой Америкой, и как-то обходилось без еврейской эмиграции, а в замечательных качествах отважных советских евреев я позволю себе усомниться: слишком хорошо я их знаю, сама тех же кровей.

Значит, этот выезд был кому-то зачем-то нужен. И Тот, кому он был нужен, решил: вот вам визы, вот вам свобода выбора — валяйте, выбирайте. И поначалу первые действительно двинулись в Израиль. Они приехали и обнаружили, что это всем неудобно: и тем, что приехал, и тем, кто их встретил. И следующие быстро учли ошибки авангарда: массово и проворно ринулись туда, где чужими руками налажена чужая жизнь. Именно массово — тут наконец проявилось пресловутое “еврейское единство”. Ведь это касается не только русских евреев: только 20 процентов еврейского народа живет сейчас на своей родине. Может, 20 процентов — не так уж мало: ведь даже из экспериментов с мышами известно, что благородные побуждения свойственны не более чем десяти процентам популяции. Однако для существования еврейского государства этого явно недостаточно.

Тот, Кто затеял эту проверку, не очень весело, но все же удовлетворенно вынес приговор: вам не положено иметь свою страну, вы этого не заслуживаете, господа. И дверь закрылась.

Не стоит обольщаться, хвалить себя за храбрость и биться головой о железную стенку: эксперимент завершен, результат однозначно прост, мы сыграли свою роль подопытных кроликов. Не очень почетную роль, но выше себя не прыгнешь.

Вот только жаловаться теперь уже будет некому: Он не станет нас слушать, мы сами выбрали свою судьбу. Один хитрец даже придумал этому элегантно оправдание: дескать, избранность еврейского народа в том и состоит, чтобы вечно жить в рассеянии. “Мы дрожжи, — сказал этот хитрец, — наша задача — сбраживать чужое тесто”.

М. Нудлер: Я серьезно возражаю против утверждения, будто алия из России завершилась. Я выехал из России всего полтора года назад, а до этого на протяжении шестнадцати лет принимал участие в еврейском движении. И могу сказать, что за эти шестнадцать лет никакого исчезновения или ослабления движения я не наблюдал. Если же говорить о том, что сегодня завершилось, то я бы сказал, что завершился один из этапов этого движения.

Когда в начале 70-х годов появилась возможность выезда из

СССР, там насчитывалось большое число людей, которые испытывали сильные сантименты к Израилю как к государству. Эти сантименты подспудно существовали давно, но на сей раз они захватили массы. Люди, наиболее ими захваченные, были, как правило, социально активны и потому сумели оказать сильное влияние на движение за выезд, повернув его в сторону Израиля. Но люди эти — тогдашние лидеры — напоминают мне, откровенно говоря, дерево без корней. У подавляющего большинства из них не было ни малейшего представления о естественной — с моей точки зрения — связи евреев с Эрец-Исраэль, не было еврейского образования, не было никакого представления о той печальной эволюции, которую прошли израильтяне (недаром в Израиле говорят, что сабры — это люди, родители которых *были* евреями) .

Всего этого первые активисты не знали, и отсюда — их многочисленные разочарования, отход от политической и общественной жизни, даже отъезд из Израиля.

Но параллельно с процессом массового выезда начался другой процесс — самоуглубления. Возникли кружки по изучению иврита, появилось культурное движение, начался возврат к тем религиозным истокам, которые, на мой взгляд, составляют смысл существования еврейского народа в этом мире. *Этот* процесс продолжается и крепнет по сей день. Но не он определял *цифры* выезда. Определяло их другое.

Начиная с середины 70-х годов выяснилось, что — с некоторыми оговорками — выехать из СССР *легко*. И тогда в процесс выезда включились совершенно иные люди, уже не имевшие никаких сантиментов к Израилю и в то же время не удосужившиеся начать процесс самоуглубления и возвращения к истокам. Когда стало очевидно, что интернационализм это иллюзия, а антисемитизм — долговременная государственная политика, такие люди поняли, что перспективы для евреев в России отсутствуют. И поскольку существовала легкая возможность выезда из СССР, они стали искать эти перспективы в другом месте. Ситуацию в Израиле они знали куда лучше, чем сентиментальные сионисты начала 70-х годов, сантиментов и самосознания у них не было, и они вполне естественно устремились в Соединенные Штаты, Канаду и даже в Западную Германию.

Мне кажется, сегодня начинается новый этап движения — этап культурно-национальный. Самая важная его особенность в том, что советское еврейство начинает обретать свое лицо. Понемногу скла-

дывается понятие русской советской еврейской общины — с праздниками, с соблюдением традиций, с обрезанием мальчиков, с кашрутом, с интересом к Израилю...

Л. Герштейн: С платоническим интересом?

М. Нудлер: Нет, отнюдь не платоническим. Статистика показывает, что среди людей, начавших в России соблюдать кашрут, чуть не 90 процентов едут в Израиль. И они оказывают определенное влияние на окружающих...

З. Левин: Могут дать справку: распределение по алие и нешире среди верующих и неверующих совершенно одинаково...

И. Шломович: Это вполне понятно — соблюдать кашрут можно и в Бруклине, у ребе Любавичского...

М. Нудлер: Я не знаю ситуацию в других городах, но за цифры в Москве ручаюсь: 90 процентов вернувшихся к религии едут в Израиль.

Сегодня в России функционирует порядка 130 кружков иврита, из которых примерно 70 находится в Москве и 15–20 в Ленинграде. Причем среди учащихся религиозные даже не составляют большинства. Значит, в России за последние годы произошли вещи, о которых нельзя было даже мечтать. В праздники проходит 15–20 седеров, в каждом из которых участвуют от десяти до пятидесяти человек, и это в одной только Москве!

Влияние этого процесса невозможно переоценить — и не только в том плане, куда эти люди потом едут, даже не столько в этом плане. Ибо для меня и для людей, разделяющих мои убеждения, гораздо важнее, будет ли человек связан с еврейскими корнями, чем то, куда он сегодня поедет.

Я хотел бы закончить следующим. Вопрос физического выезда евреев из СССР, несмотря на всю его важность, представляется мне вторичным. Первичным представляется мне вопрос возврата евреев к собственным истокам. Я считаю, что, если этот возврат произойдет, произойдет и выезд. Если же будет только выезд — пусть даже в Израиль, — то я не вижу никакой реальной силы, которая могла бы помешать такому еврею уехать и из Израйла.

А. Воронель: Я хочу вернуться к вопросу об идеологии. Мне кажется, что движение — особенно такое спонтанное и малоподготовленное, как сионистское в России, — развивается не под влиянием вопроса “Что думать?” — а под влиянием вопроса “Что делать?”. На словах люди спорят об идеологии, на деле они думают о том, что будут делать и у кого какое будет в этом общем деле

положение. Каждый из вариантов раннего сионизма, в сущности, предлагал возможность делать что-то такое, что прежде казалось недоступным и потому заманчивым. Сначала Герцль объявил, что нужно всех евреев собрать вместе и вести себя как нация. Для европейских евреев призыв стать нацией действительно звучал как откровение — ведь до тех пор они были уверены, что их еврейство — всего лишь “вероисповедание”. Поэтому они готовы были жить даже в Уганде и наверняка организовали бы и там еврейскую общественную жизнь. Но русские евреи всегда жили большой группой, у них всегда была своя общественная жизнь, они, в сущности, уже тогда вели себя как нация, и поэтому для них Уганда была вовсе не привлекательной. Они соглашались с Герцлем только при условии, что соберутся в Палестине и осуществят там свои идеалы. Но вот в отношении идеала среди них сразу выделились две большие группы. Для одной это был идеал социализма, который, как они очень быстро сообразили, нельзя было осуществить в России. Что для них было главным? Я знаю и сейчас еще не очень старых людей, которые бросили богатые семьи, чтобы стать рабочими и строить киббуцы. Иными словами, для таких людей задача, даже вызов состоял в том, чтобы делать что-то такое, чего они не могли делать раньше, что в России было невозможно. Другой группе эти мирные способы не подходили, потому что ее составляли выходцы из интеллигентных, буржуазных еврейских семей, которым на улице часто били морду, и потому для них самым новым и самым интересным действием было бить морды в ответ. Жаботинский увлек их не потому, что у него была какая-то идея (в этом он, скорее, потерпел поражение), но лишь потому, что догадался учить еврейских мальчиков приемам самообороны и драки. Этим он привел их в полный восторг. Вот вам и все различие в “идеологии”: рабочее движение, для которого потасовки были не новы, занималось организационной деятельностью и строительством, а ревизионистское — воинственными демонстрациями и оружием.

Это показывает, что главным является не идеология, а действие. И мне кажется, что наша ошибка состояла в том, что мы слишком большое значение придавали тому, что люди думают, и слишком малое — тому, что им предстоит делать. Подумаем: что было по-настоящему новым для всех нас в сионизме? Я, например (думаю, что я был в этом смысле типичным), почти не испытывал еврейских чувств и сантиментов, открытки из Из-

раиля меня не волновали, да я их и не получал. Что для меня было действительно новым — это свобода и ответственность.

В СССР я прожил до сорока лет, будучи, по существу, рабом, лишенным не только свободы, но и ответственности. Я не только никогда не был свободен, но и привык, что я поэтому не обязан никому и ничем. Я думаю, что возможность освободиться — это поистине грандиозный вызов для советского еврея, нечто настолько новое, что его можно сравнить разве что с новыми возможностями, некогда предложенными Герцлем, Жаботинским и другими. Все, что может такой еврей делать после освобождения, глубоко второстепенно по сравнению с самой перспективой свободы.

Об этой свободе следует сказать подробней. Когда я думал, что вырвусь из советской тюрьмы, то, будучи человеком, скажем, суеверным или, более мирно — честным с собой, был уверен, что за это следует заплатить. И я думаю, что такое желание исполнить свой долг, уплатить за полученную свободу, вообще говоря, — нормальное чувство: в обмен за собственную свободу нужно, как минимум, позаботиться хотя бы о свободе других. Иными словами, вместе со свободой мы немедленно приобретаем и обязанности. Для большинства — перед Израилем: в крайнем случае — хотя бы перед теми, кто способствовал твоему освобождению. Мне казалось, что этот моральный императив находится в природе человеческой. Однако через некоторое время мы ясно увидели, что это не так. И это очень важный вопрос, который приближает нас к религиозной проблематике: имеет ли человек вообще какие-нибудь обязательства? И что такое свобода?

Нудлер упомянул тут очень важную деталь, которая превращается уже в принципиальную особенность: начиная с середины 70-х годов из России стало легко уехать. Может быть, цена свободы сейчас так упала, что вообще — о чем говорить?! Кому быть благодарным? Эмиграция превратилась просто в регулярный вариант карьеры: если нельзя поступить в Московский университет, в Горьковский, в Казанский, то почему бы не попробовать в Гарвардский, а если там дорого — то в Тусон. Я уже знаю таких.

Когда мы переходим от образа жизни, в котором были абсолютно закрепощены, к образу жизни, в котором мы абсолютно свободны (конечно, на самом деле не абсолютно, ибо, как правильно сказал Диамант, свободы без долга не бывает, но ведь это наша с Диамантом религия, а отнюдь не всех советских евреев), то возникает очень серьезный вопрос: где кончаются границы свободы и

начинается наш долг? Только религия дает действительно четкий ответ на этот вопрос...

А. Диамант: Или любая другая идеология...

А. Воронель: Хорошо сказано! Но я утверждаю, что такой идеологии у нас пока нет. И тут я готов взять вину на себя. Называя еврейскую научно-техническую интеллигенцию лидером, я имел в виду, что она, уперевшись в тупик в СССР, начнет искать выход из этого тупика — не только для каждого лично — и произведет некие духовные ценности. Почитайте наш самиздат. Выход, который мы искали, был, конечно, тогда — вырваться на свободу, любой ценой. Но эта "любая цена" не включала забвения всех обязательств и ценностей. Я думаю, что наше упущение было в том, что мы не подняли этот вопрос: какова будет цена свободы? Действительно, это была наша задача. Быть может, это наша задача здесь, в Израиле, сейчас: дать некоторый спектр на выбор, чтобы у людей было некое ощущение — вот границы свободы, дальше нельзя, потому что дальше начинается действительно торжество хамства, как справедливо сказал Диамант, и оно может завести нас слишком далеко. Дело даже не только в том, что от этого гибнет алия, — дело в том, что хамство торжествует и у нас в Израиле и, конечно, рано или поздно разрушит наше государство, если не будет ограничено.

М. Нудлер: Но такие границы уже указаны, на этот счет есть религиозный канон, и вы обязаны отдать себе отчет, почему вы не хотите принять его за основу.

А. Воронель: Потому что я убежден, что поведение людей многообразно. И у меня есть серьезные сомнения в том, что канон, в том виде, в котором он существует уже сотни лет, способен удовлетворить не то что большинство, но даже хотя бы заметное меньшинство советских евреев.

Л. Герштейн: Можно согласиться с упреком прежним лидерам, что они не продумали программу действий на период после того, как все мы прогулялись по Синайской пустыне. Но мне ближе затронутый здесь вопрос о чувстве долга. Меня удивляет, что никто не вспомнил о двух простых вещах, которые не требуют ни израильских сантиментов, ни сионистской идеологии, ни — скопунствую — даже "еврейских корней". Я имею в виду чувство ответственности и чувство собственного достоинства. Эти чувства должны рождаться вместе с человеком и присутствовать в нем всегда. Если целое поколение идет с волной и, утратив ответственность и

достоинство, готово исключить себя из исторического процесса, из жизни той группы, к которой оно себя причисляет — хотя бы по паспорту, — тогда никакая программа не поможет.

Э. Кузнецов: Поскольку мы предварительно условились общеизвестных, говоренных-переговоренных тем избегать, я буду предельно конкретен. Но прежде три реплики.

Нудлеру. Говоря о падении алии, мы имеем в виду некоторый ее уровень, заданный 70-и годами. С ним мы и сравниваем сегодняшнюю ситуацию.

Нине Воронель. Я не одобряю карасей, ищущих, где глубже, но и не очень осуждаю их. По анекдоту, знаете? Змея, уже переплыв на черепахе озеро, все-таки ее укусила. “Что же ты?” — черепаха ей. А змея: “Что ж делать? Такое я говно”. Разумеется, “говно” — слишком сильно в нашем случае, но факт, что у человека массы нравственные импульсы заглушаются желудочными. Снова подчеркиваю, что это не осуждение, а констатация факта. Создание и бытие Израиля — история; брешь в советских крепостных стенах — история... А массовый человек историю не чувствует и страшится ее; если он в ней участвует, то только по принуждению. Ну, а уж проехаться на подножке чужого поезда — это само собой. На поезде надпись: “СССР—Израиль”, а мы, умненькие, соскочим в Вене, а там пусть он хоть под откос летит. И полетел, и доля вины в этом безбилетников немалая... Но массовый человек — человек, выпавший из истории, к нему особых претензий нет, претензии только к лидерам или тем, кто себя за таковых выдает, только с них спрос. Ибо судим людей по уровню их претензий.

Диаманту. Уезжают из СССР прежде всего для того, чтобы уехать. Без какой-либо программы строить Израиль. И приехав, участвуют в жизни страны на равных с израильтянами. Если даже имелся запас халуцианских порывов, он быстро испаряется: новичок не рассматривает израильское общество как враждебное себе, следовательно, нет негативного импульса — противостоять! — а есть, напротив, тенденция к нивелировке, и человек начинает участвовать в жизни страны на равных с рядовым израильтянином — ни больше ни меньше. В 30-е годы жить в палатках, когда прочие живут в бараках, — одно, но сейчас жить в бараках, когда прочие живут в виллах, — совсем иное.

Теперь по теме нашего “круглого стола”: провал алии и мера ответственности за это активистов алии.

Массовый исход из египтов в Израиль возможен или вследствие

гласа Божьего, или при угрозе физического уничтожения. С гласом у нас плоховато, о всеобщем погроме можно говорить только как об умозрительной вероятности, а не о насущной опасности. Выходит, что суррогатом гласа и погрома может быть лишь интенсивное идеалистическое горение... А гореть, чтобы остальные хотя бы тлели, может лишь малое ядро. К нему и претензии.

С прагматической точки зрения доведение эмоций до высокого, то есть побудительного к сильным действиям, накала следует передоверить мифу. Но путь мифотворчества чужд мне в принципе, я отказываюсь его обсуждать. А кроме того, даже решая какие-то сегодняшние задачи, миф в конечном счете бьет по тем, в кого вселился, — как бесы в бесноватого. И снова получается, что в условиях относительной доступности информации об Израиле — к сожалению, несбалансированной, негативной по преимуществу — вовлечь значительные массы в движение за алию мог только повышенный идеализм и стойкость лидеров. Именно они задают тон и определяют уровень стойкости остальных.

Несостоятельность активистов алии обнаружилась разносторонне. Первое и главное: всегда игра по правилам, навязанным властями, постоянная угадка — за что не посадят? Отсюда всегдашний вопль: “Никаких организаций!” — и целая система доказательств, что таковые неэффективны. Насчет неэффективности — конечно треп, другое дело, что почти невозможна длительно действующая организация в насквозь контролируемой стране. Но в основе вопля-то — не соображения пользы дела, а всего лишь панический страх — за организацию бьют сильнее. Отсюда постоянное усилие угадать: как бы так устроиться, чтобы и выехать, и с работы не полететь, институт кончить. На демонстрации — ни-ни, хватит того, что язык изучаем. Когда совсем ничего не светит, то и язык — дело, но есть времена, когда сильные шаги важнее всего. Естественно, что так настроенные, когда их прижмут, каются на весь мир. Я имею в виду большинство участников второго ленинградского и кишиневского процессов. И опять же — именно в момент, властям позарез нужный: надо было сбить волну сочувствия мирового еврейства, и пожалуйста: “Мы не нуждаемся в непрощеных защитниках из Израиля! Мы преступники” — и т. д. Впрочем, в лагере все они вели себя отлично...

Л. Герштейн: Я помню, как удручающе, деморализующе подействовали на нас в Ленинграде сведения о всех этих судебных показаниях...

Э. Кузнецов: Естественно. И западных наших доброжелателей они тоже не вдохновили... Но потом наступила полоса несажаний, и тогда установка на угадку карающей воли породила соблазн заигрывания с властями, соблазн особых персональных контактов с властями. Дошло до того, что значимость того или иного деятеля определялась частотой его бесед с КГБ. Невызванный считал себя обиженным — это знак понижения его весомости, а кроме того — потеря возможности дать драматизированное интервью иностранному корреспонденту. Создается система мнимых звезд, когда люди беспокоятся не о деле, а о частоте мелькания своего имени в заграничных газетах и радио. Далее — без ответственного распорядительного органа нет возможности избавляться от тех, кто компрометирует движение, спекулирует на нем, иногда и просто наживается, присваивая средства, поступающие в кассу. Возникла каста номенклатурных "борцов" — с взаимными интригами, скандалами из-за сертификатов и джинсов... Этим был задан стандарт поведения — последствия общеизвестны. Кстати, и венско-римский отсев — одно из следствий аморализма, отсутствия живых авторитетов, всеобщей безответственности и ловкачества как нормы поведения. Только повышенная ответственность и идеализм некоего ядра могли бы удержать движение от вырождения и упада.

Разумеется, я тут опускаю все то большое, что было сделано, а говорю лишь о том, о чем принято молчать.

К вопросу о том, что можно было бы сделать. Форму желательной активности в СССР мы отсюда предложить не можем, но порассуждать о желаемом — почему бы нет? Мне видится решением многих проблем дюжина действительно авторитетных лидеров. Речь идет не об увлечении структурными манипуляциями, организацией ради организации. Просто дюжина, которая определяет лицо движения и представляет его миру — информация, поступающая помимо них, подлежит сомнению и т. п. Главное же — они задают высокую меру стойкости, на месте определяют, что и как делать. Сейчас такая безответственная разноголосица, что картина замутнена — не знаешь, кому верить.

3. Левин: Мы собрались говорить о том, что произошло и происходит в России и какова наша роль — в прошлом и в будущем, чтобы это движение развивалось так, как мы того хотим. Но поскольку тут были затронуты общие вопросы, то хотелось бы сначала к ним отнестись.

Наивно думать, будто можно, пользуясь демократическими методами, какой-то стране навязать свои теории. В этом, на мой взгляд, основная причина того, что все те, кого называли лидерами, в Израиле практически перестали существовать как идеологи, как политические деятели. Это естественный процесс.

Для меня сионизм заключается просто в том, чтобы жить в этой стране. На мое отношение к этой стране, на вопрос – жить мне в ней или нет? – совершенно не влияет, сколько степеней свободы я буду здесь иметь. Я буду жить в ней даже, если Вильнер сделает здесь все по-своему, потому что для меня вопрос решается не внешними качествами страны, не ее устройством, не тем, насколько она мне подходит или согласуется с моим мировоззрением, а тем, что это *моя* страна. Это часть моего “я”. На этом мой сионизм начался, на этом он кончился. Все остальное будет так, как оно будет...

Н. Воронель: Даже если Вильнер или Агудат Исраэль сделают здесь все “по-своему”? Или вы будете бороться?

З. Левин: Жить в этой стране и бороться – понятия не противоречащие. Я не сказал, что буду жить сложа руки. И тут – несколько слов о тех, кто уезжает. Израиль оставляли и будут оставлять люди, которые не нашли себе места в этой стране, не нашли себя в ней. Сама страна к этому имеет весьма малое отношение. Я не верю в их разочарование Израилем. Ибо то, чего они не нашли в Израиле, они даже не пытались найти за его пределами. А если не пытались, значит – их это не очень интересовало. Но вместо того, чтобы в этом признаться, они начинают говорить, что выехали из СССР ради “интеллектуальной свободы” и потому, мол, должны жить в Германии или в Англии.

Если мы говорим о степенях свободы, то я хочу напомнить, что Моше Рабейну поступал с нашими предками далеко не демократическим образом. Он никакой свободы не давал, а тех, кто ее требовал, попросту резал...

А. Воронель: Но Моисей, столкнувшись с ситуацией, аналогичной нашей, и пережив грандиозное разочарование после того, как народ, получивший свободу, не смог ее по сути оценить, разработал подробные инструкции поведения для освободившихся. Именно эти инструкции воспринимаются теперь как религиозный канон. Они не исключали свободу, а лишь ограничивали ее до мыслимых в той ситуации пределов. В том-то и состоит наша проблема, что

в нашей конкретной действительности эти пределы – другие, и наш ответ на ситуацию должен быть практически другим. Я подчеркиваю, что теоретически, я думаю, он должен быть тем же самым, но сегодняшняя ситуация требует сегодняшнего ответа. Главная трудность (и в этом возражение Нудлеру), что, принимая правила Моисея буквально, мы фактически не выполняем его заповеди. Как сказал реб Зуся: “Бог не спросит с меня, почему я не стал Моисеем. Он спросит, почему я не стал Зусей!” Евреи были рабами в Египте и вышли кочевниками в Синайскую пустыню. Мы были рабами в СССР, но мир, в который мы вышли, непохож на пустыню. По крайней мере, практически. Но он может превратиться для нас в пустыню, если мы будем слепо копировать авторитетные образцы, а не исходить из наших собственных понятий.

3. *Левин*: Я не думаю, что рабское самосознание советского еврея сегодня отличается от рабского сознания того еврея, которого Моше выводил из Египта и который не хотел за ним идти. История показывает, что массовой добровольной алии никогда не было вообще. Евреи ехали сюда, когда их *гнали*, то немцы, то арабы, то советская власть. Я не думаю, что русские евреи в этом смысле отличаются в лучшую сторону от всех остальных евреев на этом шарике. Иными словами, если не будет достаточно сильного давления со стороны советских властей, условий жизни в России или со стороны коренного населения – а может, и со всех сторон сразу, – то вряд ли евреи захотят ехать в значительных количествах. Нужно иметь в виду, о каких евреях мы говорим. Советский еврей образца восьмидесятого года – это индивидуум, который начисто лишен каких-либо моральных устоев, у него нет ничего святого – ни земли, ни родины, ни народа, ни матери, ни детей. Если вы намерены заняться пробуждением в нем любви к народу, нации или какой-то стране, то вы сеете на пустом месте. Отношение таких людей к выезду определяется только одним – условиями выезда. Если условия выезда будут позволять им ехать от северного полюса до южного, если у них на выбор будет не четыре страны, а пятнадцать, они будут ехать во все пятнадцать. Если условием выезда будет одна страна – Гренландия, они ринутся в Гренландию. Сегодня евреи едут (и будут ехать) прежде всего *из России*, а куда – для них дело второстепенное.

Я хочу, однако, подчеркнуть, что массовый выезд евреев из России как *длительное* явление невозможен. Он возможен лишь иногда, на короткий период, при определенных условиях, но не

как постоянная ситуация. Постоянный выезд евреев из СССР возможен только в том случае, если они будут ехать в Израиль, то есть в еврейское государство. Длительный беспрепятственный выезд евреев куда угодно, то есть массовая эмиграция, невозможен, потому что он выходит из-под контроля властей и власти рано или поздно начинают его тормозить, — как это случилось сейчас. Но те же власти могут согласиться — под давлением сионистского движения внутри России — на постоянный выезд евреев *в их государство*.

И тут пора сказать о сионистском движении в России. На мой взгляд, одна из причин, почему мы обсуждаем данный вопрос, состоит в том, что это движение сегодня не соответствует тем проблемам, перед которыми оно стоит. Это внутреннее несоответствие не позволяет ему найти нужные формы борьбы. И я предлагаю начать второй круг обсуждения, чтобы попытаться проанализировать эту ситуацию и задачи активной группы, от которой мы ждем соответствующих действий. Ибо все остальные евреи поедут — если вообще поедут — только в зависимости от результатов действий такой группы. Выезд — не статическое состояние, которое определяется арифметическим количеством евреев, имеющих вызовы на руках. Количество людей, которые захотят поехать, зависит от условий, которые возникнут завтра.

Н. Воронель: А если евреи по-прежнему будут ехать мимо Израйля, — какова наша заинтересованность в их выезде?

Э. Кузнецов: С общечеловеческой точки зрения, каждый человек может ехать куда он хочет. Если ты хочешь и можешь ему помочь — помоги, потому что еврей тоже человек, между прочим.

Н. Воронель: Он не просит нашей помощи. Это мы хотим, чтобы он ехал сюда. Зачем это нам вообще? Может, у нас есть другие дела, поважнее?

З. Левин: Если ставится вопрос: стоит ли заниматься выездом евреев вообще, на общечеловеческих началах, то лично меня это волнует не больше, чем положение в Аргентине или Малайзии. Меня этот вопрос волнует постольку, поскольку это мой народ, это евреи. Часть их живет в СССР, часть в Америке, а часть в Израйле. Я хочу, чтобы все они жили здесь. Если бы это было возможно, я завтра же погрузил бы их всех в теплушки и привез сюда.

Говоря о евреях России, я исхожу из того, что их длительный выезд вообще невозможен, если они не будут ехать в Израиль. Но даже если он возможен — почему я должен оставаться в сторо-

не и не пытаться всеми доступными мне средствами повернуть их поток в Израиль? Конечно, спровоцировать их на выезд невозможно. Если мы дойдем до того, что советские евреи без побуждений извне ничего не будут делать сами, то никакого выезда вообще не будет. Вот почему я призываю думать только над тем, при каких условиях станет возможен новый массовый выезд и что мы в таких условиях должны будем сделать.

Э. Кузнецов: Я вижу, без очерка общей ситуации, как я ее понимаю, не обойтись. В конце 60-х годов, выбрав политику так называемого детанта, Москва готова была за нее платить евреями. Кончилась первая стадия детанта. И кончилась — с ней — эмиграция. Но она будет снова возможна, когда начнется новая игра в детант, очень Москве нужный, — и Запад, конечно, пойдет на это. Увы! Но раз уж он все равно пойдет, то хорошо бы увязать его — снова — с проблемой эмиграции. А это под вопросом. Ибо американцы охладели к этой проблеме, и не в последнюю очередь потому, что насмотрелись на советских евреев, приехавших в США. Одно дело — бороться за "наших героических братьев, желающих жить в Израиле", и другое — за искателей, где вкусней. А ведь именно сотни тысяч американских евреев, включившись с энтузиазмом в эту борьбу, помогли изменить советскую эмиграционную политику. Сейчас этого энтузиазма как не бывало. А потому если и начнется новый околотантантный торг, он не будет связан с проблемой эмиграции. Во всяком случае, такая опасность очень реальна. Таким образом, направление работы в долговременной перспективе — США...

А. Воронель: Иными словами — работать в основном среди американских евреев?

Э. Кузнецов: Да, ибо многое зависит именно от них. Тем более что СССР для нас закрыт, мы можем только ждать: как и что там сложится...

А. Воронель: Я хотел бы высказаться сразу после Кузнецова, потому что так получается, что моя точка зрения прямо противоположна. Я не только не считаю необходимым организовывать в России сионистские организации, но даже уверен, что оппортунизм — это наилучшая в советских условиях тактика реальной борьбы. Я имею в виду оппортунизм тактический. Мне кажется, что успех еврейского движения был в значительной мере обусловлен тем, что оно сосредоточивало свои усилия не на организациях и структурной игре: кто "главный", кто за что "отвечает", — а на

практических результатах. Это движение было, слава Богу, дилетантским и, однако, приводило к естественному разделению труда, ибо каждый занимался тем, что умел делать. Я не думаю, что это можно назвать игрой по правилам, навязанным КГБ. Каждый раз мы пробовали: что разрешается, а что нет — путем практического риска: кого посадили, а кого нет. Когда мы с Виктором Яхотом и Ниной Воронель выпускали первый номер "Евреев в СССР", у нас было одно лишь желание — дожить до второго, настолько мы были уверены, что посадят немедленно. Оказалось, что дело можно дотянуть до номера двадцатого. Я вообще думаю, что группа тех, кого теперь называют "лидерами", сложилась *до того*, как из опыта возникло представление, за что сажают, а за что нет. Так что и тактика их определялась все-таки не этими соображениями.

Я не берусь решать за советских евреев отсюда, я могу только попытаться сформулировать опыт нашей прежней тактики, которая показалась мне столь удачной: нужно жить так, будто советской власти нет вообще. Не бороться с ней, тратя на это все свои душевные силы, а делать то, что необходимо нам: издавать журналы, проводить семинары, вести кружки языка — и не отступать ни под каким видом. Показать этой власти, что мы живем по своим правилам, которые ее не устраивают — пусть она нас отторгнет от себя, как раковую опухоль. Жить для себя, а не для нее — тогда она не выдержит. К сожалению, евреи слишком много внимания уделяют антисемитам и слишком мало — себе самим. В. Чалидзе как-то сформулировал, что до появления семинаров и кружков "евреи не жили, а подпирали стены ОВИРа". Если этот новый образ жизни окажется привлекательным для евреев, их выбор после отъезда тоже не будет случайным. Теперь многие уезжают как бы "назло" советской власти, тогда как следовало бы уезжать не "против", а "для" чего-то.

Р. Нудельман: Тем не менее все эти формы жизни, только что перечисленные, выродились...

А. Воронель: Это не совсем так, я думаю, но пусть лучше скажут люди, прибывшие позднее. Здесь же я хотел бы возразить Кузнецову насчет американского еврейства как главного объекта наших усилий. Мне оно, напротив, не представляется интересным само по себе. Меня куда больше интересует другой объект, через который, кстати, можно воздействовать и на американских евреев: бывшие советские евреи в Америке. К их мнению также

внимательнее прислушиваются и евреи в СССР. Нас они как бы заранее исключают — им кажется, что они заранее знают, что мы думаем и скажем. Я не переоцениваю способности русских евреев в Америке что-либо сделать, но их симпатии и более того — их русская привычка жить в грязи, а тянуться к высокому — нам помогают и еще могут помочь. Даже некоторые из тех, что сбежали из Израиля, теперь, оказывается, только и живут в Америке мыслями о нем...

Если, однако, мы начнем обращаться к этой аудитории на языке религиозных предписаний, как предлагает Нудлер, мы практически закроем пути общения с ними. Чтобы говорить с людьми, нужно не только понимать их интересы, но отчасти их разделять — в противном случае они сразу поймут, что мы даем им пропаганду для детей. Покровительственный тон раздражает. Он раздражает и активиста из России, когда он встречается с израильскими представителями. Учительские нотки моментально выводят из себя, потому что человек, доживший до взрослости в России, не может думать о себе, как о ребенке, который приехал в Израиль для перевоспитания. Даже если он ошибается, он имеет на это право, как любой взрослый, активный член израильского общества. Он имеет право на ошибки, на "неправильную" деятельность, право голосовать за любые крайние группы, право знать о самых крайних, нерациональных, быть может — абсолютно нереалистических течениях мысли, существующих в Израиле.

Мне кажется, что советский еврей высоко ценит именно это право, которого был лишен в СССР и которое составляет привилегию свободного человека. Я думаю, что оно как раз входит в границы свободы в пределах нравственного долга и выбора. (В конце концов, свобода — это право поддержать любую точку зрения и затеять любой, самый фантастический проект. Право пробовать — это святое право, за которое я готов бороться.) Тут было сказано, что с переездом в Израиль общественная деятельность репатрианта фактически заканчивается — ему следует только приспособливаться к существующему обществу. Как теоретическое утверждение это, может быть, годится. Но как политическая точка зрения это абсолютно неприемлемо. Он должен бороться до тех пор, пока сознает свое отличие. Он должен бороться за осуществление *своей* формы.

Сионизм, как он традиционно понимался, как раз и состоял в том, чтобы, собравшись *своей группой*, поселиться в этой пустой

земле и сделать здесь все *по-своему*, без оглядки на правительство — британское ли, израильское ли. Израильское правительство, если хочет, может способствовать сионизму, если нет — может с ним бороться, это его дело, дело же сиониста состоит в том, чтобы осуществлять *свою* идею. В этом состоит свобода вообще и сионизм, как освободительное движение, в частности...

Н. Воронель: Есть вопрос — а в чем она, эта твоя идея?

А. Воронель: Какая "моя"? Я сейчас говорил не о своей идее. Я ни разу не говорил о своей идее, я говорил об идее любого человека. В этом состоит его свобода. И здесь мы касаемся вины — я прямо скажу: вины израильского истеблишмента, который, к сожалению, показал приехавшим из России, что ничего от них не ожидает. Не скажу, что эти активисты боролись. Поскольку они к этому не были готовы (Левин абсолютно прав в своей характеристике), они моментально завияли и начали приспособливаться. Я надеюсь — и в этом будет наш вклад, — что, если нам доведется встретить новую алию, мы встретим ее не так. Мы, возможно, скажем им: друзья, все не так просто, как издали кажется, вы скоро измените свои мнения — но это не будет означать: "Молчи, дурак, не знаешь, как тут дела делаются, а еще нас учить собираешься!"

Э. Кузнецов: То, что ты сказал о приспособлении — как раз следствие тактики активистов в России. Конформность поведения там неизбежно влечет конформность поведения здесь. Если люди там боролись только за отъезд, то, выехав, они полностью решили свою задачу. Их там ничто иное не интересовало, их ничто не интересует и здесь...

А. Воронель: Я согласен. Скажу больше: это следствие нашей, так сказать, "ортодоксальной" сионистской идеологии. То, что я определил как истинный сионизм — это всего лишь сионизм в моем представлении, в представлении ничтожного меньшинства русских сионистов. Подавляющее большинство и в России, и здесь только и думает, боюсь, о том, как бы к кому-нибудь присоседиться. Но как не удалось присоседиться к русскому народу, так не удастся присоседиться и к "народу израильскому". Присоседиться вообще нельзя — можно только войти "на равных". Если Левин формулирует, что Израиль — это часть его, то это совсем не потому, что он — часть Израиля. О нет! Он только потому часть Израиля, что Израиль — часть его. Израиль — часть меня, но именно поэтому я

считаю свою точку зрения, свою линию не менее важной, чем точку зрения всех прочих израильтян.

Наше взаимоотношение с израильским обществом (как органической части с целым), наше поведение, наша борьба за осуществление своей формы, наконец вся вообще израильская жизнь — это непрерывная цепь проблем. В этом трудность, но в этом и наша надежда. Разумеется, никто из нас не думает, что можно отсюда навязать советским евреям какую бы то ни было идеологию: идеологию они будут вырабатывать сами. Но они будут вырабатывать ее в том случае, если мы дадим им достаточно материала и притом — такого материала, который содержал бы вызов для размышления. Так вот — представляя Израиль как *проблему*, мы даем им именно такой материал. Во всех материальных отношениях Америка лучше, но Америка — неинтересна. Никто не может сказать, как Левин, что Америка — их часть и что они — часть Америки: все эмигранты в Америке живут порознь, как чужие, думают только о себе и о том, как им лучше устроиться. Для русского еврея сегодня вопрос состоит в том, как ему распорядиться своей судьбой: поместить ли ее в американский банк на верные проценты или в израильские проблемы — рискованные, зато интересные. И эти раздумья мы должны склонять в свою сторону.

А. Диамант: Я хотел бы напомнить старый фильм де Сика "Генерал делла Ровере" — о том, как попался мелкий жулик и обстоятельства призвали его прикидываться генералом делла Ровере, итальянским патриотом. И он нашел в себе душевные силы, и встал, и пошел на смерть, и попросил: "Не завязывайте глаза — тюрьма смотрит, как будет умирать генерал делла Ровере".

С русской алией произошло в точности наоборот: она начала с духовности, с идеалов, с морали, с генеральских погон, а на поверку оказалась жуликом — шпаной с высшим образованием. Русская алия в Израиле — единственная, которая поставляет уголовников с вузовскими дипломами.

В этом трагизм ситуации, и я не могу примириться, когда начинают вокруг этого вилять. Произошло именно это, и разговор сегодня — не о том, что мы будем посылать в Россию или Америку, какой "материал", разговор о том, *как мы будем жить*. Они ведь именно на этом будут строить свою идеологию, — если у них еще осталась к ней охота. Как ждали труды Жаботинского и других, пока не пришло наше поколение, так должен ждать и наш израильский опыт, пока за ним не придут те, кому он будет важен

и интересен. Если, конечно, и *нам* он важен и интересен, — если мы живем этим, а не играем, не блудим в словах и делах. Я помню Воронеля на аэродроме в Лоде, растерянно говорящего: “А вот теперь начинается самое страшное испытание — испытание свободой”. Было время — мне казалось: и он, и остальные наши лидеры этого испытания не выдержали. И сегодня я радуюсь, когда слышу, что Воронель говорит: какое мне дело до всех до вас, эта земля моя, и я хочу ее строить по образу и подобию своему. Можно ходить с сионистским знаменем, с бело-голубым знаменем, со знаменем Торы — от этого земля еще не становится твоей. Она становится твоей, когда ты ее обжил — и не из милости, у кого-то на кухне, не в “израильском обществе”, которого не существует, не с “израильским народом”, которого еще нет, а сам — своим горбом, своей задницей.

Что делать сегодня? Помогать будущей алии, строя для нее Израиль, создавая для нее рабочие места. Наша трагедия в том, что мы от этого отказались. Для тех, кто приехал в 1973-м, был Тель-Авивский университет, Беэр-Шевский университет, Иерусалимский университет, было куда пристроиться — и они поспешили объявить “сионизмом” свое устройство в Тель-Авивском университете. Когда прибыло сто тысяч, в 1974-м, придумали “стипендии Сохнута”. Когда кончились стипендии, в 1975-м, забегали снова: нужно продлить стипендии. А к 1976-му даже дураку стало ясно: таким путем всех не устроишь, два миллиона из России не заманишь. Но наши представители в Вене все продолжали уговаривать: работа будет. А мы помогали им обманывать — мы сами. Но на обмане далеко не уедешь — и нешира тому доказательство. И если мы сегодня не скажем себе вслух, что единственный выход — это строить Израиль, мы обманем снова. Куда мы денем новых сто тысяч? Ведь мы не построили свой университет в Цфате...

И. Шломович: Короче, надо строить страну и строить так привлекательно, чтобы создать базу для новой алии?

А. Дьямант: Я не сказал “привлекательно”. Сам процесс созидания — вот что может привлечь людей!

И. Шломович: Хорошо, процесс созидания. Мне кажется, что ты упускаешь из виду основное: к кому ты собираешься обратиться с этими зажигательными комсомольскими призывами. И в какой ситуации. Поэтому я хотел бы сказать несколько слов о нынешней ситуации.

За последние годы советская власть добилась того, что действи-

тельно происходит воссоединение семей: примерно 70 процентов выезжающих едут к своим прямым родственникам, не важно — в Израиле или в Соединенных Штатах. Поэтому те, кто едет сегодня в Израиль, вовсе не становятся от этого сионистами, как и те, кто едет в Америку, не становятся искателями “мясных горшков”. Люди едут к своим родственникам. В этом смысле алия кончилась, кончилась та ее волна, которая началась в 1969—1970 годах.

У меня нет сомнения, что начнется вторая волна, потому что условия, которые вызвали первую волну, сохранились. Евреев будут выталкивать из России. Вопрос состоит только в том, куда они двинутся. И здесь, мне кажется, не важно, какие проповеди вы им будете читать и какие зажигательные примеры приводить, ибо это не те люди, которых можно взять проповедями и примерами, и поедут они туда, куда их толкнут обстоятельства. Если мы сумеем создать ситуацию, при которой все они поедут в Израиль — с последующей возможностью уехать отсюда на все четыре стороны, — хорошо. Если нет — 90 процентов из них будут по-прежнему ехать в США. Они едут в США, потому что такова ситуация. Я помню семью из Сыктывкара, которая объясняла, что просто хотела переехать в другой город, надоело жить в Сыктывкаре, но переехать в другой город оказалось намного труднее, чем уехать вообще. И они уехали в Америку!

Пытаться выводить таких людей на демонстрацию, как предлагает Кузнецов, бессмысленно. Они не пойдут, потому что смотрят на себя, как на товар. Товар на демонстрацию не ходит, он ждет подходящего момента, когда за него начнут платить пшеницей. И американское еврейство нельзя поднять на борьбу за этот товар — оно уже насмотрелось на него вблизи. Ведь это же факт, что большинство советских евреев в первый год своей жизни в Соединенных Штатах регулярно посещают синагогу, отдают детей в еврейские школы, а уже через два-три года поворачиваются спиной, бегут, даже переселяются в другие районы, лишь бы не быть евреями. Поэтому я не согласен с пренебрежительным отношением к изучению языка, Торы, к поиску национального самосознания. У меня расхождение с Нудлером в другом: он видит в этом самоцель, а я — инструмент. Если человек благодаря изучению Торы приедет в Израиль — пусть учит Тору. Но если он благодаря изучению Торы едет в Бруклин — я против этого.

Э. Кузнецов: Я предложил бы на обсуждение такую кошмарную ситуацию: завтра мы оказываемся в СССР и надо решать,

что делать, чтобы снова пробить брешь. Я бы рассудил так: основной рычаг, при помощи которого можно приоткрыть ворота, — это США. Задача: привлечь внимание США, а через них остального мира, к эмиграционной проблеме. Для этого нужен некий драматический акт — только он может вызвать всплеск сочувствия, а не проблемы изучения языка. Нужно создать хорошую “волну”, только после этого рядовой еврей становится, как здесь говорили, товаром, который в течение ряда лет покупают-продают. Потом наступает вырождение движения, падает интерес, покупать перестают и нужен новый драматический акт или их серия. Так движется история. Одно уточнение: сильный акт нуждается в правильном выборе момента. Повторяю: именно так движется история. Потом уже начинается все остальное: алия, сидение по углам в ожидании, когда выкупят...

В. Богуславский: Да, рано или поздно, но кончается именно так. Это сейчас и произошло.

Э. Кузнецов: Об этом я и говорю. Но опять надвигается время, когда международная ситуация может оказаться благоприятной. И если этот момент будет пропущен — тогда конец. Все движется волнами, и это следует трезво помнить. Я не имею в виду, что мы должны отсюда призывать советских евреев к драматическим актам, — я говорю о себе: как бы действовал я, окажись я завтра там.

М. Нудлер: Я хотел бы уточнить: с каких позиций мы здесь обсуждаем проблему выезда, — с позиций израильтян или с позиций евреев? Если мы обсуждаем ее с позиций израильтян, то есть людей, для которых общеврейские интересы стоят ниже израильских, то мы можем в какой-то момент прийти к такому положению, когда алия будет противоречить интересам Израиля и нам придется “прикрыть” алию.

Мне эта позиция представляется абсурдной. Логичной и единственно естественной мне представляется позиция еврея. Израиль — это только часть еврейского мира; возможно — ведущая, возможно — составляющая будущее еврейского народа, но *только часть*. И если нас интересует весь еврейский народ, а не только его часть, то мы должны пересмотреть и нашу позицию в отношении неширы. На мой взгляд, мы могли бы способствовать новой алии, если бы громогласно заявили, что каждый еврей имеет право ехать туда, куда он хочет. Этим мы подняли бы престиж Израиля в глазах советских евреев, а поднять его мне представляется необходимым:

у многих советских евреев сложилось — и не без оснований — впечатление, что, переезжая из СССР в Израиль, они меняют один авторитарный режим на другой. И упоминавшееся здесь разочарование американских евреев тоже во многом связано с усилиями израильских организаций, старающихся склонить американское еврейство к отказу в помощи нешире.

А. Воронель: Ну, то, что Израиль хочет заставить евреев из СССР ехать в одном направлении и не может, характеризует наш режим именно, как не авторитарный. Авторитарное правительство заявило бы на весь мир то, что вы предлагаете, а на деле заставило бы евреев поступить по-своему.

И. Шломович: Я признаю, что стою на позициях израильтянина, — но лишь потому, что вижу в Израиле единственную возможность спасения еврейского народа. Я глубоко убежден, что через 50—100 лет нынешние 6 миллионов американских евреев превратятся в 50 тысяч учеников Любавичского ребе, вроде мормонов или квакеров, — остальные ассимилируются. И обойдется без Треблинки.

Что же касается неширы, то здесь я исхожу не из интересов Израиля, а — прежде всего — из интересов самих же советских евреев. По моему убеждению, именно нешира дала возможность советским властям закрыть выезд, а нам связала руки в борьбе за него. Можно бороться за репатриацию евреев — это всем понятно, можно бороться за право эмиграции для всех — это тоже понятно, но нельзя сидеть между двух стульев — бороться за право эмиграции, но почему-то *только для евреев*, — в этом нельзя получить поддержки ни от кого.

3. Левин: Я не вижу никакого противоречия между формулами “быть израильтянином” и “быть евреем”. Быть израильтянином — это наиболее естественный и полный способ быть евреем. Все остальные попытки еврейского существования, вне Израиля, не более чем суррогаты. Даже религиозный путь — всего лишь суррогат, обрекающий принявшего его в конечном счете на национальное (и вместе с тем личное) вырождение.

Тут подняли проблему, что нам делать в Израиле. Когда я приехал в Израиль, я не искал способа пристроиться, приспособиться к новому обществу ценой уступки своих принципов. Я пытался, с одной стороны, понять, чего оно от меня ждет, с другой, — оставаясь верным своим убеждениям, пытался убедить в них и это общество. Частично мне это удалось, хотя и заняло более двух лет.

Удалось не потому, что я изменился и приспособился — я остался тем же, но принципы, о которых мы спорили, были в конце концов восприняты. И так было не только со мной, так боролись и другие — одни больше, другие меньше.

Поэтому приехать в Израиль и жить в нем — не значит приспособиться, отказавшись от чего-то своего, что у тебя есть. Если, конечно, "это" есть и есть достаточно сил, чтобы убедить других. Увы, зачастую выясняется, что "это" не так уж важно для тебя или не так уж верно.

В. Богуславский: Я чувствую, что мы говорим в двух разных планах — с одной стороны, обсуждаем проблему алии, с другой — сионистское движение. А это две разные проблемы. Самое организованное сионистское движение сегодня в Америке — и никакой алии. Советская ситуация конца 60-х годов была ситуацией алии, а не сионистского движения. Была волна людей, внутренне уже готовых бежать из Союза. А уже внутри этой волны началось то, что можно условно назвать сионистским движением. Конечно, оно не тогда началось, оно существовало всегда, но тогда случилось так, что это немногочисленное движение внезапно оказалось во главе огромной массы людей. А наложившиеся на эту ситуацию внешние процессы, те драматические акты, о которых говорил Кузнецов, привлекли к волне и ее лидерам внимание всего мира. Вот это и пробило брешь в стене.

Но вслед за прорывом движение моментально стало иссякать — просто потому, что все, кто годами готовился к выезду, были выкинуты первой волной.

Люди, которые пришли вслед затем и стали, как их здесь называют, "активистами алии" (я когда-то боролся против этого названия, а сейчас понял, что был неправ — то действительно были активисты борьбы за выезд, не более того), сионистского движения не создали. Сионистское движение основано на идеологии, а тут не было идеологии, были фельетоны Жаботинского, было перепевание старых мотивов и ничего больше. Но у этих людей еще оставалась инерция революционной ситуации — выезда в Израиль. Потом уехали и они, инерция иссякла, и теперь мы видим, как ищутся какие-то новые способы "идеологического подогрева", чтобы испытать тот же подъем духа — теперь уже с помощью религии.

Русская алия действительно нуждается сегодня в сионистском подогреве. Русская алия испытала разочарование в Израиле —

после Войны Судного дня, после отступления из Синая. Впрочем, надлом переживает и сам Израиль. Не будь этого, думаю, что достаточное количество рабочих мест можно было бы создать и без халуцианства в пустыне, к которому призывает Диамант. Кстати, их и так больше создано в рамках существующей структуры, чем усилиями Диаманта: на "Бедеке" работают куда больше русских инженеров, чем на Голанах, в Негеве и на территориях...

А. Диамант: Разрешите справку: за десять лет почти 12 тысяч инженеров из России устроились в Израиле и почти столько же израильтян покинули страну.

В. Богуславский: Может быть, они были вытеснены лучшими инженерами? Не знаю, я не располагаю статистикой. Знаю только, что путь, предлагаемый Диамантом, не представляется мне панацеей. Не думаю также, что мы можем отсюда предлагать тактику борьбы в России, быть чем-то вроде задуманной мною когда-то "Организации сионистов России в изгнании". Что мы действительно можем делать — и что, кстати, совпадает с нашей естественной потребностью, — это думать, осмысливать, пытаться создать более понятный в России образ Израиля, который, возможно, станет и какой-то идеологической схемой, но главное — будет наполнять любовью к этой стране, которая возникает у нас независимо от всех идеологий, просто потому, что мы тут живем.

А. Воронель: И возможно, дать образцы интересной, достойной жизни, которой недостает советским евреям и которую им не может предложить Америка?

А. Диамант: Господа, мы опять сидим, как большие вожди, и обсуждаем стратегию войны, которую не мы ведь ведем, а сами советские евреи, изобретаем тактику для армии, которая идет не за нами, снова мучительно размышляем: а чем бы ее еще развлечь, какие еще города ей на разграбление пообещать? Оставьте! Они без нас разберутся. Давайте решать свои моральные проблемы, свое дело делать!

Э. Кузнецов: Я могу в заключение повторить, что игру ведут сейчас не сами советские евреи и не мы, а Москва. И поэтому мы должны следовать примеру, скажем, боксера, который знает, что ему предстоит решающий бой, но не знает когда. Как и он, мы должны быть в постоянной форме.

А. Воронель: Мне тоже кажется, что Россия опять приближается к очередному опасному повороту, к столкновению сторон, и евреи могут оказаться либо солдатами по обе стороны (к чему они

склоняются всегда в России), либо стать жертвами погромов, либо остаться обособленной группой, живущей собственной жизнью, внутри себя, со своими целями и задачами. И наша задача — добиваться этой третьей ситуации.

Р. Нудельман: Я тоже хотел бы сказать в завершение несколько слов. Окажись я снова в России, я, как, видимо, и каждый, занимался бы прежним своим делом — издавал бы журнал, но, пожалуй, другой — и в этом я вижу урок нашей дискуссии для себя. В "Еврейх в СССР" мы слишком много занимались сведением счетов с Россией и историей, абстрактной самоидентификацией и слишком мало — Израилем и нашей жизнью в нем, тем, что я назвал "программой будущих действий". Я по-прежнему убежден, что она насущно необходима. И если, как здесь говорили, ситуация может повториться и появятся новые лидеры, активисты, и пойдут драматические акты, и начнется новая волна алии — все это, боюсь, может оказаться втуне — и в лучшем случае создаст новую неширу, — если не будет реабилитирована сама идея сионизма, которая, на мой взгляд, сегодня в России скомпрометирована. Мы, быть может, убедим человека, что он должен уехать "из", но не убедим его, что он должен ехать "в", ибо он не будет знать, зачем он должен в это "в" ехать, что ему там реализовать. Разрешите мне на этом закончить.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ
АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ. КОНТУРЫ ТАЛМУДА

"Контуры Талмуда" — не только первая на русском языке популярная книга, рассказывающая о возникновении, содержании и особенностях Талмуда — этого станового хребта всей еврейской культуры. Личность автора, крупнейшего израильского религиозного философа-экзистенциалиста, наложила на эту книгу неповторимый отпечаток, превратив ее в рассказ об особенностях еврейского отношения к человеку и к миру, обусловивших исключительность еврейской судьбы.

Цена книги — по заказу — 120 шекелей (за рубежом — 12 долларов).
Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem",
P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

Жил человек в Гомеле, потолки белил. Пил сравнительно умеренно. Бабу себе откопал путевую, на зиму капусту шинковал, потомство развел кое-какое, никого за это не осуждал, страдал запорами, с друзьями отличался терпеливостью, собрался было совсем уже куда-нибудь вступить, но не успел: выехал.

Выгрузился на Средиземном море. С иностранной страной примирился на том, что хотя — туземцы, ни хрена не понимают, но нашего брата боятся, и правильно.

Вышел человек из Гомеля как-то в город Рим, бабу по жаре выгулять, и камни, говорят, надо осмотреть. Но оказались какие не оштукатурены, а с каких побелка совершенно обколупалась. Затосковал гомельский человек от такого безобразия и с горя к одному американскому консулу подался — душу отвести. А консул его и спроси: "Слушай, друг, ты чего из России-то поперся?" Тут человек из Гомеля совсем задумался: "А и в самом деле, чего это я?" Баба видит такое дело, сразу в рев, потому — дура. Да хорошо — захватил тогда с собой человек из Гомеля мальчонку своего, пяти годов, по фамилии Аграноник. Аграноник и выручил — открыл консулу глаза на причину и следствие третьей

Юрий М. Меклер

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК В ГОМЕЛЕ...

советской эмиграции. Он с ходу задвинул консулу основополагающий тезис — о перерастании СССР в государство всеобщего царства на базе такого повсеместного аспекта российской жизни, как — *общение*.

“Вот, к слову, — объяснил Аграноник, — пришел ты, папаша, — куда не важно, а дождь с утра, поэтому ты в прикиде на вате и, понятно, от лохмотьев своих желаешь отдохнуть, но — не можешь: на вешалку не берут. На вашей хламиде, говорят, мало того, что ее в руки взять противно — так и петельки нет, за которую вешать. Ты как в этом случае, папаша? Лично у нас народ балдеет. Ему сразу хорошеет, потому что попадание в самую родную фибру души, да и тема больно животрепещущая. Начинаешь вычислять степень общения: если у вешалки у них такая гидра революции на цепь посажена, то кто ж наверху (куда, чувствуешь, все равно придется прорываться в бушлате и под знаменем, благо Октябрь на нашем дворе вот уж шестьдесят лет подряд круглый год стоит)? Но как в гражданку, так и в разгул социализма для прорыва надо иметь повод. Решаешь: принять бой, не отходя от кассы. Говоришь: “А чего это, я вас, что, на мудье ваше мой клифт вешать заставляю? Не нравится — на пол киньте, только чтобы потом с туалетной тряпкой не перепутать”. Отвечают сразу — общением в лоб, поскольку раздевальники-инвалиды всегда у нас на Отечественной войне сознанием подзадерживаются и мирное сосуществование систем на них не влияет. Теперь, схлопотавши по рогам, имеешь полное моральное право продвигаться кверху.

На первом марше попадаешь в засаду к двум швабрам — штаты уборщиц у нас везде укомплектованы полностью. Хребет — учти, консул, — мы имеем из костей, швабры об него легко ломаются. А присутственные места наши российские мало изменились за тысячелетнюю историю великого государства — основной накладываемой там резолюцией является салтыковское: “Пошел!..” В милиционерах, шастающих к секретаршам при исполнении, тоже недостатка нет. Итого: за мордобой с инвалидом войны — пятнадцать суток; за швабры как имущество народнохозяйственного значения — пятнадцать суток; за мат в общественном месте — пятнадцать суток; за отвлечение лягавого — трульник. Далее: за легкомысленное выступление на суде — полгода строгача; за групповуху в зоне и разговорчики в строю — статья девяносто первая. Глядишь, десять лет спустя диссидент вышел. А все по-

чему? С утра тогда дождь шел — стихия. Но — не только. Слышь, чего говорю-то, консул? Не только.

Должны мы еще поиметь в виду, что помимо специфического российского климата имеет влияние на социальную жизнь трудящихся также уникальный — потому что ни с чем в мире не сравнимый — сволочизм в народных отношениях. Он-то и есть основа всеобщего царства. Партаппарат, КГБ, религиозное возрождение да игрища националистов — это все блажь и сопли. Реальная власть в стране принадлежит народу. Нынче под категорию власть имущих нежданно-негаданно попали самые широкие слои общественности. Государство, якобы вусмерть централизованное, на самом деле разбилось на бесчисленный ряд удельных княжеств, и в каждом одна и та же пирамида: владыка — опричнина — смерды. Причем, как водится, чем мельче удел, тем больше в нем дичи, потому что — глуше. Какой-нибудь Косыгин лично тащится в тьмутаракань угovarивать директора замшелого предприятияшки выпустить полагающуюся по плану продукцию, однако техник-копировщик заводского КБ обиделся на местком (пожалели человеку трехрублевую путевку в однодневный дом отдыха) — и Косыгин может скрестись в проходной хоть вечность: завод будет непреклонен.

Власть поступила в разлив. Некогда властевое место стоило ума, денег, стоило мессы, наконец. Нынче довольно протянутой руки: бери — не хочу. Власть висит в воздухе топором; власть в пыточной или в гардеробе — по желанию трудящихся. И трудящиеся реализуют взятую ими власть на полную катушку. "Всеобщее царство" — это когда у народа есть желание из любого казенного места организовать место лобное для всех, кто в нем нуждается, и в то же время нуждаться в нем без перерыва на обед, любовь и проезд в общественном транспорте.

В результате — все при деле: половина страны — деспоты и тираны, другая половина — рабы и крепостные. Видимо, это предел того, что имел в виду Владимир Ильич промежду своих бессмертных строк об электрификации".

В этом месте агранониковской лекции американский консул вышел носки сменить, а заодно принять укол кальция с новокаином. Получасом раньше причина советской эмиграции представлялась консулу естественной, как тараканы в Бруклине: из России едут, потому что Америка — очень клевая страна, вот и лезут, и лезут. По Агранонику же выходило, что собака зарыта

в российском сдвинутом представлении касательно общения человека с человеком. В то время как на Западе такое общение ничего не значит, в России видят в нем — *отношения*.

“Ты, папаша, прав, — подтвердил Аграноник, когда консул вернулся. — Жизнь наша утомительна, потому что всегда на людях. Из кожи мы вон лезем принять страдание от другого. А другой — он рыбку издали видит. К примеру, с итальянцем, немцем, даже с французом можно смело на улице заговорить — и ничего. Но стоит тебе (особенно за рубежом) спросить безделицу у русского нашего человечка, как он тут же выльет в пустяшном ответе ушат своего к тебе зрелого, сложившегося отношения, отчего шарахаешься в получасовую сверлящую мысль и соображаешь наконец: нет, не случайно он, пидор, сказал так с говнецей, дескать — “прямо и направо”, или эдак — “четверть шестого щас”, ох, не случайно! Видно, и ты его (себя ж со стороны плохо видеть) спросил как-то не так: “Виноват, где тут клозет и который час, кстати?” Ну, при чем тут время у клозета и, главное, это “кстати” — ну, зачем оно здесь, что обозначает? Конечно, обидел человека.

Из России вынесли мы самое что ни на есть российское: отношенчество. В простоте слова не скажем, ровный тон нам претит, нам непременно необходимо поставить собеседника в известность обо всем, что мы по недопою думаем насчет его стояния тут перед нами на земле, о его достойной упоминания мамаше и сопряженных темах. Впрочем, нельзя сказать, что и самим нам от себя бывало б часто весело. Который человек завел в чужих гнусное хотенье во всем дойти до самой сути, тот в случае эмиграции (эмиграция к этому делу очень располагает) перво-наперво решает напрочь избавиться от привычки отношениить и так ставит судьбу, чтобы ни на йоту не давать послабления внутренней своей российскости. Такой человек окрестному эмигрантскому отродью цедит сквозь зубы и от всех требует выть да подать ему отдельный необитаемый остров, чтобы в корне исчерпать возможность рецидива быть собой.

Как правило, эмигрант наш достигает необитаемого острова вполне. Будучи спекулянтской мордой или зубным техником, он сидит себе в Германии, как в одиночке карцера ШИЗО, только и разницы, что денег больше, а колючую проволоку он вокруг себя наматывает сам — в три ряда. А ежели он стебанутый или спец по антикоммунизму, тогда он в Америке замуровывается в шмотки, как в кремлевскую стенку, и выгребает только что в банк — и то на тачке. О Франции умолчим — там и сами-то французы рассорти-

рованы каждый по своему астероиду. Вот только в Израиле с необитаемым островом сложнее: евреи, бля, евреи, с ними не больно понеобитаешься. Впрочем, туда за этим особо и не едут.

Но что парадоксально (великая мы все-таки нация, россияне!) — пострадавши по отношенческой части и вырвавшись из всеобщего царства в необитаемость, начинаем мы — скучать. Все нам мерещится, что чего-то в нас потерялось там, чего-то нам недодали здесь. И трудно нам сообразить (потому как мы мир больше чувством берем, печенкой), что там мы потеряли, а здесь нам недодали одно и то же: государство. Ведь нам чего хочется? — чтобы и необитаемый островок в наличии, и с государством как-либо соотнестись — на предмет общения. В одном прав был борода: человек — тварь сугубо стадная, член без общества по стенкам ползает. И хоть у члена этого по старой памяти от авторитарности очко играет, но и со свободой он, в духе веянья времен, тоже мириться не намерен. Он и рыбку хочет съесть, и на это самое сесть. Его личность без государства уже не может — и с ним тоже не очень; ей вынь и подай глобальную сепаратность души, чтоб вся калькуляция валялась по отдельности: так слегка под дубом — личность, а малость правее во ржи — государство распластами...

То есть, папаша, выпали мы отовсюду, откуда возможно, уже в себя не впасть: лица в зеркале души не наблюдается, сползло куда-то лицо, и с концами. И вот последнего этого над нами надругательства — обезлички этой — мы государству простить не можем ни за что. И назло, чтоб не думало, что мы в нем нуждаемся, уходим мы в личностный прорыв и в бега. А приходим мы к тому, что Бог-то — воскрес. Его тут, мы слышали, хоронили разные оторванные от действительности адорно и хуйзинги, а он уж давно воскрес в семнадцатом году, и очень просто. Посмотрел он оттуда, как все у нас кардинально пошло вперекосьяк, и понял, что ничего ему другого не остается — только самому за людишек взяться. Кто с дерьмом возился, тот знает: тут главное — ворошить, иначе застынет. А лучшая палка для ворошения человечества — государство, это ежу понятно. Государство, папаша, — это и есть воскресший наш Спаситель. А мы — образ и подобие Его: сами себе и власть, сами себе и рабство, в каковых функциях, впрочем, нет принципиальной разницы. Ибо одержимая властвованием власть сама завсегда замкнута в жесточайшее подчиненье законам собственной давилки, а также ею же созданного рабства, а рабство —

оно без перерыва требует от власти все более сильных выражений надругательства над собою — иначе оно себя личностью не ощущает, а власть — властью. Государство же наше — образ и подобие наше, потому как нас хлебом не корми — дай покуражиться над ближним; вот государство всем нам и натягивает козью морду, которую мы друг на дружке нынче подробно наблюдаем.

Так что добро сегодня — это всем сердчишком принять государство и в его ежовых рукавицах обрести если не свободу, то реальность нашего существования. (Иные говорят, правда, что только в ежовых рукавицах свобода и водится: в тюрьме, мол, духу не душно, а на всяких гегелей ему там проще класть; но мы по простоте душевной в схоластику эту вдаваться не будем.) Ненавидеть государство просто. Простить и понять куда сложнее. Но и это грядет. Идет пора поэтов рабства и певцов империи. Надеются некоторые: не все, мол, поголовно человечество околеет, и прах какой ни на есть душонки тленья все равно убежит; но ведь он же, прах этот, за что тогда примется? Опять за старое: националистические слюни пускать, профсоюзные шарики катать, диссидентские пузыри выдувать. И опять будет личность с безумными враными грезами носиться, бабы — феминистничать через силу, а государство — в поддавки с ними играй? Нет, господа, ложь тем неудобна, что в ней жить утомительно — с правдой куда проще. Так не мы ли, с нашей проповедью рабской любви к авторитарности, — истинные гуманисты, пекущиеся о реальном счастье человеческого вида? Уйти в рабство, как в то единственное, что извиняет нашу человеческую противоестественность всему сущему, что вводит нас сызнова в исконный природный круг, с которого мы по всем параметрам как-то соскочили.

Ведь взять хоть благородное рабство космоса перед вселенскими законами, упорядоченность его самоподчиненья — ну, идет ли это хоть в какое сравнение с теми ошметками рабства, что нам на долю достались?! Но даже и это наше рабство (хоть и самого низкого пошиба — лучшего не заслужили!) одной своей похожестью на природность несоизмеримо предпочтительнее того, что несет в себе так называемая свобода — явление, категорически выпадающее за рамки бытия, вздор вне осознания, истинное ничто!..

Такова, папаша, — заключил малолетний Аграноник, — нынешняя наша российская диалектика бытия. Для Запада мы все — русские вне зависимости от генетики, и все — красные, каких бы политических убеждений ни придерживались. Все нами недовольны, все с нами обманулись. Немцы ждали увидеть братьев Поволжья,

а получили сибирских медведей, жаждущих остаток жизни прожить на пособие по безработице; американские евреи своих братьев по галуту брать на содержание уже отказываются, вываливают их от себя подале, в нью-йоркской клоаке; во Франции тоже с удовольствием выстроили бы резервацию для русско-писучей публики, чтоб не компрометировала чужой социализм.

Вот мы и замкнуты. Третья советская эмиграция на излете. Кого из России желали продать — все проданы, что можно было на Западе купить — куплено. Одни мы. Однако одиночество, как выяснилось, не страшно — даже стимулирует. Греет нас сознание, что опять мы впереди их, как в незабвенном семнадцатом, и чище кого другого чуем мир. В нас первых, верим, материализовался тот новый, тот древний и хорошо забытый образ прекрасного рабства, к которому, цепляясь зубами за отсрочки, подпирается человечество. А мы не цепляемся. За то нам первым поднесут старую свирель, и мы сыграем на ней песню заката...”.

Желающих выступить в защиту американского консула в Риме, стойко подвергающегося в госпитале визитам семьи Аграноников, просят присылать советы и пожертвования по адресу: Юрий М. Меклер; журналист, режиссер; родился в Ленинграде в 1949 году; эмигрировал в 1978 году; правая сторона мира.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО “МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”

**ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ
ГИЛЕЛЬ ГАЛКИН. ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ**

Когда эта книга была опубликована несколько лет назад на английском языке, целые группы американских евреев специально приезжали к автору, чтобы оспорить его или выразить благодарность. Журнал “Мидстрим” назвал “Письма” важнейшей еврейской книгой последнего десятилетия”. Израильские газеты посвятили ей огромные полосы. Этот страстный, откровенный, полемичный разговор-раздумье о самых острых проблемах Израиля и диаспоры никого не оставляет равнодушным и каждому дает пищу для размышлений.

**Цена книги — по заказу — 92 шекеля (за рубежом — 9 долларов).
Чеки и заказы принимаются по адресу: “Foundation Moscow—Jerusalem”,
P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.**

“Современный Запад ничему научить нас не может, потому что его настоящее и даже будущее — это наше прошлое”.

Б. Парамонов (“Континент”, 29)

Борис Парамонов начинает там, где Юрий Меклер заканчивает. Оба сходятся в том, что Россия опередила Запад. Только по Парамонову она опередила его на пути освобождения от коммунистического рабства, а по Меклеру, напротив, — на пути полного подчинения коммунистической идеологии и морали. В рамках *своей* аргументации каждый из оппонентов *по-своему* прав — именно потому эти споры так бесконечны и неплодотворны. Нужно найти третью точку отсчета, находящуюся *вне* этого порочного круга, если мы хотим приблизиться к пониманию сегодняшней России и ее будущего.

Такую точку отсчета предлагает нам социология. В последние годы она рьяно взялась за изучение того подотряда советских людей, который совокупно именуется “третьей эмиграцией”. Попытку такого социологического анализа представляют собой уже многие статьи, опубликованные в эмигрантской печати — от “Тоски по палке” Амрама до недавней “Авторитарной личности” Шрагина. Все они приходят к выводу, что советский

Михаил Вартбург

**СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
РАНДЕВУ**

эмигрант представляет собой особый — авторитарный — тип личности. Жажда командовать и указывать причудливо сочетается в нем с потребностью в команде и указании. Тоска по свободе — с тоской по государственной палке. Или, как говорит Меклер: “Чтобы тут тебе личность под дубом, а в стороне — чтоб государство распластами”.

Однако анализы эти — все же доморощенные, основанные лишь на житейских наблюдениях. Поэтому они оставляют место сомнениям: насколько типичен этот “тип” личности? как связана авторитарность с другими этой личности особенностями? каков путь формирования подобного типа личности?

Вопросов, в действительности, даже значительно больше. И они вовсе не безобидно академические. Некоторые напрямую связаны с такими практическими проблемами, как, скажем, глобальные перспективы эмиграции или житейские перспективы самих эмигрантов. Другие — с завтрашним днем России, а стало быть (если верить Парамонову) и всего человечества.

Года два назад, в Штатах, мне довелось услышать доклад американского социолога профессора Гительмана. Очень уважаемый социолог, специалист по еврейской эмиграции. Профессор проделал изрядную работу, опросив несколько сот эмигрантов о причинах их выезда из России. Почти все они указали, что эмигрировали в поисках свободы и по причине антисемитизма. Проанализировав ответы, профессор пришел к выводу, что советские люди в массе заражены неистребимым свободолюбием.

Весьма оптимистичный вывод. Но почему-то вызывает неудержимое желание копнуть глубже — слишком уж явно он не согласуется с “доморощенными” выводами наших эмигрантских наблюдателей, которые, что ни говори, своего брата-эмигранта знают лучше, чем американский профессор.

Недавно мне довелось прочесть довольно объемистую работу, которая, кажется, очень убедительно дополняет и исправляет выводы профессора Гительмана, а заодно и многих других американских социологов. Прделана она тоже в Америке, тоже на еврейских эмигрантах, израильтянином (когда-то жившим в России) *Ильей Левковым*. Читается эта монография как захватывающий детективный роман. Дело в том, что Левков не стал довольствоваться прямыми вопросами типа: “Почему вы уехали из России?” Разбросанные там и сям, в его анкете (состоящей из 216 пунктов!) упрятаны на первый взгляд “невинные” вопросы, вроде бы не

имеющие прямого отношения к причине выезда, а на самом деле — позволяющие сопоставить разные ответы и вычлнить: что человек хочет *изобразить* и что он *на самом деле* чувствует? Кем он притворяется и кем он является? Что он декларирует и во что в действительности верит? Следить за тем, как Левков распутывает паутину бессознательных и сознательных уверток, оговорок, противоречий и извлекает из нее *факты*, складывающиеся в картину личности эмигранта, — все равно, повторяю, что читать роман Агаты Кристи. Подследственный хитрит, петляет, перечисляет алиби, но неутомимый следователь забрасывает его все новыми и новыми вопросами, и вот наступает “момент истины”: эмигрант изобличен, приперт к стене, вычислен и назван.

Левков выбрал 500 семейств, разбросанных по 52 городам Соединенных Штатов (чтобы получить представление о жизни не только в центре, но и в “глубинке”, куда социологи обычно не добираются). Ответов он получил 130. Половина его ответчиков — люди работающие, четверть — пенсионеры. Свыше 90 процентов довольны своей новой жизнью, утверждают, что у них хорошее настроение, и желают своим родичам и близким поскорее выехать тоже — и конечно в Штаты!

Первый накрывающий залп: “Как вы жили в России?” Оказывается, жили совсем неплохо. Зарботок у большинства был выше среднего, квартиры хорошие, просторные (кое у кого — даже дачи), многие говорят, что имели машины. Короче, им было, что терять, — что ж их потянуло эмигрировать?

Почти 90 процентов заявляют, что “хотели жить в свободной стране”. Почти столько же говорят, что страдали от антисемитизма. К этому скромно добавляют и другие причины: почти половина признается, что “хотели улучшить материально-бытовые условия” или “свободно путешествовать”. Любопытная деталь: лишь одна пятая опрошенных вспоминает, что “хотели воссоединиться с родственниками” (хотя родственники в Штатах есть у доброй половины!) и столько же — что “хотели дать образование детям”. Всего 5 процентов признаются, что “хотели сделать профессиональную карьеру”. Но половина, повторяю, о карьере и быте стыдливо умалчивает: свобода и антисемитизм в качестве причин выглядят, с их точки зрения, как-то “благороднее”, что ли.

В этом месте исследователь сделал свой первый хитрый “ход”. Он разбил опрашиваемых по “городам исхода”. И ему понятно: если кто и бежал от антисемитизма, то это скорей всего — укра-

инские, скажем, евреи. А насчет свободы, надо думать, москвичи или рижанин знают больше, чем житель Ташкента.

А как на деле? Увы, поверить анкете, так евреи Одессы и Харькова страдали от антисемитизма куда меньше, чем евреи Ташкента, зато ташкентцы по свободе тосковали несравненно больше, чем москвичи! А когда их всех спросили, почему они выбрали Штаты, а не, скажем, Израиль, все наперебой стали заверять, что: а) потому что хотят жить в свободной стране и б) потому что хотят жить как евреи!

Как будто Израиль не свободная страна и в Израиле нельзя жить как еврею...

В этом месте Левков осторожно — как и подобает беспристрастному исследователю — замечает, что ответы “дают лишь смутное представление об истинных причинах эмиграции и ее направления”. Если же выражаться не по-научному, то следует сказать, что подследственные явно напускают туману. Что-то тут не так! Пойдемка дальше по следу! Посмотрим, как наши соотечественники воспользовались полученной свободой и возможностью жить “еврейской жизнью”? Что они там поделывают в Соединенных Штатах, где работают, как развлекаются, куда ездят (помните — “возможность свободно путешествовать?”), что читают, чем увлекаются?

Большинство нашли работу по профессии, четверти (опрошенных) пришлось сменить профессию. Зарабатывают прилично, выше среднего (и уж конечно больше, чем в России). Но меньше других американцев *своей профессии*. Иными словами, с верхушки среднего класса (в России) спустились на верхушку класса нижнего. Поэтому считают, что их профессиональный статус упал. Одна из причин этого — незнание языка. Большинство изучало язык всего три месяца, знает его плохо, даже газет не читает (хотя, заметим, средний срок пребывания в Штатах — два с половиной года). В своих языковых и профессиональных проблемах почти все винят учреждения абсорбции. Особенно рьяные обвинители — бывшие администраторы, организаторы, контролеры производства, которые в Штатах, увы, не нашли работу “по специальности”. Органы абсорбции виноваты, конечно...

Зато материальный уровень их жизни возрос, — с этим все согласны. Половина из них купила машину (кое-кто — даже две); две трети — цветные телевизоры; одна треть — стереоустановки; половина — мебель.

После всего этого становится как-то понятнее, почему они до-

вольны “свободой” и что заставляет их желать своим близким поскорей эмигрировать тоже.

Проследим теперь детальней за их вживанием в новую жизнь. Вот они прибыли в Вену, вышли, огляделись. Наконец-то на свободе! Что же их поразило в этой свободе больше всего? Я даже как-то не решаюсь приводить их ответы. Ну, да ладно — мы ведь среди своих, не так ли? Значит, так: изобилие товаров потрясло в семь раз больше (!) людей, чем наличие пресловутой свободы. На следующем месте (после товаров) — “красота и чистота”. Потом — “культура” (?) Потом — “вежливость”. И нашелся один — один! — чужак из Ташкента, который упорно твердил, что его больше всего поразила “большая синагога”. Дорвался до “еврейской жизни”, пенсионер ташкентский!

Из Вены они проследовали в Рим. В итальянскую столицу прибыли уже люди бывалые, Запад посмотревшие, к свободе приценившиеся. Чтобы уже покончить со свободой: в Риме тоже лишь 6 процентов называют ее на первом месте среди поразивших их вещей. Зато почти 90 процентов говорят, что в восторге от “архитектуры и памятников”. А как советскому человеку не восторгаться — ведь в школе учили: Рим — вечный город, Рим — великий город, Ромул и Рем... или нет — Ромул и Ром? — в общем одно слово — Рим!

“Удивительна однородность ответов”, — с той же ученой сдержанностью замечает Левков. Иными словами, ответы запрограммированы предыдущим воспитанием, они опять отражают не спонтанные чувства, а то, что “положено чувствовать”.

Но вот наконец эмигранты прибыли в Штаты, в обетованную страну молока и гамбургеров. И уже прожили там два с половиной (в среднем) года. Что им нравится больше всего на их новой родине?

Теперь ответы пестрее — Америка более непривычна. В целом все же на первом месте — изобилие, как в Вене; на втором — “свобода”, на третьем — люди, на четвертом — красота. Что ж — все-таки свобода свое взяла? Не будем торопиться, проверим сначала: а эти ответы — сознательные или тоже запрограммированные?

Прежде всего — понимают ли они новую жизнь, знают ли о ней? В России, оказывается, почти половина вообще ничего об Америке не читала. Остальные гордо говорят: “Читали, а как же, — Драйзера вот, “Сестру Керри”, “Американскую трагедию”, Ильфа

и Петрова “Одноэтажную Америку”...” Надежные источники! Понятно, почему один из новоприбывших искренне удивляется: как, и негры говорят по-английски? В Риме они об Америке тоже не читали — больше об Израиле: журнал “Израиль сегодня”, книги “Библиотеки Алия”, короче — чем Сохнут богат. С этим багажом прибыли на новое место. Устроились, осели. Подавляющее большинство опрошенных так и не поменяло больше выбранное место жительства. Подавляющее большинство ни в какие путешествия не поехало, разве что на машине в близлежащую Канаду или за город, на пикник, в уик-энд. Еще ездят в Израиль: половина из тех, что вообще ездит, там побывала, и три четверти остальных хотят побывать. Тянет все-таки “на место преступления”, что ли? Или тут другая причина? Вот и читают они (даже в Штатах) тоже больше об Израиле. Но что читают? Как правило, всякое “героическое”: “Операция Энтеббе”, “Шестидневная война”. Явно хочется им отождествиться с могучими, бесстрашными “израильскими богатырями” — правда, с безопасного расстояния. Гордо заявляют: “Хотим знать еврейскую историю, приобрести хотим!” Помните: две трети говорили, что эмигрируют, чтобы “быть евреями”?! Спрашивает их Левков: “Назовите выдающихся еврейских деятелей”. Называют — Бен-Гурион, Голда Меир. Из современных — Бегин. “Сильные личности”. Ну, а еще? Неуверенное молчание, потом: Авраам Линкольн... Джордж Вашингтон... Джексон... Никсон. Ну, Линкольн еще понятно — все-таки Авраам (его назвали вдвое больше опрошенных, чем Трумпельдора), но почему Никсон?! Дотошный Левков однако не успокаивается. Он спрашивает этих отчаянных забияк, читающих в основном “за героические подвиги израильтян”: “Почему же вы не поехали в Израиль?” “Да вы что, там же война!” — в недоумении от его простодушия восклицает большинство опрошенных. “И никогда не кончится”, — убежденно добавляет еще одна треть.

Ну, ладно, никто не обязан быть героем, если куда безопасней можно быть “свободным” и “евреем” в Штатах. Но как же все-таки насчет этой пресловутой “свободы”? Пользуются, наслаждаются?

Две трети опрошенных эмигрантов все свое свободное время отдают телевизору. Смотрят в основном конкурсы (приятно видеть, как американские семьи выигрывают большой куш и визжат при этом, точно обезьяны). Еще смотрят бесконечные “серии” — “Даллас” конечно, “Все в семье” и прочую чепуху.

В театр почти никто не ходит. Может, мешает незнание языка? Но и в музей почти никто не ходит. Может, хоть читают? Более 50 процентов опрошенных читают лишь время от времени, подавляющее большинство — только по-русски. Что читают? Об Израиле уже говорилось; затем — о советском прошлом: Солженицын, Аллилуева, то есть о собственном прошлом, чтобы уяснить его самим себе; потом — немного — о США (в основном стандартное издание “Истории Соединенных Штатов” и всякие руководства по составлению налоговых деклараций и получению льгот).

Детей отдают в еврейские школы, — прежде всего потому, что эти школы считаются получше, негров в них нет и плата поменьше; в синагогу ходят только по праздникам; с американскими евреями не водятся (“они нас не понимают”, “они скупы”, “они наивны”); социализированы предельно мало; общаются главным образом со “своими”. Кстати, еврейский музей тоже не посещают. Короче; “еврейской жизнью” жить не торопятся. А американской? Большинство поклонников телеконкурсов и “Далласа” цедит свысока: “Низкий культурный уровень...” Своей культурной жизнью в Америке они недовольны: то ли дело было в Союзе!

Мы приближаемся к самой сердцевине этой совокупной эмигрантской личности — к ее взгляду на мир. Уже вырисовываются определенные ее черты: склонность приукрасить себя и свысока судить о других; склонность скрывать реальные (кстати, по-человечески вполне понятные) мотивы своего поведения и выдвигать вперед “благородные”*, равнодушие к культуре (в том числе — еврейской) при одновременных натужных претензиях на “культурное превосходство”. Но вот самый интересный круг вопросов: что вы больше всего цените в новообретенной “свободе”? Предлагается выбрать из шести ответов — свобода слова, свобода передвижения, свобода религии, свобода союзов и собраний, свобода от “прописки” и — политический плюрализм.

Две трети отвечающих называют свободу слова и свободу передвижения. Всего треть указывает на свободу объединяться в союзы и на плюрализм. “Не говорит ли последнее о присутствии автори-

* По-человечески можно понять: все-таки поехали не в Израиль (остается чувство неловкости, нужно оправдываться); все-таки нуждаются в помощи американских евреев (приходится говорить о свободе и советском антисемитизме). Но в анкетах-то — к чему эти претензии? Говорили бы честно — никто бы не осудил!

тарных черт в их сознании?” — спрашивает Левков. Еще он замечает: “Странное предпочтение! Казалось бы, людям, прожившим в жесткой паспортной системе Советского Союза, свобода от “прописки” должна показаться куда более важной, чем довольно-таки абстрактная свобода слова”. (Тут он, впрочем, не вполне прав: *отсутствие* “прописки” труднее ощутить, чем *наличие* свободы говорить и ездить.)

Все же в целом ответы показывают, что бывшие советские люди не очень разбираются в сути свободы или не очень умеют пользоваться ею. В американской демократии их больше всего поражает то, что лежит на поверхности. *Механизм* демократии: возможность самоорганизации граждан в группы для защиты своих интересов — им не видим, непонятен и чужд. Свобода объединяться по профессиональному, социальному, политическому или религиозному признаку им представляется менее существенной, чем чисто внешняя свобода говорить, что угодно, и ездить, куда хочется (которой они, впрочем, как мы уже видели, на практике тоже не пользуются).

Далее Левков выясняет у своих подопытных: каковы, по их мнению, главные причины высокой преступности в Штатах (преступность они называют в числе основных отрицательных особенностей американского общества)? Ответов всего три типа: общество *слишком* терпимо; суды *слишком* снисходительны; полиция *слишком* мягка. Все три сопровождаются безапелляционным утверждением, что главный источник преступлений — “черные”. Может, они начитались этого в своих эмигрантских газетах? — сомневается Левков и задает следующий вопрос: считаете ли вы правильным ввести смертную казнь? На сей раз бывшие советские люди единодушны: 81 процент требуют смертной казни за изнасилование и 100 процентов — за убийство. Половина готова осудить на смерть грабителя, покусившегося на частную (“их”) собственность и только 39 процентов — за ограбление банка (банк все-таки чужой!). Иными словами, бывшие советские люди действительно уверены, что суровыми мерами (им самим хорошо по опыту прежней жизни знакомыми) можно пресечь всякое зло. Исследователь меланхолически заключает: “Можно с уверенностью сказать, что советский опыт доминирует в их сознании. И это было бы вполне логично, — если бы не тот странный факт, что сами они хотят от того же советского опыта убежать. Это несоответствие лежит в основе многих противоречивых взглядов, которых придержива-

ются советские евреи". Тут Левкову можно возразить: да, хотят — но не могут! Если бы хотением все решалось...

Еще одна серия вопросов: как вы оцениваете американскую систему свободного предпринимательства? В чем она идет вам на пользу? Ответы хоть и разнообразны, но одинаково поверхностны. Один инженер заявляет: "Легче жить". Другой пишет: "Не знаю, но это хорошо". Третий вообще уносится в высокие сферы: "Эта система позволяет мне считать себя гражданином страны, в которой хорошая конституция". Большинство, не мудрствуя лукаво, отмечает, что свободное предпринимательство хорошо потому, что товаров много и цены низкие. Тогда исследователь копает глубже: думаете ли вы, что система пособий по безработице способствует свободному предпринимательству? Подавляющее большинство по этому поводу вообще ничего не думает, из тех же, кто уверенно берется отвечать, три четверти убеждены, что пособия — это хорошо. Ну, а противоречит ли это системе свободного предпринимательства? — пробует Левков иначе. Нет, — радостно восклицает почти половина опрошенных, — не противоречит! — А абсорбироваться она вам помогает? — Помогает! — восторженно заявляют две трети.

Ну, что тут скажешь? Политический механизм свободы советским людям непонятен, экономический — неизвестен; к какой же свободе они так стремятся? И зачем?

Но в том-то и дело, что советский человек, еще сидючи в Москве (где времени для размышлений вдоволь), не думает, а *верит*. Верит, что на Западе ему будет хорошо, потому что в России — плохо. Он, советский человек, следует догмам, а не своему разуму. Он охотно и с готовностью подчиняется стереотипам, но мучительно сопротивляется, когда нужно что-либо понять самому и пересмотреть свои запрограммированные убеждения.

Яркий тому пример — его политические симпатии. В общем, эмигранты из России, оказывается, предпочитают республиканскую партию (она, по их мнению, более консервативна, "реалистична", "моральна" и так далее). Казалось бы, они должны были хотеть видеть президентом Рейгана, но — опять парадокс? — большинство предсказывало победу... Картеру! Левков объясняет это так: для советского эмигранта типична политическая пассивность, подчинение уже существующей власти, убежденность в ее незыблемости. Вполне правдоподобная догадка.

Остается сказать о знакомых чертах: большинство считает, что

их выпустили из СССР благодаря "политической игре и торговле Востока и Запада", и не придают особого значения борьбе еврейских активистов в СССР и на Западе за свободу эмиграции; в то же время такое же большинство — в полном противоречии со своей верой во всемогущество "политических игр и торговли" — считает, что с Советским Союзом нечего идти на компромисс и выступать против него нужно с "позиции силы" (ох, уж эта наша вера в силу!); большинство считает американскую политику в отношении СССР "неправильной", а самих американцев и их государственных деятелей — "наивными" и "ничего в советских делах не понимающими"; но это же большинство, спрошенное, как оно понимает цели советской политики, упоенно и безапелляционно несет самую дикую и многообразную ахинею: "мировая революция", "анархия", "агрессия", "империализм". Необычайно ценный вклад в понимание России! Разумеется, все это сопровождается жалобами, что американцы не хотят слушать "людей, знающих правду".

В заключение своего социологического рандеву с советским человеком Левков попытался охарактеризовать собеседника, так сказать, суммарно. Он составил что-то вроде типовой социологической анкеты советского человека, в данном случае — советского еврея. Культура у него — европейская; наследие — русско-советское; этнос — еврейский; религия — никакой; политически — на этой стадии эмиграции — он тяготеет к Израилю, но в технико-бытовых устремлениях ориентирован на Америку. В общем, не личность, а супермаркет, с миру по нитке, ничего своего. Впрочем, одна "своя", кардинальная особенность есть, Левков ее называет: органическая нетерпимость ко всему чужому.

Напоследок Левков сравнивает советских евреев с теми, которые прибыли в Штаты в начале века. Те принесли с собой "идиш-кайт", идеалы социальной справедливости и идеи зарождающейся социал-демократии. Нынешние принесли русский язык, идеалы материального благополучия и идеи авторитаризма и нетерпимости. Взгляд на ближнего как на врага, на мир — как на джунгли, на жизнь — как на беспощадную борьбу за выживание.

Сравнение Левковым советских евреев с "досоветскими" весьма любопытно, потому что оно вплотную подводит нас к вопросу: как мы дошли до жизни такой? что с нами стало? и кому мы всем этим обязаны? Как и в заочном споре Парамонова с Меклером, и тут найдутся люди, которые примутся доказывать, что всему виной советская власть, и другие, которые будут им возра-

жать, что авторитарность и нетерпимость — наши всегдашние (чьи “наши” — русские? еврейские? русско-еврейские?) характеристики. И опять лучше всего обратиться к “третьему” свидетелю. На сей раз я позволю себе сослаться на бывшего нашего соотечественника, ныне живущего в Штатах *Владимира Лефевра*, с исследованиями которого я познакомился в калифорнийском городе Сан-Диего.

Лефевр — не “полевой социолог”, как Левков, он и вообще-то не социолог, сфера его интересов — математическая этика, а социологические данные для него — только способ проверить свои теоретические предсказания. Но предсказания эти, вытекающие из теории Лефевра, и их проверка как раз относятся к обсуждаемому нами вопросу, и я хочу поэтому их кратко пересказать.

Прежде всего я предвижу недоумение: что это такое “математическая этика”? Разве можно свести вопросы добра и зла, хороших и дурных поступков к плюсам и минусам?

Оказывается, можно. Лефевр говорит: давайте глянем, как люди вообще “поступают”. Допустим, есть у человека какая-то цель и есть средства ее достижения, что происходит в его мозгу? Можно представить себе, что он мысленно оценивает, насколько “выгодно” ему будет достичь цели без применения этих средств (контакт, соединяющий “цель” и “средства”, разомкнут); потом оценивает то же самое при использовании наличных средств (контакт замкнут); затем сравнивает “выгоды” и принимает “оптимальное” решение. Такой ход мышления можно изобразить довольно простой электрической (логической) схемой; стало быть, человека (на этом уровне) можно заменить неким “логическим автоматом”.

Моральные суждения, — говорит далее Лефевр, — выносятся не так. Понятия “хорошее” и “плохое”, добро и зло, *заданы* человеку обществом, в котором он сформировался, они в него вросли и функционируют автоматически, даже помимо его желания: он не может освободиться от самооценки своих поступков, от чувства стыда или гордости. Но и этот механизм поддается моделированию. Опять-таки — есть цель и средства. Бессознательно человек отождествляет цель с “добром” (для себя, для “партии”, “народа”, “страны”). Средства он оценивает как “хорошие” или “дурные” (в зависимости от своего воспитания). Теперь он сравнивает уже не конкретные цель и средства, а абстрактные “добро” и “зло”. Тут его “моральный автомат” обла-

дает только двумя позициями: либо со злом нельзя мириться (компромисс добра со злом — это зло), либо можно (цель оправдывает средства, компромисс добра и зла — добро). Других логических возможностей нет. И тогда любые мыслимые виды морали сразу группируются в два больших класса: первый, в котором компромисс добра и зла неприемлем, и второй, в котором он приемлем. Точка.

Запомним это, — предлагает автор, — и перейдем к взаимодействию человека с другими людьми. Человек оценивает свои намерения как хорошие или плохие, намерения партнера как хорошие или плохие, и выбирает — вступить ему на путь конфликта или компромисса с партнером? При этом он мысленно оценивает: как он будет выглядеть в случае компромисса и как — в случае конфликта (с точки зрения своего типа морали). Если он будет выглядеть “плохо”, то будет испытывать стыд; но если его действия не принесут ему удовлетворения, он будет испытывать недовольство; желание избежать или стыда, или недовольства и руководит его окончательным выбором.

В этом месте в дело и вступает математика. Добру приписывается символ “единица”, злу — “ноль”. Они вступают в отношения друг с другом посредством сложения и умножения (соответствующих конфликту или компромиссу). Сложная механика колебаний между стыдом и недовольством заменяется не менее сложными степенями и логарифмами. В дело вступает математическая логика. Доказываются теоремы и выводятся следствия. Лефевр демонстрирует, что он недаром — профессор Калифорнийского университета. Но мы с вами — не профессора, поэтому перейдем прямо к выводам. Тем более, что выводы эти — поразительны.

Вы еще помните, что морали распадаются на два основных класса? Так вот, оказывается, что люди, принадлежащие к первому классу, то есть отвергающие компромисс добра со злом, в отношениях с другими обнаруживают тенденцию к *компромиссу*. И напротив, люди, воспитанные во второй системе (где цель оправдывает средства), тяготеют к *бескомпромиссности* в отношениях с другими! Проще говоря, человек первого типа рассуждает, примерно, так: я не знаю этого постороннего, но я лучше ему улыбнусь, иначе я не буду себя уважать. Человек второго типа рассуждает иначе: я его не знаю, но я на всякий случай набью ему морду, иначе я не буду себя уважать. Отсюда, кстати, разное

понимание, кто является истинным героем: для одного это герой компромисса, для другого — герой беспощадности.

Вообще-то, это парадокс: тот, кто провозглашает отказ от компромисса со злом в морали, идет на компромисс с ним на практике, и наоборот. Один заявляет, что терроризм ради любой цели неприемлем, — но когда нужно спасти заложников, идет на переговоры с террористами; а тот, кто допускает террор (например, как средство “национально-освободительной борьбы”), в аналогичной ситуации предпочитает террористов ставить к стенке. Но таковы математические предсказания теории, и проверка, как мы увидим, их подтверждает. Скажем теперь о проверке. Лефевр выбрал для нее американских граждан и советских эмигрантов. Всем им он раздал анкеты с такими, например, вопросами: “Можно ли солгать ради спасения невинного человека? — “Можно ли передать шпаргалку, чтобы выручить друга на экзаменах?” — “Должен ли врач сообщать раковому больному, какая у него болезнь?” — “Следует ли наказывать преступника суровее, чем требует закон, дабы отпугнуть других?” (помните: “Даешь смертную казнь!?”) Ответы распадаются на две группы так четко, что дрожь пробирает: 90 процентов американцев против шпаргалки и 62 процента советских — за; 83 процента американцев против сверхзаконных наказаний и 84 процента советских — за; 82 процента американцев против фальшивых показаний и 65 процентов советских — за; 80 процентов американцев против сокрытия правды от пациента и 89 процентов советских — за.

Бывшие советские люди имеют четко выраженную тенденцию к компромиссу со злом, американцы оценивают такой компромисс резко негативно. Итак, *советские и американские люди принадлежат к принципиально разным этическим системам.*

Далее испытуемым были предложены две гипотетические ситуации. Сначала их напрямую спросили: как вести себя с нахалом? 25 процентов американцев высказались за решительные действия. Среди советских процент был 70! Во-вторых, им задали вопрос: захвачен самолет; можно убить террористов без риска для пассажиров, а можно сначала вступить в переговоры; что вы выберете? Опять — среди американцев лишь 25 процентов высказалось за нападение, среди советских почти 60 процентов. Советские люди, невзирая на свойственное им (формальное) убеждение, что в компромиссе добра со злом нет ничего дурного, в отношениях с враждебными им людьми склонны к нетерпимости и бескомпромиссности.

Причина тому — стремление повысить свой “этический статус”. Компромисс с противником — это урон престижа. Поэтому “если враг не сдается, его уничтожают”.

Все это можно свести в простое утверждение: советский человек — человек особого типа. Здесь Лефевр делает важную оговорку: подобная мораль присуща не только советскому человеку; ее можно обнаружить в Китае, Индокитае, на Ближнем Востоке, в Африке. Она часто идет рука об руку с коммунистической идеологией, но это тоже не обязательно: она может выступать и в паре с фашизмом или разными формами религиозного фанатизма. Ее можно условно называть “советской” лишь по той причине, что в Советском Союзе возникло наиболее развитое общество, вся культура которого базируется на подобной морали.

Как же это произошло? Лефевр анализирует советскую идеологию. Прежде всего бросается в глаза, что она не призывает к злу. Напротив, она вся основана на декларировании добра. Но при этом она отличается от “идеологии” христианства. В христианских (точнее — иудейских) заповедях четко сказано: *не убий, не укради* и так далее, причем запреты эти *абсолютны*: даже убийство во имя благой цели все равно рассматривается как зло. Новый Завет добавляет в этом смысле к Танаху определенные нормы поведения личности, прежде всего — *призыв к компромиссу* во взаимоотношениях с другими (“подставь другую щеку”). Запрет на зло и компромисс с другими — вот принципы “первого класса морали”.

Кодекс строителя коммунизма (неважно, что над ним смеются, — он составляет *норму* морали и поведения, навязываемую человеку советским обществом уже в течение шестидесяти с лишним лет) — этот кодекс говорит о том, каким человек *должен быть* и что он *должен делать*, но ни словом не упоминает, каким он *не должен быть* и чего он *не должен делать*. Он провозглашает добро, но *не содержит запрета на зло*. Поэтому компромисс со злом типа “выдачи своего отца ради торжества коммунизма” расценивается в нем положительно (ибо человек “должен” всеми средствами добиваться победы коммунизма). К соратнику этот кодекс предусматривает одну форму отношений; к врагу — другую: нетерпимость и непримиримость. Таким образом, кодекс одобряет в принципе компромисс добра со злом, но при этом предписывает бескомпромиссное отношение ко всем, кто “не с нами”. Нетерпимость и бескомпромиссность порождают войну “всех против всех”, а она неизбежно ведет к государственному террору во из-

бежание анархии; иными словами, общество второго типа содержит внутреннюю ловушку. (Тут Лефевр делает тонкое замечание, напоминая, как Сталин удивлялся поведению замученного им Сванидзе, так и не признавшего свою "вину"; заставить людей "признаться в своем преступлении" означало для Сталина и его следователей — уничтожить в людях "героев", "гордецов", с точки зрения морали второго класса) .

После знакомства с теорией Лефевра "подопытные кролики" Левкова перестают быть загадкой: это просто порождение советской идеологии, советского режима, советского общества. Что конечно же не снимает ни с кого из них (из нас) индивидуальной ответственности. Ибо человек не приговорен к "своему типу морали", как к пожизненной каторге. Главный смысл всех этих социологических исследований — не в их собственно социологических открытиях (многое тут может показаться — задним числом — банальным и очевидным) , а в том, что они открывают нам глаза на механизм нашего поведения и наших "убеждений" и тем дают средство для мучительной, но оздоравливающей внутренней перестройки. Без этого нам не понять ни образ мысли, ни образ жизни того Запада, который мы выбрали. Не понять и не суметь использовать пресловутую "свободу". Не стать подлинно свободными людьми.

Но процесс становления морали — процесс исторический не только для отдельного индивидуума, но и для общества в целом. Тот же Лефевр завершает свое исследование указанием, что советский тип морали и поведения удивительно совпадает с... архаичным, дохристианским типом *на Западе* (известным, например, из древнеисландских саг о героях). Этот тип не исчезает, он только подавляется с торжеством христианства. В дореволюционной России, — утверждает Лефевр, — он был присущ люмпенам и другим низам общества (тогда как в обществе в целом господствовал "христианский" тип). Большевики сделали ставку именно на эти низы; таким образом, революция была не столько изменением социально-экономического строя, сколько победой архаичного типа морали — заменой десяти заповедей кодексом строителя коммунизма. Куда этот кодекс "ведет человечество", мы теперь видим: к всеобщей вражде, к нетерпимости, к непримиримости, к ненависти. От подобного "переворота" не гарантировано ни одно общество, — говорит Лефевр, напоминая о временах инквизиции, нацизма и других периодах европейской исто-

рии (добавим от себя, — не гарантирован и индивидуум: западный человек, поставленный в советскую очередь, так же быстро озверевает, наверно, особенно в одиночку). Надежда в том, что и обратное возможно: движение российских диссидентов, например, по Лефевру, — носитель (зародыш) морали первого типа внутри советского общества. Короче, как говорил Станислав Лец: "Все в руках человека, поэтому их следует почаще мыть".

Все в наших руках. Во всяком случае — наши представления о жизни и сама наша жизнь.

М. Вартбург — журналист, специализирующийся на политических и общественных вопросах, живет в Израиле.

"Одно из наиболее значительных исследований русской истории, появившихся в последние годы" (Сидней Монас)

"Важная книга; она может дать начало многим другим" (Ричард Ловенталь)

"В высшей степени стимулирующие размышления о тенденциях и смысле русской истории" (Роберт О. Крамми)

АЛЕКСАНДР ЯНОВ

"Происхождение автократии (Иван Грозный в русской истории)"

Издательство Калифорнийского университета, Беркли, 1982.

339 стр.

§19.95

Alexander Yanov

"The Origins of Autocracy (Ivan the Terrible in Russian History)"

Заказы и чеки направлять по адресу: University of California Press, Berkeley, Ca. 94720, USA

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Качество литературного произведения находится в очень сложных отношениях с его популярностью. Наиболее распространенная точка зрения: они не совпадают. Более того: зависимость даже обратно пропорциональная. И действительно, "Приключения майора Проница" читает гораздо большая аудитория, чем Бунина, Бенедиктов затмевал Пушкина, а Потапенко — Чехова.

Но, с другой стороны, те пять пьес Шекспира, которые чаще всего ставились при жизни автора, чаще всего идут и сейчас почти через четыре столетия. Всероссийская слава Есенина отвращала от него эстетов, не одобрявших пьяные дебоши и донжуанские списки, и потребовалось временное расстояние, чтобы в полной мере оценить прекрасную и чистую есенинскую лирику.

Как ни соблазнительно считать качество единственным критерием, этот подход хорош только для литературоведения. Уже критика обязана считаться с тем, что читает публика, а не с тем, что ей стоило бы читать. Во все времена важнейшей характеристикой общества было представление о том, какие произведения культуры потребляет народ. Китай издали кажется нам мурaveйником из-за миллиардов цитатников в красных облож-

Петр Вайль, Александр Генис

ЭФФЕКТ ПОПУЛЯРНОСТИ

(из книги "Современная русская проза")

ках. Индия предстает страной сплошных сантиментов благодаря слезливо-песенным фильмам. Общее мнение о беззаботности и поверхностности американцев создано телевидением и дамскими романами в супермаркетах.

Что же читает сегодня Россия?

Для русской литературы период конца 60-х — начала 70-х годов прошел под знаком деревенской прозы. Даже всемирный успех Солженицына не может сравниться с популярностью “деревенщиков”. Валентин Распутин, Василий Шукшин, Владимир Тендряков, Федор Абрамов, Борис Можаев, Василий Белов и другие создали даже не стиль, а образ мышления русского читателя. Вдруг, как сто лет назад, русская образованная публика обратилась к деревне. Правда, сто лет назад она еще и пошла туда. Нынешняя, цинизмом шестидесяти лет советской власти отвращенная от идеализма, никуда не пошла. Ограничилась связкой лаптей на стене, отысканием деревенских предков, песнями. А главное — книгами. В интеллигентской речи послышались Настены, Епишки, Дормидонты. Стало правильным проводить отпуск не в Сочи, а на Орловщине. И вот тут начались сюрпризы.

Настоящие колхозные крестьяне никак не хотели походить на оперных мужиков деревенской литературы. Это не значит, что “деревенщики” писали неправду или часть правды скрывали. Они просто немного додумали за современное российское крестьянство, ведомые благородными намерениями и светлым примером Тургенева. Ситуация создалась, как в пушкинской “Барышне-крестьянке”: действительность не совпадала с желаемым, и ее следовало исправить. Писатели не нашли в деревне Платона Каратаева, а классика 19-го века утверждала, что он должен быть. Русской литературе, всегда искавшей правды в народе, вообще не повезло с образами крестьян. Привыкшие думать, что город — разврат и зло, а деревня — чистота и совесть, мы забыли, что писал Пушкин о черни. “Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли мне равно...”. Мы забыли два страшных рассказа Чехова — “Мужики” и “В овраге”: жестокость и дичь русской деревни. А ведь те, чеховские, мужики еще не были отравлены шестьюдесятью годами атеистической пропаганды, не были развращены сознанием, что единственный способ существования — воровство и обман.

“Деревенщики” даже придумали специальный язык для своей

деревни. Кто-то уже отметил, что эти книги можно читать только со словарем Даля. Но и у Даля не найти доброй трети слов, которыми изъясняются колхозные крестьяне деревенской литературы. Туман “забусил даже не мокренью, а испотью”...

Городская интеллигенция, отправившись в отпуск на Орловщину, была потрясена, увидев, что мужик-правдоносец умудряется напиться вдрызг еще до открытия магазинов, что никто не несет парного молока, не щурит в доброй улыбке глаза.

Талантливый Шукшин, одаренные Абрамов, Белов, Распутин где-то, наверное, разыскали своих героев — на русском Севере или в Восточной Сибири — и силой своего дарования заставили поверить в них. Но забыли сказать одно: что если и есть на селе Платоны Каратаевы, то они доживают свой век, как мамонты.

Деревенская литература пережила свой расцвет и даже свой закат. Хотя книги Распутина издаются в прекрасных переплетах огромными тиражами — и это свидетельство упадка: плач по русской деревне стал официальной линией. Деревенская литература заменила на посту главного либерала “Новый мир” и “Юность” 60-х годов и утратила этот пост, когда русские книги стали приходиться в Россию с Запада.

Владимир Максимов пошел дальше “деревенщиков”, что естественно: все-таки они печатаются в советских издательствах, а он — на свободе. Его главное внимание сосредоточено на духовном возрождении человека: тема, которой “деревенщики” по понятным причинам касались только намеком. Воспитанный на русской классической литературе, Максимов твердо и неуклонно придерживается ее традиций. Герой его главного романа “Семь дней творения” Лашков — фигура сложная и противоречивая. Путь его духовного развития идет “по Достоевскому”, а не “по Толстому”. Толстовские герои прозревали спонтанно, как Нехлюдов (“Воскресение”) и Брехунов (“Хозяин и работник”). Достоевский же прослеживал все переживания и муки героя постепенно и пристально. Так же проводит по книге своего героя Максимов. Но вдруг возникает ситуация сложнее обычных, и появляется “толстовский” метод: Максимов уверенно направляет героя в нужное русло, разрушая достоверность образа. Смешение этих двух приемов слишком явно обнаруживает присутствие автора в повествовании. Тенденция автора сильнее жизненности образа.

Деревенская литература ярче всего представлена именами Шукшина, Абрамова, Распутина. Идею духовного возрождения человека в современной русской литературе наиболее полно выражает Максимов. Есть свой кумир и в "городской" литературе — Юрий Трифонов.

Трифонов, может быть, острее других страдает от своеобразного комплекса — отсутствия родословной. Родословной во всех ее масштабах: мы не помним никакого родства. Мы не ощущаем себя частью процесса. За десятилетия утратилось чувство преемственности. Будущее иллюзорно, прошлое проклято и отсечено, настоящее ужасно своей бессмысленностью.

Огромный пласт российской истории рухнул, и долгие годы новое общество занималось не наведением мостов, а углублением пропасти.

Перекинуть мостик в будущее не удастся — просто некуда. Остается прошлое, потому что без осознания своего места в истории — любой, хоть бы истории своей семьи — человек не может, не должен жить.

Связи с прошлым, старательно отбрасываемые долгие годы, нарастают снова. Комплекс неполноценности подавляется. Человек осознает себя продолжателем. Традиционная тема "отцов и детей" решается в обратном порядке: дети ищут отцов.

Исторические поиски героя повести Трифонова "Другая жизнь" — историка по профессии — обусловлены еще и родственными мотивами и потому оправданы вдвойне. Продолжая дело отца, он исследует судьбу пропавших документов Третьего отделения.

"Ты, наверное, думаешь, что я рехнулся? Чепуха, я здоров. Но ты ведь знаешь мою идею: нить, проходящая сквозь поколения... Если можно раскапывать все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед".

Но поиски корней — дело скользкое, а обществу, в котором живет герой, — абсолютно ненужное и даже опасное. Ничто не возникает из ничего и не уходит в никуда, — полагает герой. И вот идея всеобщей преемственности касается царской охранки. И что же? Традиции Третьего отделения ушли в никуда? Или списки агентов не так пришлось изменять?

Поиски терпят крах: работа остановлена, герой уничтожен морально, а затем и физически. Повесть заканчивается его смертью. А что оставалось с ним делать Трифонову? Герой хочет быть зве-

ном в цепи, а его хотят видеть винтиком машины. Попытка ухода в "другую жизнь" терпит крах.

"Другую жизнь" Трифонов ищет в жизни "этой". Он не прибегает к аллегории, иносказанию, фантазмагории. Он бытописатель — может быть, последний в нашу эпоху. Идея правдоподобия, начатая в начале 60-х Аксеновым, Балтером, Гладилиным, Ефимовым, дошла до своей кульминации — и одновременно кризиса — у Трифонова. Начались поиски иных путей.

Тоска по месту в истории принимает формы ностальгии у Булата Окуджавы. Его квазиисторические книги "Похождения Шипова" и особенно "Путешествие дилетантов" написаны целиком о современности. Окуджаве просто приятнее писать о князе Мятлеве или поручике Амилахвари, чем о нынешнем москвиче. Но пишет он все-таки о нем: что ничего не меняется, что всегда трудно быть непохожим, что толпа всегда против поэта, а быть диссидентом в 19-м веке было не проще, чем в 20-м.

Сферы популярности почти не пересекаются. Можно еще представить человека, горячо любящего и Абрамова, и Максимова. Но уже почти невероятно: страстный поклонник одновременно Распутина и Трифонова. А чем дальше в конце 70-х годов русская литература отходила от привычного реализма, тем неожиданнее и страннее становились кумиры, привязанности, взлеты славы и вспышки ненависти.

Разгром либеральных институтов, кризис гражданской темы, эмиграция писателей — все это подготовило явление читательского плюрализма. В 60-е, в пору бурного цветения надежд, только законченные эстеты позволяли себе предпочитать литературное сектантство магистральному гражданскому направлению. (Как пример: кружок Юрия Мамлеева, или даже, как пишет Ю. Мальцев, — школа Мамлеева.) В конце 70-х сферы популярности стали создаваться вокруг имен, ранее признаваемых лишь небольшой группой застенчивых полуподпольных почитателей.

Решающую роль в этом сыграл, очевидно, факт массовых публикаций русских книг на Западе. Раньше, пока сами писатели жили в России, отбор публикаций производился эмиграцией первой и второй волн — почти исключительно по признаку противостояния советскому режиму. Это естественно: антикоммунистическую эмиграцию интересовал процесс созревания такой же антикоммунистической силы в самом Советском Союзе. И так

же естественно, что, когда началась третья волна эмиграции, оказавшиеся на Западе литераторы продолжали писать о том, что волновало их всегда — то есть обо всем. Или, точнее — кто о чем.

Антисоветизм перестал быть основным направлением. Это понятно: первая и отчасти вторая эмиграции еще жили надеждами на перемены, на новую Россию. Третья, прожившая при советском режиме дольше и пережившая крах либерализма 60-х, никаких иллюзий не питала. Эмигранты третьей волны приехали на Запад жить, а не дожидаться конца советской власти (даже те, кто активно борется с ней).

Кроме того, оказалось, что и помимо критики режима есть запретные прежде темы — не такие глобальные и, уж конечно, не такие общественно важные, но тоже заманчивые. Еврейская тема. Существующая в действительности народная речь — то есть без купюр, с матом. Секс.

Еврейская — в своем абсолютном большинстве — третья эмиграция породила множество произведений на еврейскую тему, потребность в которой прежде удовлетворялась книжкой Бабеля и шеститомником Шолом-Алейхема. Остроумные и глубокомысленные произведения Фридриха Горенштейна “Бердичев” и “Споры о Достоевском”. Толстый двухтомный роман Аркадия Львова “Двор” и его же рассказы в периодике. Многочисленные публикации в многочисленных израильских изданиях.

Достигший своего расцвета к середине 70-х годов самиздатский журнал “Евреи в СССР” основал традицию специфически еврейской публицистики. Высшим ее достижением можно считать блестящую книгу Александра Воронеля “Трепет иудейских забот”, полную парадоксальных и основательных суждений о России, Европе, еврействе. Прекрасный образец такой публицистики оставил рано скончавшийся Илья Рубин — книгу “Оглянись в слезах”, в которой выделяется статья “О карнавальном характере еврейской истории”.

Но самый большой, по-настоящему массовый успех (насколько это возможно в условиях эмиграции) выпал на долю Эфраима Севелы. На его примере, возможно, наиболее четко выявилось соотношение качества и популярности. Неприятательные книги Севелы оказались безупречными с точки зрения функционирования. Автор учел все: и не слишком горячий израильский патриотизм, и космополитизм русского еврея, и его нерелигиозность,

и вечное недовольство всем, что творится вокруг, — что бы ни творилось. Севела избежал интеллектуализма Горенштейна, который устраивает эстетов и не устраивает массового читателя, и суперменского национализма Львова, который не устраивает ни тех, ни других.

Создав точный собирательный образ Аркадия Рубинчика, которому плохо и в Израиле, и в Америке, и в России (“Остановите самолет — я слезу”), Севела оказывается слабее там, где требуется чистый вымысел: рыхла композиция, неубедительны второстепенные персонажи. В более поздних его книгах (например, “Мужской разговор в русской бане”) появляется натурализм, которого писатель счастливо избегал прежде — может быть, это попытка иной степени популярности...

Лучше всего Севела, пожалуй, в “Легендах Инвалидной улицы”, где еврейский квартал белорусского городка описан в бабелевских традициях: с любовью, точностью и остроумием,

В благословенные 60-е советская цензура иногда позволяла в прямой речи персонажей завитушки, вроде: “Я тебе, б..., покажу!” Точки раздражали своей явной нелепостью: точками люди не разговаривают. Солженицын в “Иване Денисовиче” придумал “фуечки”, что тоже проблемы не решало. Потом все вошло в прежнее русло, то есть на уровень “сволочи” и “черта”. Прорвавшиеся на свободу писатели решительно отвергли цензурную стыдливость, и в книгах впервые за долгие годы появилась нецензурная лексика.

Первой ласточкой был, пожалуй, уже давно циркулировавший в Самиздате “Николай Николаевич” Юза Алешковского. Это стало подлинным открытием: оказывается, мат сам по себе мог быть протестом против режима. Протестом на лексическом уровне. Полная свобода выражений героев Алешковского была противопоставлена не просто ханжескому словоизъявлению официоза, а самой идее несвободы и конформизма.

В литературу хлынули нецензурные выражения. Целый пласт русского языка, прежде спрятанный в устной речи, стал достоянием писателей и читателей. Богатейший русский мат развернулся во всей красоте словообразовательных выкрутасов и синтаксических фигур. И произошло ужасное: он стремительно стал терять свое богатство и красоту.

Стало понятно, что нецензурная лексика и мат — явления сугубо

фольклорные. Идея устного народного творчества отомстила за надругательство над ней. Так выглядят безграмотным набором слов многие прекрасные народные песни, изданные типографским способом, а не услышанные в живом исполнении. Так не бывают смешными записанные, а не рассказанные анекдоты. (Конечно, фольклор необходимо собирать, записывать и хранить, но это дело ученых, специалистов.) Нецензурные выражения были хороши и уместны в анекдоте, блатной песне, разговоре приятелей. Каждый из собственного опыта знает, как одно короткое слово, употребленное вовремя и к месту, может передать целую гамму ощущений и мыслей. Но переход из фольклора в письменность разрушил саму идею запретности мата, который никогда и не претендовал на роль общеупотребительной лексики, служа необходимой в русском языке приправой к "обычной" речи.

Именно: приправой. Невозможно представить себе блюдо, состоящее из одного каиенского перца. Нужна точнейшая дозировка, чтобы нецензурное слово нашло свое место в литературном произведении. Великий Толстой употребил слово "блядь" в "Воскресении", и никого, кажется, это не коробило. А Лермонтов никогда не мог и подумать о публикации своей "Уланши", предназначенной для устного чтения в разгульном приятельском кругу.

Знаменитый своими тончайшими оттенками и многообразием русский мат стал разрушаться, переходя в художественную литературу. Процесс этот — в самом начале, и есть надежды, что интереснейший пласт русского языка все же не исчезнет, сохранившись в фольклоре.

Например, в Америке такой процесс практически завершен. Широко введенные в литературу сленг и нецензурная лексика перестали ощущаться таковыми, став практически частью общеупотребительной речи. Все эти "фак" и "шит" звучат чуть ли не в детских мультфильмах. Идея запрета, делающая такими привлекательными вкрапленные в повествовательную ткань словечки, отпала. А с ней отпала и привлекательность.

Как деревенская проза, тщательно записавшая "кубыть" и "мабуть", не смогла все же передать дух русской деревни, так нецензурная лексика не передает подлинного народного языка. Прекрасный пример настоящей точности — роман Войновича "Солдат Иван Чонкин". Крестьяне Войновича говорят совершенно подлинным языком, причем обходятся без мата. Изящно передал

интеллигентскую речь Сергей Довлатов ("В гору"), у которого газетный фотограф горячится: "Я самого Жискара, блядь, д'Эстена снимал". Это и есть та самая дозировка, которая допускает употребление любых выражений.

Родоначальник "нецензурного направления" в современной русской прозе — Юз Алешковский, — так смело и удачно выступивший со своим "Николаем Николаевичем", на этом не остановился. Используя все тот же прием — монолог с широким потоком нецензурной лексики, — он написал еще несколько книг, и прием превратился в штамп. Утратив прелесть новизны и переводя специи в разряд главных блюд, проза Алешковского стала повторять самое себя.

Сексу в русской литературе не везло. У французов был Рабле, у итальянцев — Бокаччо, у англичан — Чосер, у немцев — Гриммельсгаузен, у испанцев — Гевара. А у нас — фольклорный Фрол Скобеев да Иван Барков со своим откровенно непристойным "Лукой Мудищевым".

Классика 19-го века тоже ничего не добавила к этой волнующей теме. Совершенно беспольные книги Гоголя. Неземные вздохи Тургенева. Кромешные бездны — но только души! — Достоевского. Пожалуй, кроме нескольких шуток Пушкина ("Вишня", "Царь Никита"), одной-двух сцен у Толстого и Гончарова — ничего. Долгие десятилетия телесное познание жизни добывалось из книг французов: Золя, Мопассан. В начале 20-го века уездных барышень потряс порнографический роман Арцыбашева "Санин", в котором самым, кажется, сильным местом было: "Грудь ее высоко вздымалась". Тончайшие и точнейшие эротические описания оставил Бунин в цикле "Темные аллеи". Это, может быть, единственная по-настоящему эротическая книга в русской литературе, но — абсолютно целомудренная.

До 70-х годов в нашей прозе и не мог появиться роман, подобный гениальной книге Генри Миллера "Тропик Рака". Собственно, он так и не появился, но в русскую литературу пришел секс. Аксенов в "Ожоге" и "Острове Крым", Милославский в "Укрепленных городах", Евг. Попов и Вик. Ерофеев в "Метрополе", Львов, Севела, многие другие.

Пока описание интимной близости не удалось никому. Сексуальные сцены, размещаясь в диапазоне от неуклюжей грубости до туманных аллегорий, в современной русской прозе оставляют

чувство острой неловкости. Долгие годы ханжеского умолчания сделали свое: не выработаны даже основы философии и терминологии секса. В русском языке вообще, как точно заметил Иосиф Бродский, "любовь как акт лишена глагола". Этот глагол, возможно, будет найден — как найден он почти во всех европейских литературах. Но сейчас его не в состоянии заменить ни мат, ни нелепые эвфемизмы.

Дальше всех в этом направлении пошел Эдуард Лимонов, написавший самую скандальную книгу последних лет и тем создавший вокруг себя совершенно особую сферу популярности.

Роман "Это я — Эдичка" должен был возникнуть в русской словесности как результат комплексных усилий либерализации 60-х, расцвета Самиздата, возможности печататься на Западе и даже уезжать на Запад. Один за другим рушились запреты и табу. Естественным образом пал и этот — последний. Поэтому бессмыслен гнев пуристов, обрушившихся на книгу Лимонова: отрицание такой литературы означает отрицание литературного процесса вообще. И так же бессмысленна ссылка на отсутствие соответствующей традиции в русской литературе: традиции не только делятся, но и возникают.

Другое дело — само качество романа. Написанный в отчаянной, будто предсмертной, попытке выразить себя, он производит сильное впечатление. Но за этим искренним душевным порывом нет подлинной глубины чувств — порыв как таковой. И — главная слабость книги Лимонова — нет адекватных порыву средств выражения. Чисто литературные недостатки сводят почти на нет достоинства романа: чувства предстают искусственными, идеи — младенческими. Такая же неискушенность прозы губит многочисленные сцены интимной близости. "Любовь как акт лишена глагола"... Но первая попытка — какова бы она ни была — сделана. Может быть, и у нас будет свой "Тропик Рака"...

Русская читающая публика, воспитанная литературным плюрализмом последнего десятилетия, определила сферы популярности — темы, идеи, стиль, имена. Но, хотя наш предмет — проза, говоря об эффекте популярности, нельзя обойтись без одного имени, объединяющего практически всех. Это — Владимир Высоцкий.

Во всем нашем современном искусстве трудно найти человека с более "русской" душой. И даже неясно: хорошо это или

плохо — этот гипертрофированный, обнаженный и болезненный, как заусеница, “русизм” Высоцкого. Но понятно одно: Высоцкий — явление характернейшее. Он сразу нащупал свою тему: русский человек и что из него сделала советская власть. Этот человек искренен и в высоком, и в низком, он готов растоптать святыни и публично каяться потом. Образ героя Высоцкого — гротескный, даже несколько карикатурный, но емкий и правдивый.

Лирика не прячется за подтекст и иронию. Прямоком из поэтики блатной песни пришли темы любви, дружбы, смелости. Чувства нараспашку. Разгул “Яра” и “Славянского базара”, Мокрого и Угрюм-реки.

Но и он же — идеологический недоумок, перешедший из “Яра” в пивную. Негодяй, высывающийся из-за карамазовского плеча.

Так определил своим творчеством Владимир Высоцкий главный конфликт своего героя: Россия и СССР, русский и советский. Шампанское и политура.

Высоцкий пел, за ним вслед пела вся огромная страна: академики и школьники, милиционеры и уголовники, славянофилы и отъезжающие евреи. Конфликт, предложенный Высоцким, устраивал всех. И началась инфляция.

Наряду с настоящими достижениями песенного жанра — такими, как “Дом”, “Смотрины”, “Диалог” — появились ширпотребовские поделки: “Жираф большой”, “Про бегуна на короткие дистанции”, про боксера Будкеева... И вдруг их запели еще охотнее! Мотив незатейливее, строчки короче, смысл доступнее. Оказалось, что проще напевать про скалолазку, чем разбираться в аллегориях “Дома”. А ведь и то, и другое — Высоцкий. Сказался эффект сотворчества — так вкусно поется Высоцкий под рюмку. Нашелся и крамольный смысл, а ведь псевдопротест привлекателен всегда. Он облегчает жизнь, давая необходимый выход отрицательным эмоциям, а в то же время не обязывая ни к размышлению, ни к действию.

В конце концов, в это поверил и сам Высоцкий. На смену подлинному гражданскому отчаянию, глубине понимания России и боли за нее все чаще приходили забавные песенки-фельетоны, устраивающие всех без исключения. Страна исступленно пела. И не только пела. Высоцкий — не только автор, но и герой. По Высоцкому можно жить. Любить, дружить. В качестве образца для подражания Владимир Высоцкий перестал быть явлением

индивидуальным и стал явлением социальным. Этого испытания его творчество не выдержало. Сохранить такой уровень обобщения, как в "Доме" или "Смотринах" — не под силу автору. Да и не нужно слушателям.

Высоцкий воплотил в себе и в своем творчестве все лучшие и все худшие черты нашей эпохи. Гражданское горение и конформизм, юмор и пессимизм, обращение к народу и уход в себя, быт и поэтическое вдохновение, беспросветное пьянство и страсть к книгам, жертвенность и предательство.

20—30-е годы прошлого столетия связываются у нас с именем Пушкина. Но на то он и Золотой век. Наше ущербное время лучше всего выразилось в яркой и ущербной фигуре Высоцкого. Как назовут нашу эпоху?..

П. Вайль и А. Генис — критики, статьи которых о русской литературе публиковались во всех периодических изданиях Зарубежья (см., в частности, альманах "Часть речи"), создатели — вместе с С. Довлатовым — газеты "Новый американец", живут в США.

ЛАРИСА ГЕРШТЕЙН

ПЯТНАДЦАТЬ ПЕСЕН
БУЛАТА ОКУДЖАВЫ

ВЫШЛА В СВЕТ
НОВАЯ ПЛАСТИНКА



"Голосом Ларисы Герштейн заговорил другой Окуджава... Он приучил нас к своей манере исполнения, и вдруг многие из его песен оказались иными, в них обнаружались новые смыслы и краски..."

Цена пластинки — 8 долларов

Заказы и чеки направлять по адресу:
P. O. B. 44050 Tel-Aviv, Israel

Само ли прекрасное приискивает себе подмастерьев среди безпризорных и озорных духом и, очаровывая не вечерним светом своей бесполезности, возводит их в мастера?

Премного ль обязаны те умениями своими прекраснодушным наставникам из ремесленных душегубок?

Иль все начинается и творится по воле прекрасной инакости — отрешенно и вопреки?

Иными словами: на чем мы остановились? что умозаключили на наших тысячелетних досугах? что было и будет вначале: художник или искусство?

И: наличествует ли наше прекрасное, если мы не имеем к нему касательства, не имеем в виду, отвернулись и очерствели. Или ударились в безобразное. Положим — в безобразии благополучия, небытия — в этот кромешный стыд; в безобразии сплетен об истине.

Где там, кстати, в каком балу влачится ее драгоценный шлейф, отороченный благородным скунсом?

Что нам делать без этой сиятельной дамы, ведь в наших собраниях повисала масса вопросов. Ведь нам не удастся не только сравнить их с висящими на наших же вешалках старомодными зонтиками и тростями, но и выпрямить эту согбенность, исправить их вопросительную

Саша Соколов

НА СОКРОВЕННЫХ СКРИЖАЛЯХ

речь, сказанная 16 мая 1981 года на конференции "Русская литература в эмиграции" (Лос-Анджелес)

горбатость — словно бы раболепную, угодливую, а в сущности, настырную и узурпаторскую. Вопросы пленяют нас. Что там себе подельывал в деревне зимой Александр Сергеевич, и как хороши, если конкретизировать, в какой именно степени были свежи розы Ивана Сергеича?

Как — а главное: чем делать стихи и вообще изящное и замечательное? И если нечем, то чем тогда заниматься?

Не сочинить ли биографию Навуходоносора, не составить ли мемуары, не податься ли в отцы нации, не причислиться ли к лику святых?

Кто есть кто? Кто зван, а кто призван?

Или просто ребром: ты меня уважаешь?

На улице неотложных вопросов — фиеста. В балаганах политики, идеологии и тщеславия — полный сбор. Там витийствуют околоседы, вещают пророки. Именно там на публику, обданную словесной дрисней и тем умиленную, является во всем белом сама Посредственность.

Ну, а те-то, которые беспризорные духом?

В культуре, подвергшейся множественным размозжениям духа с применением лакированной тары, затоваренной умопомрачительной требухой, глас они вопиющего в индифферентности: подайте юродивому копеечку!

И что, казалось бы, делать — только не Александру Сергеичу, и не зимой у себя в поместье, а мне, Александру Всеволодовичу, круглый год и в совершенно иной земле, где не пахнет клубника, сирень, черемуха, деревья забыли свои имена, где о свойствах древесных лягушек можно потолковать лишь с самоотверженным соколоведом Доном Бартоном Джонсоном, а на кладбищах вместо мудрых могильщиков с их гуманными лопатами и веревками работают трубоукладчики и бульдозеры?

Что делать нам всем, для которых полупроводник — это не более чем проводник, обслуживающий два вагона?

Конечно же — преподавать, прометействовать, возжигать светильники разума, университетов же — тьма.

Как возможно не знать произведений Дамокла, трудов Сизифа, философских воззрений Прокруста! — воскликнул профессор, до слез восхищенный неведением студента. Да будет вам, отмахнулся студент, у вас — своя компания, у нас — своя.

В самом деле, с чего сей экзальтированный экзаменатор возомнил, что его дисциплина чего-нибудь стоит, чего он пристал

к представителю молодежи? Видать, господин профессор — приезжий, небось эмигрант из какой-нибудь там России, где, слышно, Союз писателей играет роль чуть ли не оппозиционной партии. И чего еще церемонятся там с этими борзописцами. Вот отрубят им всем, говоря по-китайски, собачьи головы — тогда узнают.

Не скажу за Париж, за Лондон, за Копенгаген. Быть может, процесс выздоровления объединенных наций от литературной хандры происходит неравномерно, и в ряде одряхлелых столиц, как в каких-нибудь бразилиях и сибирях, еще не в курсе, что лавочку изящной словесности пора прикрывать. Но у нас в Новом Свете, рекомендую: писатель, — вы должны непременно оговориться, что позволяете себе данное слово в значении здесь отставном и невнятном. Ибо в представлении нечитающей массы райтер — это человек, умеющий набросать письмо, заявление, пособие по бегу трусцой, трактат о диете или какой-нибудь Горьки Парк. Поэтому слово графоман имеет в местном наречии узко-клинический смысл.

Да и чего там, право, эстетствовать, элитарничать. Здесь нам не петербургский салон времен замечательного поэта-нудиста Константина Кузьминского, пусть сам он и переехал в Техас.

Оставьте ж в покое свою Мнемозину, милостивый государь, не теребите ее, не мусольте.

Когда я, оздоровленный новейшим опытом, живописую коллегам, что значит в стране моего языка быть писателем или хотя бы слыть им, то чувствую сам: баснословен.

А когда, вояжируя из Канады в Америку, меня на таможе спрашивают: занятие? и я отвечаю: писатель, — меня немедленно начинают обыскивать. Потом прибывает проникновенный гражданин в штатском, и у нас заходит душещипательная беседа на предмет сердечной привязанности.

В Канаде, говоришь, родился? А пишешь, говоришь, на русском? А сердце твое, говоришь, где?

Мое сердце — летучая мышь, днем висящая над пучиной кишечной полости, а ночью вылетающая сосать удалую кровь допризывников с целью ослабления ваших вооруженных сил, сэр.

Вот как уклончиво следовало бы мне отвечать, но я опасаясь прослыть излишне сентиментальным. Ведь моя литературная репутация и без того уж подмочена.

Вы знаете, отчего я столь внимательно вас лорнирую? — сказала

мне княгиня из первой волны, когда мы сидели с ней за одним из ее наполеоновских столиков, имея ленч.

Помилуйте, возражал я тушуясь.

Я прочла вашу Школу Для Дураков два раза, продолжала графиня, и, поверите ли, поначалу решила, что вы, по-видимому, вольнодумец, масон, а теперь догадалась: вы просто умалишенный.

Лорнирует меня и канадская Ее Величества конная контрразведка. Однако ее осенила догадка иного толка.

Ваша карта бита, заявили нам в компетентном монреальском учреждении, вы, Соколов Александр, он же — Саша, шпионы.

Улики? Более чем достаточно.

Во-первых, мы оба что-то все время пишем, во-вторых, мы однофамильцы. Только один из нас, будучи монархистом, пишет нашу фамилию с двумя эф на конце, а другой, будучи сам по себе, с одним ви.

Когда меня наконец арестуют, я утешусь следующим воспоминанием.

Однажды в Италии был задержан немецкий лазутчик, который методически срисовывал старинные башни. И хотя он пытался уверить следственные органы, что он просто поэт, дескать, Гете, имя это ничего никому не сказало. Ведь Иоганн Вольфгангович тоже подвизался под рубрикой Литрачер Бийонд Политикс.

А ведь упреждал, упреждал меня пьяница дядя Петя, малограмотный провидец из волжской деревни, где я работал егерем и писал первую мою книгу: Санька, говаривал дядя Петя, не ездь в Америку.

Впрочем, когда он давал мне этот стариковский совет, об отъезде я даже не помышлял. И искренне удивлялся: Бог с тобой, Петра Николаич, с чего ты взял, какая Америка.

Вижу, вижу, читал он мою судьбу, уедешь.

Слова его тем более озадачивали, что мы никогда не заговаривали с ним о политике. Газет в деревне не получали, радио не слушали и жили размышлениями о состоянии реки, погоды, охоты. И пророчество дяди Пети являлось вдруг, в просторечье прекрасной застольной беседы минимального смысла и осмысления.

Странны, загадочны и трагичны события, происходящие в той захудалой местности, где кроме меня обретали покой и волю Чайковский и Пришвин, Рильке и его переводчик от русской

сохи Дрожжин, но где душа человеческая не многим дороже пары сапог.

Там протекает Волга, она же и Лета, впадающая в тюркское море Забвения. Чаевичая ее водою, входя в обстоятельства ее берегов, делаешься навсегда причастен к необъяснимому и нездешнему — в ней и судьбах ей обреченных.

Недавно я получил письмо от приятеля-браконьера.

А что, начинается эта неглазированная деревенская проза, не сказывал ли тебе Петра Николаич, чтобы не ездил, куда не след? Не послушал — вот и не знаешь про нашу деревенскую жизнь.

После утопления Ломакова Витька за время твоего отсутствия — приключилось. Помнишь ли Илюху-придурошного? Пошел Илюха за Волгу за выпивкой на день конституции, а лед еще слабый был — так уж после только лыжи нашли.

Костя Мордаев, который инвалид-перевозчик: тому конец загодя был известен. Вот и уснул на корме. Глубины, куда култыхнулся, с полметра было. Но Мордаеву и того достало.

А теперь про Вальку, Витька-хромого жену, да про бабку-Козявку. На ноябрьские поехали на ту сторону в магазин, а уж краины обозначились. Выпили в магазине — и обратно гребут. А когда на лед вылезали, то опрокинулись. Стоят в воде и кричат. Услышали их в домах, стали мужей ихних будить, а те сами в стельку. Проснулись они утром, а жены их в снях стылые уж лежат. Запили мужики пуще прежнего. Или вот Борька-егерь как-то с папироской уснул. Ну и сгорела изба. Да и от Борьки ничего не осталось.

И еще много всяких таких историй случилось у нас и в соседних деревнях, заканчивается этот сокращенный мною мартиролог, обо всем не расскажешь, книжку надо писать.

Я написал ее. С фотографией деревенского ясновидца Петра Красолымова на обложке, книга "Между собакой и волком" вышла в Ардесе за несколько месяцев до получения мной сих печальных известий. Тем не менее все они в той или иной интерпретации в ней прочитываются.

А что касается невзгод человека, который стал прототипом матроса Альбатросова, то эти невзгоды постигли его чуть ли не в полном соответствии с сочиненным.

Увы: написанное сбывается.

Ибо судьба подсказывает беспризорному духом решения, которые уже приняла.

И мастер ли сочиняет житейские мифы, они ли — его, все равно: текст промыслен все там же, на сокровенных скрижалях.

И не судьба ли ответит на все вопросы, не она ли решит, что пребудет: молчание или слово?

И если потребуется — вырвет наши грешные языки.

С. Соколов — один из ведущих писателей эмиграции, автор книг "Школа дураков", и "Между собакой и волком".

СПИСОК ЗАМЕЧЕННЫХ ОПЕЧАТОК

В статье А. Волохонского ("22", № 22)

Напечатано

Следует читать

при... обличье
XXXIV

при... обличьи
L XXXIV

В романе А. Оза ("22", № 23)

Напечатано

Следует читать

Да ведь из слова этого так и
напрашивалось столь нелепое
имя — Померанц (стр. 6)
рек (стр. 14)
бредущего в темноте (стр.
17)
золотых (стр. 17)
решетчатыми арабесками (стр.
30)
уйми, уйми (стр. 46)
поспешно (стр. 46)
легко играючи (стр. 54)
в один и тот же поток дважды
или хотя бы единожды (стр. 54)
юру (стр. 55)
сыны часовщика (стр. 61)
(пропущено, стр. 61)

Да ведь слово это так и напра-
шивалось столь нелепым именем,
Померанц
(опустить)
скрытого темнотой
злотых
решеткой с арабесками
уймы, уймы
неспешно
легко, словно играючи
в тот же самый поток дважды
хотя бы только раз
яру
часовщиковы оба этих сына
Надевши канареечную шапку и
в красных сапогах, а за широкий,
сыромятной кожи пояс заткнув
топор, отправился Элиша ПOME-
ранц к далекому ручью, в гущину
диких трав и камыша, где прятал-
ся Эмануэль Зайчак.

“Чтение художественных произведений — неоценимый источник познания жизни и законов ее борьбы”.

К. Маркс

Франсуа Рабле, знаменитый предтеча Александра Зиновьева, до конца дней писал продолжение своей единственной книги. По всеобщему предубеждению, продолжение это вполне могло разделить судьбу второго тома “Мертвых душ” — не будь его, мнение о том, что Рабле — великий писатель, никогда бы не оспаривалось. Более того, догадки по поводу: чего бы он еще такое написал — по занимательности не уступили бы первой книге “Гаргантюа и Пантагрюэля”.

Александр Зиновьев трудолюбиво издал все, что так или иначе было связано с “Зияющими высотами”: “В преддверии Рая”, “Записки ночного сторожа”, а историю создания “Высот”, как и подобает издателю классического наследия, отобразил в ряде статей. “Зияющие высоты” обросли теперь неким подобием литературной традиции, что, по моему мнению, не пошло им на пользу — это их не возвысило и не уронило, зато отобрало у них исключительность.

Ученым прощается многое. В наше время им прощается почти все. Кроме занятий наукой.

Зеев Бар-Селла

ДИАЛЕКТИКА УРОДА,

или “Светлое будущее”
Александра Зиновьева

“Зияющим” простили все прегрешения против литературных приличий, а нелитературность изложения уже безусловно внесли в разряд достоинств.

Филолог не мог отказаться от редкого в его жизни удовольствия — разъяснить рядовому читателю, что его — читателя — мнения о литературной форме изрядно устарели. В качестве примера, его — читателя — тыкали в Рабле, поясняя, сколь это прекрасно. Ни один читатель, естественно, прелести раблезианства ощутить не способен, поэтому литературоведческий престиж (“кишок без дерьма не бывает” — перевод Любимова) “Зияющих высот” останется непоколебимым.

И все бы нашему филологу хорошо, и живи он себе как хочется, кабы не одна малопростительная шалость нового классика — Зиновьев написал роман.

Вот наши юные современники Вайль и Генис взглядывают в общем виде на новую русскую литературу и пишут (естественно, пишут!) о Зиновьеве — как об авторе “Зияющих высот”. Они называют “Высоты” мениппеей (что для знающих — комплимент). Они говорят об открытом Зиновьевым новом жанре (это мениппея-то!). Но о прочем... о прочем ни слова! Значит, он для них, как Сервантес, — автор одной книги. При этом нарушаются и историческая правда, и прижизненная воля автора — Сервантеса в данном случае, — тоже, впрочем, желавшего остаться в памяти автором одной книги, но другой — не “Дон-Кихота”, а “Персилеса и Сихизмунды”.

С Сервантесом договориться просто, за него решило время. Статью же Вайля с Генисом от романа “Светлое будущее” отделяет срок поистине детский — 2 года.

Роман А. А. Зиновьева вышел в свет в 1978 году, щедро наделенный (в традиции издательства “L’age d’homme”) немислимыми опечатками. Составившего мнение о Зиновьеве по “Зияющим высотам” книга эта поражает прежде всего своей величиной — только 230 страниц.

На втором месте стоит жанр: как уведомляет безымянный автор издательской сопроводилки, “вторая книга Зиновьева, нисколько не теряя в названных выше качествах (названы были “сила, глубина, беспощадная горечь мысли”), принадлежит целиком художественной литературе”.

Неосторожное это, в высшей степени неосторожное заявление оказало свою роковую услугу — литературная критика с болью

и негодованием отвернулась от новоявленного графомана. Ибо роман "Светлое будущее" — плохой роман.

Роман этот плох потому, что в нем нарушено основное требование, предъявляемое к данному жанру. Роман "предназначен для показа процесса душевного развития". Этому условию "Светлое будущее" не отвечает ни в малой степени — внутренний мир героя статичен, описываемый внешний мир статичен, развертывание фабулы не сопровождается развитием сюжета. Ну что ж, Зиновьев — не писатель, он — философ, ученый. Короче, Зиновьев — не Трифионов, и романы писать... Не его это дело.

И все-таки, хотя бы из уважения к автору "Зияющих высот"... Неужели же никакой надежды нет? Может, он что-то сказать хотел, а мы тут уперлись — развитие характера, сюжет...

У него, например, есть роман в романе. Ну, не роман, а трактат. Это сейчас принято: у Булгакова в "Мастере", у Гофмана в "Коте Мурре", у Битова и вовсе статья. Вот они — зримые черты литературы!

С трактата, давайте, и начнем.

"Все в книге мне было уже знакомо. Но тут все было собрано вместе и приведено в систему. И эффект получился ошеломляющий...

Иногда я спрашиваю себя: если бы я принял позиции Антона, смог бы я сделать нечто подобное его книге или нет? Когда я слушаю Антона и других моих собеседников такого рода, я все понимаю. И мне кажется, что я и сам мог загнуть такое. Но в глубинах своего подсознания я чувю, что это неправда... У меня для этого нет ни голоса, ни слуха".

"Книга пленила его или, точнее, укрепила его во взглядах. В сущности, она не сказала ему ничего нового, но в этом-то отчасти и состояла ее прелесть. Он нашел в ней то, что мог бы сказать сам, если бы умел привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была плодом ума, родственного его уму, но несравненно более глубокого, дисциплинированного и менее подавленного страхом. Лучшие книги те, — подумал он, — в которых говорится о вещах, уже знакомых нам".

Это цитаты из разных книг — первая из "Светлого будущего", вторая — из "1984". В первой — речь идет о книге "Коммунизм. Идеология и реальность", во второй — о "Теории и практике олигархического коллективизма". Автор первой книги — Антон Зимин, второй — Эммануил Гольдштейн. Эммануил Гольдштейн — это Лейб Бронштейн-Троцкий, Антон Зимин — А. З. — Александр Зиновьев.

Совпадение цитат не есть случайность. "Светлое будущее" расшито по канве "1984".

Большинству персонажей и коллизий романа без труда находят параллели у Орвелла. Герой Зиновьева работает в Отделе методологии научного коммунизма, Уинстон Смит — в Министерстве Правды. Как и Уинстон Смит, зиновьевский герой не принадлежит к Внутренней партии. И тот, и другой ведут дневник (что, как не дневник, роман Зиновьева?); и о дневнике Смита, и о книге Зимина осведомлена тайная полиция; у героев двух романов есть любовница, и даже такая мелочь, как квартира, снятая для тайных свиданий, и тому, и другому навеивает воспоминания детства. Список совпадений можно продолжить: забегаловка, она же кафе "Юность", и кафе "Под развесистым каштаном", например, — но я полагаю, что и перечисленного достаточно.

Странное это обстоятельство несомненно заслуживает внимания. И добро, если бы Зиновьев это сходство скрывал, так нет — среди своих предшественников А. Зимин называет и Орвелла. Можно отыскать следы и других знакомств: так, история бесконечного ремонта лозунга "Да здравствует коммунизм — светлое будущее человечества" уводит нас в платоновский "Котлован", а до этого идея была уже использована в "Зияющих высотах" — там строили котлован для Сортира, справедливо полагая, что чем обширнее котлован, тем величественнее будет здание.

Что же побудило Зиновьева свой первый шаг на поприще "чистой литературы" обставить почти что плагиатом?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо задаться другим: что могло пленить Зиновьева в "1984"? По всей видимости, то же, что и всех прочих — идеальная точность описания бытовых сторон тоталитарного общества. Именно это, а не историческая достоверность, вроде усов Старшего Брата или мелочного воспроизведения подробностей грызни большевиков за власть в "Скотном дворе". Описание же быта было до такой степени точным, что читательская масса находила этому только одно оправдание: Орвелл действительно побывал в СССР, называли даже точную дату — 1939 год. Но биография Орвелла известна, и для подобных предположений места не остается. Более того, доподлинно известно, что вдохновение Орвелла питалось из литературного источника, каковым источником был социологический бестселлер Джеймса Бернхема "Революция администраторов"

(Нью-Йорк, 1941), ничего, кроме пророчеств технократической эры, не содержащий.

Здесь, по всей видимости, и кроется поворотный пункт: Зиновьев пришел к выводу, что точность частных результатов объясняется их логической выводимостью из немногих идеологических постулатов. Отсюда главная идея книги Антона Зимина — так называемые недостатки коммунизма являются результатом полного претворения в жизнь исходной идеологической доктрины (а не теми или иными отклонениями от нее). Убеденность в примате логического знания подтверждается признанием самого Зиновьева в одной из статей: уходу в литературу предшествовали восьмилетние попытки постичь логику “Капитала”. И все-таки мы не можем еще ответить на вопрос: с какой целью, признавая все провиденциальные достоинства “1984”, Зиновьеву понадобилось переписывать Орвелла, лишив при этом его сюжет занимательности и авантюристичности?

Среди героев романа наименьшей художественной достоверностью выделяется образ авторского протагониста Антона Зимина. Это единственный персонаж, относительно которого мы располагаем информацией о его прошлом: воевал, потом сидел, реабилитирован, а ныне, в ожидании новой посадки, выполняет функции праведника — бесребреник, борец за идею, отвергающий личное благополучие, слово “совесть” просто не сходит с его языка. Перечисленные качества Зимина призваны сообщить хотя бы минимальную психологическую убедительность преподносимому им взгляду со стороны. С той же целью автору приходится создавать для Зимина особую среду существования — детей. Дети задают дяде Антону вопросы о марксизме, Боге, Солженицыне, персонологии и кинематографе, и нет случая, чтоб он не дал им развернутый и глубоко аргументированный ответ.

Иными словами, Антон Зимин — резонер, каковая фигура признавалась писательской неудачей уже в XIX веке, если не в конце XVIII; разумеется, речь идет о поэтике классического романа — реалистического. Но Антон Зимин на эту поэтику оглядываться не должен, потому что он не классический резонер, а персонаж иного (не скажу нового) типа — он Virgiliy. Место рождения его — утопия. В роман он призван затем, чтобы восполнить недостающие у персонажей и читателя знания об обществе, с которым те сталкиваются.

Значит, по мысли и замыслу Зиновьева, пространство его рома-

на не есть знакомое нам пространство романа, и, следовательно, до Зиновьева оно описано не было.

“Мои мысли занимали Курицыны. И все-таки они хорошие люди. А такие странные они потому, что они советские люди” (с. 16).

“Моя теща — обычный советский пенсионер, надежнейший оплот советской власти. О, советский пенсионер — неслыханное в прошлой истории человечества явление, еще не описанное в художественной литературе и не изученное в науке” (с. 61).

Птицей-тройкой несется по роману восторг первооткрывателя:

“Смешно... Люди двадцатого века, а говорим о себе так, как будто занимаемся описанием образа жизни какого-нибудь недавно открытого дикого племени...

— Ничего смешного, — говорит Антон. — Отрицание отрицания. Мы и есть дикари. Мы в некотором отношении снова оказались на дне человеческой истории... А мы сами этого еще не знаем” (с. 58).

А вот структурный принцип нового общества:

“Смотри, все ведущие идеологические посты заняли наши люди.

— Это не играет роли. Они все равно будут действовать в силу обстоятельств, а не в силу личных симпатий и антипатий и прошлых отношений”

И в этом самое главное и в романе, и в обществе: личность, психология и поведение — все реактивно, все определяется стечением обстоятельств. Ну, кого же может удовлетворить этот плоский бихевиоризм? Оттого так страстно тянутся герои к зеркалу жизни — литературе:

“Ленка прочитала мою статью в философском журнале... И пришла в дикий восторг.

— Это не они, а ты настоящий гений! У тебя же литературный дар пропадает. Послушайте, что он пишет: “...в гениальном докладе выдающегося деятеля нашей партии и всего мирового коммунистического движения... и всего прогрессивного человечества... с поразительной глубиной, широтой и прозорливостью дано гениальное обобщение грандиозного опыта победоносного и неудержи (и т. д. — Б—С) во главе всего прогрессивного человечества...” Нет, папочка, тебе, пожалуй, романы надо писать. Толстой, Бальзак, Достоевский — все они щенки по сравнению с тобой” (с. 25).

Тремя именами Зиновьев исчерпывает методологию и возможности реализма: психология (Достоевский), социальная психология (Бальзак), социальный эпос (Толстой) — и заявляет, что от-

образить его реальность данным корифеям не под силу — “щенки”. Логично предположить, что его реальность сложнее.

Но стоит кому-то заявить, что “скука есть основа нашего бытия... Наша жизнь принципиально бессобытийна” (с. 65), и персонажи теряются, посвящая в дальнейшем немалые усилия расследованию этого досадного и беспокоящего противоречия.

Современному литературному произведению положено делать литературоведение своей интегральной частью. Поэтому, не удовлетворяясь разбросанными в разных местах замечаниями (“говорят о всяких высоких материях, а о главном ни слова: колбасы-то приличной все равно нет”), роман уделяет своим отношениям с обычным романом особую главу: “О литературе”. В ней по доброй старинной традиции запечатлен полемический диалог двух персонажей. Сцепились же они по поводу романа Тикшина (“Дом на набережной” Трифонова, как доказала Н. Рубинштейн). Носитель авторского слова А. Зимин производит разнос произведения средствами жизни:

“Скажи, были у тебя когда-нибудь трудности в понимании наших людей и ситуаций, порождающих драму? Никогда? И у меня никогда... у Тикшина герои раздвоены и борются в себе. И продуктом этого являются те или иные внешние конфликты и процессы. А на самом деле как? Идет борьба между людьми и группами людей. И вытекает она не из состояний индивида, а из самого факта совместного существования больших масс людей в условиях советского общества... Индивид лишь рефлектирует в себе условия советской жизни. И в массе он адекватен им. Неадекватные же погибают, — рыба не может долго жить вне воды. Есть, конечно, у людей свои личные проблемы. Но у нас они просты, прозрачны, примитивны, стандартны. Они не предмет литературы сами по себе... Предмет настоящей литературы их обычность, заурядность, серость. И о них надо говорить как-то иначе... Не хуже и не лучше. Просто не так... И никакой психологии, кроме страха, злорадства, стремления выкрутиться. Надо описать общий механизм дела, — это и будет правда”.

(Так и хочется, прямо, встать и бросить в лицо этому нигилисту, что Бетховен выше сапогов... Но и сапоги достать тоже проблема.)

В другом месте, где речь идет уже не о литературе, а всего лишь о социологии, неуязвимый Антон по-прежнему гнет свое:

“Если думать о понимании существа советского (коммунистического) образа жизни, то надо в корне изменить способ видения и, естественно, фразеологию” (с. 42).

Отсюда следует:

“У нас литературой может стать только беспощадное описание наших условий, исключаящих настоящую литературу” (с. 131).

Задача, как мы видим, поставлена логически неразрешимая.

Но Зиновьев смело решает свою апорию — он создает новый художественный метод. Я рискну назвать его “логическим реализмом”.

Для этой цели Зиновьев переворачивает временные отношения жанров: его Новый Реализм — это **утопия, опрокинутая в настоящее**. Место настоящего — осуществленное будущее. Ньютоновым яблоком послужил лозунг, где выражается пожелание здравствовать тому, чего еще нет и не известно, будет ли. Общество, выражающееся таким образом, подсознательно уже отдает себе отчет, что ни будущего, ни настоящего в общепринятом смысле нет. И тогда Орвелл становится реалистом. Нужно только освободить его от некоторых романтических излишеств: авантурный сюжет, тайны, Великий инквизитор, всякая там игра в кошки-мышки... И все.

Что же касается прочих литературных достоинств, то они действительно не велики (двойничество: Антон Зимин и безымянный главный герой, Пьяная Старуха — символ уходящего мира: каждый раз при виде ее Герой испытывает желание совершить этический поступок — денег дать, тачку покатить). Но это, скорее, издержки непреодоленных литературных систем, чем просто литературная неопытность.

Роман А. Зиновьева уродлив, как уродлив урод на портрете уroda. Чем гениальнее портрет, тем уродливее урод.

APPENDIX

“Дорогой Мавр!

Прости мое двухнедельное молчание — пришлось две недели пробыть в Манчестере по фабричным делам (далее следует описание фабричных дел и отчет об истраченных суммах. — Б-С). В довершение всего, я простудился и несколько дней провел в постели.

Из Лозанны пришла книжная посылка — русская колония спешит переправить мне каждую свою новинку, полагая, очевидно, что иных занятий, кроме как читать дурной перевод с немецкого (если они пишут сами, все равно получается перевод), у меня нет. Но на этот раз одно из их писаний показалось мне любопыт-

ным: речь идет о романе некоего г. Sinowjeff, судя по всему петербургского профессора (это явствует из той неприязни к Москве, которую он испытывает). Роман этот написан, конечно, в духе литературных упражнений г. Tschernischewski, т. е. чудовищно. Можно подумать, что г. Sinowjeff вообще не прочел ни одного романа. Будь время и желание, я мог бы исписать несколько листов, перечисляя только то, чего нет в этом "романе" и без чего литературное произведение ("Парижские тайны", например) просто немислимо. Если бы речь шла о литературе, я бы не удостоил эту книгу строчкой. Интерес ее, однако, совсем в другом.

Автор, несомненный утопист-самоучка (я не нашел у него и следа знакомства с Сен-Симоном или Фурье), пытается описывать некое общество, которое он называет "коммунистическое" или "sowetskoje" и которое, по его убеждению, появится в России.

Книга эта является превосходной иллюстрацией того, как русские понимают коммунизм. Взгляни только, о каком обществе они мечтают:

"Все то, что постороннему наблюдателю, не прошедшему школу советского образа жизни, кажется ложью, демагогией, формалистикой, комедией бюрократизма, пропагандой и т. д., на самом деле образует плоть и кровь этого образа жизни, самую эту жизнь как таковую" (с. 41).

"Государство и партии тут отмерли в том смысле, что утратили политический характер. Мораль и право отмерли как продукты цивилизации и защиты людей друг от друга и от власти и заменились некоторыми правилами "технического" поведения закрепощенных тварей. Все имеют возможности развивать свои способности и удовлетворять потребности, но в рамках разумности, устанавливаемых обществом. У нас реально подавляющее большинство населения осуществляет насилие над меньшинством... У нас даже денег в марксовом смысле нет. Что это за деньги, если за одну и ту же сумму ты имеешь больше, чем я, если ты можешь иметь нечто за деньги, а я нет" (с. 60).

Буржуазное морализаторство он пересыпает социальными прожектами:

"На наших глазах идет грандиозный процесс структурирования нового общества, как географически, так и "вертикально". Вроде бы пустяк: мальчик, окончивший десятилетку в Чухломе, имеет меньше шансов попасть в университет. А это — реальный факт прикрепления: не лезь со своим свиным рылом в столичную утонченную науку!" (с. 128).

В другом месте, устав иллюстрировать пророчества примерами, Sinowjeff просто перечисляет признаки своего общества:

“Расслоение общества и наследственная преемственность слоев (местами вплоть до наследования профессий). Наследование своего положения в обществе производится по реальным возможностям родителей...”

Парадоксом этих (внешне здравых) рассуждений является лишь то, что Sinowjeff, с одной стороны, винит во всех бедах коммунизм, а с другой — сравнивает свое общество (следуя какому-то Шафаревичу — видимо, литературная мистификация) “с обществами инков, древних египтян, китайцев и т. п.” (с. 180). Не знаю, откуда он почерпнул сведения о Египте и Китае, но вот инки несомненно заимствованы из Кунова, а Кунова даже небрежливый Каутский иначе как вульгарнейшим материалистом не называет (впрочем, в германской марке он разобрался неплохо — это его и погубило).

Sinowjeff — типичный продукт России, страны, лишенной какой бы то ни было интеллектуальной традиции. Русская религиозная философия, например, не заслуживает этого эпитета, ибо никакой иной философии в России нет и не было. Да и философия ли это? Русские философы, все как один, — богословы восточного толка. Посему, даже собрав любопытнейшие факты, русский социолог делает обобщения, не подозревая, что он имеет перед глазами одну только Россию. Общество, которое изображает Sinowjeff, для него есть реальная перспектива всего рода людского. Нравится это ему или нет — его дело, но главное, главное — это извечное и отвратительное русское обыкновение быть учителями человечества.

И действительно, если разобраться, какое такое уж уникальное общество предстает умственному взору нашего пророка? Сословное деление, иерархическая система власти — что это, как не знакомые нам сюзерены и вассалы? Коррупция, которая так уязвляет христиански чувствительную душу г. Sinowjeff, — что это, как не распределяемый в виде подати прибавочный продукт?!

Феодализм, ординарный восточноевропейский феодализм, с цехами, но без цеховых свобод, с милитаризмом, но без рыцарских добродетелей, с кодексами морали, но без чести!

Г. Sinowjeff, судя по всему — “sapadnik” (см. его рассуждения о роли христианства в западной цивилизации), рисует, возможно не подозревая этого, овеществленную мечту славянофилов. Согласно его историологии Россия никогда не перейдет к капитализму, более того, общество, в результате кровавых восстаний и последующих избиений, сбросит с себя даже современное жал-

кое подобие капиталистических форм и снова впадет в феодализм. Ирония судьбы в том, что для этого будет использована наша философия.

Конечный вывод, который можно сделать из книги Sinowjeff, — адаптация марксизма в России неизбежно ведет к регрессу. Должен, однако, сказать, что Россию приведет к регрессу адаптация любой идеологии, и вина марксизма здесь не больше чем наукоучения Фихте.

Прости, я заканчиваю. У меня жар. Обо всем этом ты прочтешь в пятом исправленном и дополненном издании "Происхождения семьи". Брошюра только что прибыла из типографии.

Привет дамам.

Твой Фридрих'.

1884, 1-я Посадочная полоса.*

От издателя:

Пятое издание "Происхождения семьи, частной собственности и государства" не было ни исправленным, ни дополненным. Кроме того, Фр. Энгельс никогда не называл эту работу "брошюрой".

Таким образом, рушатся последние аргументы адептов подлинности переписки К. Маркса и Ф. Энгельса.

* Так называл Англию Орвелл.

3. Бар-Селла — литературовед, автор ряда статей (о Пастернаке, Бродском и др.), опубликованных в "22", живет в Израиле.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

МАРК ГИРШИН. БРАЙТОН-БИЧ

Широкое сатирическое полотно, запечатлевшее жизнь и судьбы "новых американцев" из Одессы, Киева, Москвы, собравшихся в грязном нью-йоркском квартале Брайтон-Бич, где жулики преуспевают, а честные люди поневоле становятся жуликами.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 110 шекелей, за рубежом — 10 долларов.

Предварительные заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА

На экране — щедрое русское застолье: водка прозрачно наполняет стаканы, вилки тычутся в крупные селедочные ломти. Вокруг стола многоцветье лиц, — женских — пышно-белых, славянских; мужских — крупноглазых, диковато-смуглых. Рты раскрываются вдохновенно, губы старательно выводят знакомые слова:

“Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера!”

И тут же без перехода, без запинки, привычно-накатанно “Расцветали яблони и груши, расстеклись туманы над рекой...” А когда влюбленная Катюша вышла на высокий крутой берег, где-то за окном, совсем рядом, протяжно заголосил муэдзин: “Бисмаллахи рахмони рахим, ла иллох, иль алла!”.

И как бы подчиняясь настоячивому его призыву, все сидящие вокруг праздничного стола привычно и дружно запели “По долинам и по взгорьям” по-арабски. Камера чуть отползла от стола, открывая на стене обрамленный золоченым багетом портрет Ленина в кепке, и, оторвавшись от застолья, поплыла над арабской деревней. Сомнений не оставалось: перед нами была Галилея, по травянистому склону горы струились вниз кудрявые овцы. А из окна доносились слаженные женские голоса:

Нина Воронель

**“В БУДУЩЕМ ГОДУ
В МОСКВЕ”...**

“Зачем вы, девушки, красивых любите,
Непостоянная у них любовь!”

И иллюстрацией к песне на экран начали выплывать свадебные фотографии: Галя из Винницы с Мухаммедом из Кфар-Ясина, Женя из Иванова с Саидом из Бодне, — все честь по чести: тюлевая фата, белое платье в кружевах, свадебная улыбка, свадебная прическа, темноглазый жених в усах. А дальше в альбоме замелькали детские лица: Хасан и Алеша, волосы белые, глаза черные, да здравствует дружба народов!

Каждый год шестьдесят молодых арабов, членов коммунистической партии Израиля, отправляются на учебу в высшие учебные заведения Советского Союза, и многие из них привозят с собой по возвращении русских жен: слаб человек, тянет его на пышную, не выжженную солнцем славянскую плоть. И заселяется галилейская земля белокурыми темноглазыми ребятишками, бойко лопочущими на ломаном русском языке.

Казалось бы, дело простое, житейское, и говорить-то не о чем. Вот и шведки иногда выходят за бедуинов, живут в пыльных кочевых палатках, не моются месяцами и вроде довольны. Ведь силой никто их тут не держит. Выходит, принимают страдание за любовь.

И наши русские женщины тоже говорят: “За любовь”. Что ж, за любовь не грех и пострадать, тем более, что часто весьма хороши собой наши сводные братья. Но есть что-то странное в их жизни, в их привычках.

Вот и здесь на экране собрались они вокруг праздничного стола, а в деревне никакого праздника нет, ни христианского, ни мусульманского, ни израильского. Только русский отрывной календарь показывает красной краской помеченную дату 7 ноября, годовщину Октябрьской революции. Женщины накрывают на стол, щебеча по-русски, ждут мужей — те задерживаются на юбилейном партийном собрании. Кто-то ставит пластинку — голос Людмилы Зыкиной летит над арабской деревней, не смешиваясь ни с бляением овец на соседнем склоне, ни с гортанным завыванием муэдзина на минарете.

Наконец, возвращаются с собрания мужья, кто-то разливает водку по стаканам и поднимается для торжественного тоста. Он говорит напыщенно и знакомо: “Выпьем за Великую революцию, за страну Советов, за торжество идей коммунизма”. И в благоговейном молчании все смотрят, как на телеэкране ползут

ракеты по Красной площади мимо Спасской башни, мимо мавзолея Ленина, и кто-то из мужчин выдыхает со всхлипом: “Красная Армия... наша армия...”

У него израильский паспорт, между Израилем и Советским Союзом нет дипломатических отношений, он работает в израильской больнице, но он знает точно, какую армию назвать своей. После парада все в едином порыве затягивают что-то торжественное по-арабски. Женщины поют с таким же упоением и подъемом, как их мужья. Где-то я уже слышала эту мелодию, совсем недавно слышала — по радио? по телевизору? Что-то очень недавнее и знакомое. Ага, вспомнила — египетский гимн! Неужто египетский гимн поют с таким неподдельным вдохновением, так слаженно и стройно? Что им Египет? Кто-то подсказывает на ухо: мелодия та же, что у египетского гимна, а слова другие: когда-то это был гимн Палестины, теперь — торжественный гимн Коммунистической партии Израиля. Со стены одобрительно смотрит на поющих основатель русского коммунизма в неизменной кепке над неизменной бородкой клинышком. Хочется спросить, как ему нравятся эти его новые приверженцы — истовые последователи.

И хочется спросить у них — как понимают они коммунизм, служению которому посвятили свою жизнь. Никто из них не беден, все владеют домами, землей, собственностью. Подозреваю, что многие из них пользуются наемным трудом, и не сомневаюсь, что, как и положено в данной им реальности, всемерно стараются снять три шкуры со своих рабочих. Иначе как бы мог преуспеть поющий вместе со всеми крупный строительный подрядчик, муж Гали из Винницы? Не своими же руками копает он ямы под фундамент, месит цемент и таскает вверх ведра с бетонным раствором!

Но все это не вступает в его душе в противоречие с благородными идеями бородатого дедушки в кепке. Так же, как не вступают в противоречие с коммунистическим учением его отношения с религией: сына своего он и крестил, и обрезал. Чтоб никому Богу не было обидно, — ни христианскому (он из арабских христиан), ни мусульманскому (не стоит портить отношения с соседями). А с коммунистическим, он уверен, он всегда сумеет сговориться, ибо ему он отдал свое сердце. И крещенный, обрезанный русско-арабский Хасан-Алеша служит подлинной гарантией полного согласия между его отцом и коммунистическим богом,

хитро поглядывающим из-под кепочки на капиталистическое сытое благополучие своих верных почитателей. У ребенка этого самое уникальное в мире гражданство, больше ни у кого такого нет: он счастливый обладатель двух несовместимых паспортов, — израильского и советского. Вот она — точка, где сосуществуют два эти государства. И потому, наверно, для отца этого уникального ребенка, гражданина двух несогласных между собой держав, коммунизм принимает специфически русское обличье: это не идеология пролетариев всех стран, не общность отвергающих собственность атеистов, а верное служение великой атомной державе, боги которой в праздники торжественно стоят на мавзолее Того, кто из-под кепочки подмигивает со стены и радуется победному тосту своих приверженцев: "В будущем году в Москве!"

Этими словами завершается документальный фильм, снятый режиссером Линой Чаплиной по заказу израильского телевидения и недавно показанный на израильском экране.

Н. Воронель — кинодраматург, журналист и переводчик, автор книги стихов "Папоротник", сборника пьес "Прах и пепел", ряда переводов санглийского (в частности, романа С. Беллоу "Планета мистера Сэмлера) и многочисленных статей о литературе и искусстве в эмигрантской печати; последний фильм по ее сценарию "Абортная палата" (реж. — С. Чаплин) отобран на конкурс на Монреальском кинофестивале.



Поезд называется "Тальго": голубые просторные вагоны, синий ковер на полу, комфортабельные кресла, в них так удобно, откинувшись, дремать, обивка того же цвета, из радио — приглушенный перебор гитар, окна чуть не во всю стенку, вежливость на грани фантастики. Поразительная пунктуальность. И скорость — в среднем около ста километров в час.

Сейчас, впрочем, скорость не на первом плане: поезд медленно, осторожно, точно не доверяя знакомому пути, углубляется в горные долины. Все вокруг покрыто плотным зеленым ковром, будто у нас в Шароне где-нибудь в апреле месяце, после хороших дождей. Здесь, видать, дождей не занимать стать: то и дело расплываются об оконное стекло одиночные капли, по склонам гор ползет туман — или, может быть, это низкие облака? — и листва деревьев, и крыши домов, и трава, и коровы, задумчиво пасущиеся среди этой травы, — все влажное, мокрое.

Станция Пумарагга. Это еще ничего, читается без сучка, без задоринки. А вот попробуйте прочесть с ходу такое, например, именько — Пумалакаррегуи! А ведь весьма известное в Бискайе имя — предводитель карлистов

Зеев Гринфельд

ЛАТИНСКИЙ ПОЛУМЕСЯЦ

(продолжение;
начало см. № 22)

в Первую Карлистскую войну. Станный язык баскский, никаких аналогий ни с одним другим языком Европы. Говорят, есть у него что-то общее с языками кавказской группы, с грузинским. И народ баски странный: люди знающие утверждают, что баски — самый религиозный из всех христианских народов Европы. То, что они не забывают о своих былых вольностях и правах, “фуэрос”, которых лишились сто тридцать лет назад, не странно и не удивительно. И то, что они из поколения в поколение рьяные сепаратисты, также совершенно естественно. Любая нация настраивается на националистический лад, стоит ей осознать себя нацией. Что для этого необходимо? Совсем немного: чувство своей принадлежности к определенному сообществу. Можно вообще не знать, даже не иметь ни своего языка, ни своих исторических и культурных традиций и тем не менее отождествлять себя неразрывно с тем или другим народом. Мы, евреи, первый тому пример. Так что уж говорить о басках, у которых все на месте — и богатейшие исторические традиции (как-никак, а только им удалось выстоять на Пиринейском полуострове перед лицом великого мусульманского нашествия!), и такой, ни в какие известные рамки не влезающий, самобытный и, видимо, самый древний в Европе язык (не то что, скажем, белорусский — это искусственное порождение окраинных говоров украинского, русского, польского; или тот же идиш, который мне не по душе). Баски по праву гордятся великими людьми, которых они дали Испании — мореплывателями, как Хуан Себастьян Эль-Кано, первым обогнувший земной шар (его командир, Магеллан, как известно, не доплыл — погиб на островах, позднее названных Филиппинскими), писателями, вроде испанского классика Пио Бароха, который в романе “Салакаин Отважный” описал вот эти самые места, что мелькают сейчас за окнами нашего поезда. В общем, баскам сам Господь велел быть националистами и сепаратистами.

Станным мне представляется другое. С какой поистине поразительной легкостью люди искренне верующие (у меня нет ни малейших оснований в их искренности сомневаться) нарушают свои же собственные нерушимые догматы! И особенно легко — ту единственную общечеловеческую заповедь, которая и для меня является святой и нерушимой: “Не убий!” Как легко не думать о жизни чужой! Здесь — одна из точек соприкосновения между рьяно верующими и крайне левыми. И вот ночью перегородивают цепью проезжую улицу в Бней-Браке, и гибнет молодой

парень, в машины под Иерусалимом швыряют камни, и раненых отправляют в больницы, на площади Сиси взрывается адская машина, другая взрывается в Белфасте, и плачут на кладбищах близкие, обезумевшая толпа разносит вдребезги здания посольства на улицах Тегерана — в наши дни, как в дни Грибоедова. Все те же действующие лица, неожиданные союзники — ярые приверженцы Серпа и Молота и Господа Бога. Говорят, что баски — католики святее папы римского. Игнасио Лойола, основатель ордена иезуитов, происходил из здешних мест. И в этой вот идиллической рощице, где зелень крон уже тронута золотом осени, быть может, в эту самую минуту готовится очередной террористический акт. Или только что убили хорошего парня только за то, что он носит форму гвардейца и призван защищать Закон и Порядок. Вот этого я никак понять не могу. А принять — тем менее.

Но вот Страна Басков уже позади, потянулась чуть холмистая равнина, с редкими деревьями, коричневая, как рисунок сепией. Деревень, по сути, нет — изредка, очень изредка, то возле самой дороги, то вдаль на горизонте, промелькнет скученный поселок, скорее — маленький городишко, пыльный, с немощеными узкими улицами, с обязательной колоколенкой церкви, реже — со сводами собора, что вздымаются над серыми и красными крышами серых и бурых каменных домов и домишек, которые тесно лепятся один к другому. Такие городишки — словно порождение сухих и пустынных этих холмов, настолько естественно и неразрывно сливаются они с окружающим пейзажем. Говорят, что здесь, на равнинах Старой Кастилии, как и в Ла Манче, на равнине Кастилии Новой, воцаряется “демографическая пустыня”: народ уходит в большие города (обычная история — и в России, и в Израиле то же самое), оставляя за собой заколоченные дома, городки-призраки. И действительно, там и сям виднеются старые, брошенные дома, забитые мешковиной окна, обрушившиеся ограды. При одной мысли, что довелось бы жить в этих пустынных городках на пустой равнине, сразу становится неуютно. Впрочем, такой порядок: редкие городки вместо частых деревень — был характерен для Испании и сотни лет назад (и служил немалым препятствием на пути освоения новых земель), а в наши дни механизации и широких транспортных возможностей он более чем естествен.

По равнинам Кастилии поезд мчится стремительно. Короткие остановки: Миранда-де-Эбро, Аранда-де-Дуэро. Желто-серая лен-

та реки. Такие знакомые пирамидальные тополя. А во всех городах покрупнее — масса новеньких жилых многоэтажных домов и еще больше — в процессе строительства. Ох, не надо, никому не надо — ни в СССР, ни нам в Израиле — хвастаться размахом жилищного строительства. Уж нам бы — может быть, в самую последнюю очередь.

Стремительный бег среди равнины, под небом, до горизонта, затянутым блекло-серой хмарью, — точно небо над горами Иудейскими в день осеннего хамсина. Мимо полей, виноградников и рощ оливковых деревьев. Мимо редких путников в потрепанной одежде верхом на крупных холеных ослах. Мимо еще более редких автомашин. Мимо страшных базальтовых гор, торчащих из земли словно голубовато-серые зубы давно погребенных чудищ. Горы Сьерра-Гвадаррамы? Не у кого спросить. Да, видимо, это она, Сьерра-Гвадаррама, горы Дон-Кихота и Жиль Блаза из Сантьяго.

Ближе к Мадриду дома становятся все веселее, новее, белее. Чувствуется приближение Большого Города. Он появляется внезапно — почти, как Иерусалим, за поворотом горы, и уже ставший привычным женский голос объявляет о прибытии нашего "Тальго" на вокзал Чамартин. Точность, достойная всяческой похвалы — два часа сорок пять пополудни, минута в минуту по расписанию.

Вокзал Чамартин положительно не похож на все знакомые мне вокзалы. Полированный красный камень, масса света, стекла, блестящие, начищенные плитки пола, множество зелени — и поразительная чистота. Никакого тебе типично вокзального запаха хлорки, мокрых опилок, нерегулярно убираемых туалетов. Вокзал, говорю я, непохожий на вокзалы — здесь приятно посидеть. Да времени нет.

Прямо перед нами — туристское бюро информации. Служащая встречает улыбкой и понимает мой испанский с полуслова:

— Комната на двоих, в центре? Две тысячи песет? Тысяча девятьсот? Тысяча восемьсот?

— Что-нибудь около Пуэрто-дель-Соль, — бросаю я с видом бывшего путешественника свой единственный козырь.

— Ну, конечно, возле самой Пуэрто-дель-Соль... Тысяча семьсот? Тысяча шестьсот? Тысяча пятьсот?

— С завтраком?

— Разумеется, с завтраком... Тысяча четыреста? Тысяча триста?

— Я бы хотел комнату с ванной, — продолжаю я увиливать от этих в лоб поставленных вопросов, удивляясь про себя ее долготерпению.

— Ну, конечно, комната с ванной... Тысяча триста? Тысяча двести?

Я наконец решаюсь и утвердительно киваю головой. Служащая поднимает трубку, созванивается с гостиницей, получает пятьсот песет, выписывает квитанцию, достает из-под стола красно-голубой план Мадрида, разворачивает его и пространно объясняет, где мы находимся в данный момент, где расположена наша гостиница и где находится мой единственный мадридский ориентир — Пуэрто-дель-Соль. Действительно, в двух шагах.

Улочка Хосе Эчагария, на которой расположена наша гостиница, оказалась знакомой: в книге испанского писателя Камило Хосе Села "Улей" попалась мне такая фраза: "Мауриено Сеговия и его брат Эрменехильдо отправились в обход по барам на улице Эчагария". Не знаю, подходят ли все эти рестораны и ресторанчики под разряд "баров", но их великое множество, и братьям Сеговия пришлось, вероятно, потратить не один час на "обход", хотя улочка и не отличается длиной.

* * *

От нас действительно рукой подать до площади Пуэрто-дель-Соль, этого центра мадридской жизни. Большая площадь со скромными газонами и маленькими фонтанчиками в центре, со спусками в метро, с бронзовым медведем, сошедшим с городского герба, который то ли пытается влезть на дерево, то ли объедает плоды. А главное, чем богата Пуэрто-дель-Соль, — это кипучая и, к нашему удивлению, совсем не шумная толпа. В учебнике "Испанский без труда" описывается почти неподвижная толпа бездельников, пришедших себя показать и других посмотреть, нечто вроде того поразительного социологического явления, с которым вы сталкиваетесь на главных улицах славного города Тбилиси: десятки и сотни молодых людей — этак лет до сорока — час за часом подпирают бесцельно фонари и стены, лениво перебрасываясь словами, провожая проходящих женщин липкими взглядами. Даже весьма несовершенное подобие этого "великого стояния" в Ашдоде привело нас в свое время в такой ужас, что мы отказались от предложенных нам в этом городе работы и квар-

тиры. И теперь мне не хотелось, чтобы мой учебник оказался прав. Мои желания сбылись, учебник прав не оказался: толпа живая, подвижная, деятельная, люди не подпирают ограды и не фланируют бесцельно, а спешат себе по своим делам. Заспешили и мы.

С площади Пуэрто-дель-Соль берут начало бессчетные улицы: я насчитал их восемь, но уверен, что это далеко еще не все. Если пройти вдоль красно-желтого фасада Гобернасьон, можно выйти на Калье Майор — Большую, или даже Наибольшую улицу. По нынешним нашим представлениям, улица далеко не из больших — неширокая, недлинная, если верить плану, что у нас в руках. Зато какие воспоминания, какие имена! В доме № 50 родился Лопе де Вега, в доме № 75 жил и умер его собрат по перу Кальдерон де ла Барка, в доме № 79, который мой путеводитель по непонятным мне причинам именует “дворцом герцога Усада”, проживала королева Мария Австрийская после смерти своего царственного супруга Филиппа IV, а с балкона дома № 88 в мае 1906 года в проезжавшую под ним карету короля Альфонса XIII швырял бомбу некто Матео Марраль.

Калье Майор — улица не торговая и потому не людная, однако нет-нет и мелькнет витрина магазинчика или ресторана. Вот, пожалуйста, продавец в белом халате поливает из леечки чуток привявший, видимо, в духоте жаркого дня товар. И какой товар! Аккуратными рядами возлежат за витриной огромные ярко-красные лангусты, над ними ракообразные размером поменьше и цветом побледнее, еще выше крупные оливковые креветки, а завершают эту пирамиду креветки и вовсе крохотные, зелененькие, а обрамляют ее самые разнообразные раковины, видимо тоже не пустые, и круглые, бурые, бугристые крабы. И тут же — как только место нашлось! — бледно-розовые молочные поросята и тушки птиц от перепела и меньше до куропатки и крупнее. “Какая жалость, что мы не взяли с собой фотоаппарат!” — восклицаем мы, глотая слюнки.

Выходим на улицу Алькала. Это вам не какая-то там “Большая” улица — Алькала даже трудно и улицей назвать, это, скорее, величественный, во всех своих проявлениях и статях, столичный бульвар, нечто вроде Садового кольца в Москве (в лучших его кварталах и, разумеется, после реконструкции). С улицами наших израильских городов, увы, никакого сравнения — разве что взять, скажем, дерех Петах-Тиква, проезжую часть расширить

вдвое, тротуары — вчетверо да воздвигнуть по сторонам облицованные добротным камнем солидные дома — вот тогда, может, получилось бы нечто подобное.

Алькала полноводной рекой вливается на Пласа-де-ла-Сибелес — широченную, просторную площадь. Потоки разноцветных "Сеатов", непрерывно устремляющихся в нее со всех сторон, не в состоянии заполнить громадное пространство (как в два счета заполняют любую римскую площадь итальянские машины). Мимо строгого комплекса зданий музея Прадо (сам музей вот-вот закроется) выходим на другую большую площадь — Кановасдель-Кастильо с фонтаном — Нептуном на колеснице морских коней; за ней площадь поменьше с обелиском в честь восстания 2 мая; потом совсем малюсенькая площадочка Глорietta-де-Мурильо, снова фонтан, кажется, Аполлон, и снова дворцы (или музеи, или министерства), ни о какой последовательности изложения не может быть и речи, такое изобилие архитектурных, скульптурных, градостроительных стилей и совершенств на столь незначительном отрезке пути — нечто вроде Дворцовой набережной и улицы Халтурина, помещенных в Летний сад.

А вот и "Летний сад" — легок на помине! Классическая чугунная решетка строгого, без завитушек и прочего украшательства, рисунка, ворота того же XVIII века, за ними — опახала пальм, широченные листья-простыни баканов, мохнатые ветви кедров — Ботанический сад Мадрида. Ко многому я уже привык в Израиле, а вот к отсутствию в наших израильских городах ботанических садов никак не привыкну. Впрочем, не трудно представить, во что превратила бы их за один сезон наша "широкая", "демократическая" публика, не признающая никаких ограничений.

Полюбоваться не пришлось: Ботанический сад закрыт на ремонт. Пересекаем широкую и нелюдную улицу Альфонса XII и входим под сень парка. Парк огромен и почти безлюден, громадный пруд, почти озеро, в каменных берегах, масса лодок бороздит его темные воды, напротив нас, через озеро, высится еще один внушительный монумент, каскад лестниц, сбегających к самой воде в окружении неоклассической колоннады и каких-то аллегорических фигур, трудно различимых на таком расстоянии.

С сожалением покидаем парк и через площадь Независимости с ее пятиарочным монументом в честь короля Карлоса III возвращаемся на Алькалу. Она течет через арки памятника на восток

и на запад. В сгущающихся сумерках поворачиваем на запад – к дому.

На минутку заглянув в гостиницу, чтобы заказать у портье три экскурсии по Мадриду и окрестностям, снова выходим на улицу. Десять вечера, по нашим провинциальным понятиям уже ночь, но в узенькой щели улочки Эчагария жизнь кипит вовсю. Тротуарчик залит светом из многочисленных окон и дверей бесконечных баров, гостиниц и ресторанов.

Бар-ресторан “Ля Касона” мы заметили еще днем: написанное от руки объявление извещало, что здесь можно получить “меню туристико” – комплексный туристический обед с рюмкой вина в придачу за скромную мзду в 225 песет. Полный обед мы решили не заказывать – скоро же полночь! – ограничились жареной телятиной и блюдом под интригующим названием “энтремесес”. Официант направился к бару, вооружился огромным, точно рыцарский меч, ножом и... нарезал на тарелку прямо с висевшего над баром окорока несколько ломтей ветчины.

“Энтремесес” – блюдо широко известное, во всяком случае – составителям почти всех путеводителей по Испании, и, насколько я могу судить по меню, обязательное. На русский слово это переводится легко и просто – “закуска”. Или, скорее, “закуски”, во множественном числе, потому что вы получаете в одном блюде, на широкой плоской тарелке, целый ряд – в случаях особых ряд бесконечный – разнообразнейших закусок: несколько ломтей ветчины одного сорта и другого, иногда – ломтик копченого языка, несколько кусочков рыбы, соленой, копченой, непременно – ломтики самых различных колбас, сухих, вареных, твердо-копченых, мягко-копченых. Королем поданных нам “энтремесес” была, безусловно, ветчина “хамон серрано” – плотная, даже твердая, ароматичная, с запахом дальних горных деревень, где окорок выдерживался добрых четыре года, если не больше, с полынным запахом диких трав, одним словом – пища богов! Телятина была столь же отменного качества и в количестве, нас изумившем: кусок едва умещался на тарелке, мы не привыкли к таким порциям ни в Израиле, ни в Италии. Счет пришлось ждать долго, никто нас не торопил, да и мы никуда впервые не торопились, блаженно, с любопытством поглядывая вокруг. На чаевые мы не поскупились, и все вместе обошлось нам в 550 песет. “Ну, дойдем только до угла, бросим взгляд на ночной Мадрид...”. Густая толпа текла по улицам. Свет витрин, как говорится, зали-

вал... — увы, тут силы нам изменили, и мы без промедления двинулись обратно, в гостиницу, спать.

День восьмой

Утро начиналось в прескверном настроении. Было 11 октября, и на эту дату приходился самый страшный день иудейского календаря — Йом Кипур, Судный день. Дома, как правило, мы в этот день сидели, читая, по своим комнатам; на столе в салоне задумчиво мерцали поминальные свечи, которых в последние годы, увы, стало заметно больше; любители потешить свою совесть и продемонстрировать силу воли тихо постились, не мешая другим, не столь возвышенно мыслящим членам семейства перекусить разок-другой на кухне. Жена решила поститься и сегодня. Все мои неоспоримые доводы в пользу нарушения в этот раз обычая, которого она придерживается вот уже три-четыре года, все мои ссылки на исключения из правила и принцип “пикуах нефеш” — все было тщетно: женщина заупрямилась. Настаивать же я не берусь: свобода совести — величайшее (быть может, единственное?) завоевание человечества на всем протяжении его истории.

Итак, подкрепившись стаканом плохо заваренного чая, мы отправляемся на экскурсию. Автобус — предельно удобный, роскошный, с превосходным обзором и очень чистый; гидом оказался солидный мужчина средних лет, обладатель громового голоса, который не могли перекричать даже болтливые итальянцы, наши соседи. Говорил он на трех языках свободно, гладко, но как-то не интересно — наши израильские гиды показались мне выше на голову. Автобус трогает, набирает скорость. Проносится 20-этажное здание гостиницы “Мелия-Мадрид”. В последнее время эта всемирно известная туристическая фирма стала и у нас в Израиле пользоваться растущей популярностью. А ведь ее основатель Хосе Мелия начинал с экспорта апельсинов, а экскурсиями занялся только после войны, на единственном потрепанном автобусе, переоборудованном из списанного санитарного фургона... Милая добрая легенда о богатстве, которое — стоит лишь руку протянуть — падает в ладони “инициативным и находчивым”. Легенда, которая зовет многих моих соплеменников и бывших земляков из Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы (особенно из Одессы) за океан.

С каждым оборотом колес удельный вес природы повышается: только что был город с вкраплениями зелени, причесанной под парки, бульвары, сады, а вот уже природа всамделишная, взлохматившаяся ершистым соснячком, непокорными серыми скалами, но — с вкраплениями города. Один за другим уносятся назад кварталы коттеджей и многоквартирных домов, проплывает мимо городок-спутник с изумительным названием “Город Парка-и-Озера”, мелькают озера, на серой глади которых покачиваются под горным ветерком немногочисленные еще прогuloчные скорлупки.

...Еще поворот. Почти на горизонте появляется скалистый купол, серый, в темно-зеленых пятнах, и над ним — крест. Он должен быть гигантских размеров, этот крест, — до скал, над которыми он высится, еще не один километр пути. Гид сообщает, что вершина эта именуется Риско-де-ла-Нава. Голубовато-зеленые горы, будто театральные задники окружающие скалу с крестом, — знаменитая Сьерра-де-Гвадаррама. Гид добавляет, что мы на высоте тысячи метров над уровнем моря и даже немно-го выше.

Автобус останавливается возле ничуть не примечательного входа в Долину Павших, Валье-де-лос-Каидос. Ворота как ворота. На запоре. Гид выходит и направляется выяснять обстановку. Все очень просто, опять традиционная испанская пунктуальность: вход в Долину с 9.30, а сейчас всего-навсего 9.27, ничего не поде-лаешь, придется подождать.

Въезжаем наконец. В нескольких метрах за воротами — четыре огромных усеченных гранитных ствола у дороги, зигзагами поднимающейся к кресту. Крест становится все выше, огромнее, тяжелее. Он растет прямо-таки на глазах, подавляет, с каждым витком дороги вы ощущаете себя все меньше и ничтожней. Уже можно различить и огромные серые скульптуры у его подножия.

Выходим. Обширная, сейчас почти пустая стоянка автотранс-порта, слева уходит в глубь гор лесопарк: тенистые дорожки, молодые сосны, изредка слышны отчетливые в горном воздухе посвисты одиноких птиц. Справа — темно-серая опорная стена, кафе, ресторан, киоски сувениров, над ней белеют первые арки колоннады, ведущей к portalу. Чуть подальше плавно и торжест-венно поднимается лестница невероятной ширины — сто метров. Число маршей и ступеней — по десять — несет в себе нечто от Де-сяти Заповедей, некую религиозную символику, мне недоступ-

ную. Лестница приводит к еще более просторной площади, опять-таки в виде короткого креста, основанием обращенного к входу в крипту — подземную базилику, спрятавшуюся в недрах скалы.

Еще пятнадцать ступеней — и мы входим в крипту через внушительные бронзовые двери-врата, покрытые искусными барельефами в стиле церковной классики. Над карнизом, на высоте еще доброго десятка метров — скульптурная группа “Оплакивание” — “Пиета”, из черного камня, добротнo выполненная без всяких модернистских ухищрений.

Здесь все внушительно. Как готические соборы средневековья, архитектура и скульптура, декоративное убранство стен, сама протяженность подземной базилики (262 метра в глубь скалы!) — все направлено на увековечивание идеи величия Бога и ничтожества жалкого смертного, который, чуть ли не затаив дыхание, с опаской прислушиваясь к шороху собственных шагов и к приглушенному говору проводника, бредет под сводами, теряющимися в полумраке (высота — десятки метров, в пересечении главного нефа с коротким поперечным — 41 метр!). Таинственная подсветка — то из-за карнизов под сводами главного нефа, то из светильников-бра в виде пылающих факелов (разумеется, никакой смолы и никакого дыма — электричество служит здесь верой и правдой), то из каких-то ниш, келий, тупичков, то и дело впадающих в главный неф. Света вполне достаточно, чтобы разглядеть даже в деталях многометровые гобелены вдоль стен того же нефа, посвященные одной теме — Откровение св. Иоанна. Гобелены старинные, века этак 16-го, в их создании принимали участие великие мастера вроде Дюрера, но они придают базилике нечто музейное — и только. А над ними и между ними, среди камня грубо рустованного и гладко отшлифованного — нетронутые куски материнской породы, матери-скалы, в чреве которой пробит этот гигантский туннель, это поистине чудо инженерной мысли и современного искусства в самом хорошем понимании этого слова. С одной поправкой: искусства церковного, религиозного. Долина Павших представлялась мне памятником павшим победителям, павшим в справедливой — по крайней мере, с их точки зрения — борьбе против безбожной деспотии коммунизма, павшим в победоносном крестовом походе, в некоем продолжении Реконкисты. И уж конечно — памятником, сотворенным испанцами и самой природой Кастилии, сердца страны, в честь народа Испании. Оказалось же на деле, что перед нами па-

мятник торжеству идей католицизма, его победе над весьма расплывчатым безбожием, торжеству идей христианства в его испанском понимании и выражении, да и не памятник вовсе — храм Бога не может быть памятником. А где же сами павшие, ради памяти которых затевался весь этот сыр-бор? Ни мемориальной доски, ни урны с прахом, ни слова... Только возле самого алтаря символические фигуры Родов Войск намекают на истинное назначение всего колоссального труда.

Робкой группой останавливаемся у алтаря. Сознание, что находишься в самом центре горы и над тобой многометровая толща скал и крест — триста метров! — наполняет невольным почтением. На алтаре — распятый Христос, работы современного скульптора Беовиде; Христос многоцветно раскрашен в наилучших традициях полихромной деревянной скульптуры века этак 15-го — запавшие междуреберья, вздутые вены, течет самая натуральная кровь... А рядом, перед алтарем — гробница Хосе Антонио Примо де Ривера, перенесенная сюда из Эскориала, а возле нее в пол вделана округлая плита сероватого гранита (гид не замедлил сообщить, что плита эта весит полторы тонны) с изображением креста и надписью: "Франсиско Франко" — могила генералиссимуса, похороненного здесь 24 ноября 1975 года. Мерцают свечи (или электрические лампочки под свечи); из перекрестных нефов, где виднеются ряды пустых сейчас скамей, появляются монахи; атмосфера торжественного благоговения, тишина...

По дороге к выходу гид сообщает, что решение о постройке комплекса было принято еще в 1940 году, что комплекс включает в себя также и Центр Социальных Исследований, и монастырь, и даже нечто вроде гостиницы для почетных посетителей, что строительство было начато только в 1950 году, что место для него выбрал Франко лично, что работы продолжались без малого десять лет и комплекс был торжественно открыт только в 1959 году, что в ходе работ было вынуто столько-то и столько-то тонн скального грунта, что работы производились в основном политическими заключенными...

Экскурсанты перешептываются, переглядываются многозначительно и ехидно: "Какое варварство, фи, и эта страна еще считает себя членом нашей культурной Европы! Политические заключенные, принудительный труд, в наше время расцвета демократии! И они даже не стесняются говорить об этом..."

А почему бы, собственно, и нет? В чем ужас "тридцать седь-

мого года” (точнее, долгой череды лет, условно объединяемых этой страшной цифрой)? В безвинности осужденных. Можно было, не согрешив ни словом, ни делом, ни помыслом, будучи невинным, как новорожденный, запросто получить “вышку”, “загреметь” на Колыму, отправиться на Волго-Дон (надолго вон). Ничего нельзя было знать, ничего нельзя было предполагать, вас преследовало даже не Государство, вас преследовал Рок. Поди, докажи ему, что ты не верблюд. В чем ужас расистских гонений, костров ку-клукс-клана, печей Освенцима? Опять-таки в безвинности жертв. Черная кожа или нос с горбинкой ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как вина их обладателя. Это нельзя объяснить. Это невозможно понять. И этого нельзя простить. Но когда человек по собственному желанию, по собственному свободному выбору поднимается против Государства, против Закона, который это Государство обслуживает, человек этот – пусть даже побуждаемый к этому обстоятельствами – не вправе ожидать, тем менее требовать, чтобы к нему этот Закон не применяли, чтобы его гладили по головке. (Как ни странно, а именно так ведет себя современное беззубое либеральное общество стран демократических, в которых ряд государственных функций атрофируется прямо-таки на глазах.) Преступление существующего закона делает человека преступником, даже если этот закон этим человеком рассматривается как неправильный, как незаконный. Ты знал, что это запрещено? Ты совершил то, что запрещено? Ты преступник, и никаких гвоздей. Все хитроумнейшие толкования – от лукавого. Герилья может быть героизмом в глазах ее участников, и коммунистов и “левых”, ее одобряющих и приветствующих, и сверхдержавы, ее вооружающей. Но в глазах Государства, против которого герилья ведется, она – преступление.

У Государства должно быть право на самооборону. У Закона должны быть зубы. И с преступником следует поступать как с преступником.

А кто же должен оплачивать содержание тюрем? Опять мы, налогоплательщики? Не уж, увольте. Преступники, осужденные Законом, должны работать. И называть этот труд рабским – значит исказить понятия. Оставим это занятие самим преступникам и их радетелям.

(продолжение следует)

ЛЮДИ И КНИГИ

ИЗРАИЛЬ

“НА МОЕМ МЕСТЕ ТАК ПОСТУПИЛ БЫ КАЖДЫЙ. .”

(Г. Бутман. *“Ленинград—Иерусалим с долгой пересадкой”*,
“Библиотека Алия”, Иерусалим, 1982)

Книга Гилеля Бутмана — любопытное чтение

Есть два вида публикаций, заведомо обреченных на успех у неприязнательного читателя о недостижимых героях, с которыми читатель хотел бы (да не может) восторженно самоотжествиться, и о героях достигаемых, которые скромно убеждают читателей, что “на моем месте так поступил бы каждый” Особенно велик успех, если тот, о ком читано в газетах, сам повествует о своих подвигах, как в данном случае, — пусть не очень литературно, зато так сентиментально, так доходчиво. Оказывается, он совсем такой же, как мы с вами, так же дрожал и сомневался, однако — “действовал” Правда, потом он несколько гм гм Но кто, в конце концов, судья попавшему под чекистский пресс? Вот, например, Якир Многие считают, что лучше бы он вообще сидел в тенечке, чем, провозгласив себя “лидером”, потом своим падением сыграл на руку карательным органам Трудно сказать Ну, упал и упал Сегодня мало кто помнит и о его лидерстве, и о его падении Но если он завтра настроит книгу о своих героических деяниях и при этом умолчит о падении, у читателя, естественно, возникнут некоторые вопросы Не к нему как к жертве, а к нему как к автору.

Подобное же недоумение возникает и при сопоставлении претендующей на документальность и исповедальность книги Г Бутмана с вполне документальной работой А Рожанского “Антиеврейские процессы в СССР” (Издательство Еврейского университета, Иерусалим, 1979)

А Рожанский свидетельствует “Обвиняемые по второму ленинградскому процессу (Г Бутман и его содеельники) . на следствии дрогнули, и один за другим начали признавать себя виновными и раскаиваться Советской пропаганде это и было нужно Газеты во время процесса пестрели пространными статьями, в которых цитировались показания подсудимых и их последние слова, в которых они осуждали самих себя и свои действия ..”

В тот момент советским властям позарез нужны были покаяния подсудимых, чтобы осадить расшумевшееся западное еврейство. Вот тут и появилось письмо родителей подсудимого Штильбанса “Нам не нужны “защитники” из Израиля” (“Ленинградская правда”, 14 мая 1971).

“Я прочел в “Ленинградской правде”, — заявил на суде Г Бутман, — письмо родителей Штильбанса Я должен сказать, что мне тоже никакая другая защита не нужна Ведь вы будете выносить мне приговор высоким именем страны, в которой впервые в мире осуществлены и провозглашены замечательные идеалы, которые для меня являются светлыми” (“Антиеврейские процессы”, т 1, стр. 452, 534)

Неплохо все-таки, берясь за рассказ о своих героических действиях, свериться предварительно с документальными свидетельствами. Потому что непонятно получается — как же должен "поступать каждый"? Перед нами явно два разных человека — один из книги Г. Бутмана, другой — из "последнего слова обвиняемого Г. Бутмана", приведенного в книге А. Рожанского.

Гилель Бутман
в книге Гилеля Бутмана

С детства ложь вызывает у меня физическое отвращение.

Очень хороший принцип. Но на практике он приводит к некоторым противоречиям.

Мы провели специальное заседание группы, посвященное тактике поведения во время допроса, и пришли к выводу: лучшая тактика — молчать.

По опыту работы в милиции я знал, что это единственная тактика. Итак, решили молчать.

Итак, решили — молчать, но на следствии — заговорили. О чем же заговорили?

Вера и надежда, умноженные на отчаяние и решимость, встретились здесь со всей системой подавления в полицейском государстве.

Человек, который в двадцать два года сел как антисоветчик уже внушает мне уважение.

Это — о социализме. Теперь — о сионизме.

Моя программа пробуждение национального самосознания.

Наконец, о том "деле", которое в книге Г. Бутмана описывается как главное его сионистское достижение.

Операция (по захвату самолета) может стать лебединой песней организации.

Гилель Бутман
в своем последнем слове

Никогда в жизни я не говорил неправду...

Все, что мне предъявляют, сказано мной самим. Если бы я этого не говорил, органы следствия об этом никогда бы не узнали.

Для меня советский государственный строй свят.

Я всегда считал и считаю, что социалистические отношения, которые победили в результате революции 1917 года — это замечательно, я всегда в это верил.

Еврейский национализм так же отвратителен, как и любой другой национализм.

Я дошел до грани этого страшного преступления. Я действительно виноват в том, что не отреагировал так, как должен отреагировать советский человек...

Нужно лететь в Швецию и устраивать там пресс-конференцию. Вот это будет бомба!

(Как явствует из протокола суда над участниками первого ленинградского процесса, они отрицали намерение устраивать пресс-конференцию, тем не менее суд вменил им такое намерение в вину. Признание этого намерения в книге Г. Бутмана, когда в лагере находятся еще двое, обвиненных в этом намерении (Федоров и Мурженко), означает фактически помощь обвинению — уже из Израиля)

Странно все это. И уж совсем странно звучит патетический вопрос автора "Кто заложил, кто заложил?!" — когда тот же автор в книге А. Рожанского свидетельствует "Бутман на процессе показал, что говорил о захвате самолета со многими людьми. Всех он, естественно, запомнить не мог..."

Зачем же так болтать, что уж всех, с кем болтал, и не упомянуть?!

Мотивы для писания мемуаров бывают разные. потребность в исповеди, потребность в самооправдании, потребность в переосмыслении прошлого, потребность передать опыт новым поколениям, просто потребность, наконец. Интересно, какие мотивы руководили Г. Бутманом? На исповедь его книга, во всяком случае, не похожа. Опыт, который она передает, по меньшей мере сомнительный. Скорей всего, перед нами рассказ человека, который искренне считает себя немаловажным винтиком истории на том основании, что в ситуации, требовавшей действия, он — действовал. Не важно, что делал, какими нравственными критериями руководился, но — делал "дело". Иными словами, перед нами апология деятельности как таковой — вне моральных оценок. А как же все-таки со следствием и судом?

Это вопрос не к жертве, а к автору. Хочется надеяться, что в следующей своей книге Г. Бутман эти недоумения разрешит.

Л. Гримм

ЗАПАД

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

("Континент", № 31, Париж, 1982; гл. ред. — В. Максимов)

Прежние номера "Континента" хвалили за публицистику и поругивали за прозу. На этот раз наоборот. Публицистика в рецензируемом номере не вызывает особого интереса — все четыре основные статьи (воспоминания советского пропагандиста, события в Польше, поэзия П. Тычины и литература в Китае) написаны как бы одним человеком — серьезным, честным и — пресным. Исключение составляет интервью с Н. Мандельштам, в котором чувствуется предсмертная попытка сказать неприкрашенную правду

о времени и себе (впрочем, заглушаемая вопросами интервьюера) Подборки стихов и два небольших рассказа (А. Журкина и М. Моргулиса) также вызывают ощущение формально выполненного редакционного долга, а не художественного открытия. В итоге примечательными в номере остаются "Русские терцины" Дм. Бобышева и окончание повести Евг. Козловского (недавно арестованного в Москве) "Красная площадь"

Бобышев сразу же делает откровенное признание, что следует терцинам Данте не только в форме, но и в содержании предмет его поэмы — история и политика. Точнее, не история и политика как реальность, а историко-политические реминисценции современного русского интеллигента. Сознательно снижая терцину до разговора, он рифмует популярный анекдот с фразами из газетных передовиц, школьный курс русской истории с "Кратким курсом", диссидентскую формулу с собственной горькой ухмылкой "Кого винить? Не ясно ль дураку: мы сами проворонили, разини, какую Родину! Росиюшка — куку!" Если "Онегина" назвали энциклопедией русской жизни, то "Терцины" — это энциклопедия русского диссидентского разговора, ибо здесь есть все: отклик на отсутствие продуктов, отзвук споров между националистами и "правозащитниками", отголоски размышлений о "китайской угрозе" и ходячие насмешки над вождями. Перебрав все и все отвергнув, Бобышев декларирует, что между Россией и свободой выбирает — свободу: "И ежели я не увижу боле, как говорится, до скончанья дней, картофельное в мокрых комьях поле, сарай, платформу в лужах и вокзал — ну, что ж, пускай. Предпочитаю волю. Умру зато — свободным. Я сказал". "Терцины" могли бы иметь подзаголовок "Прощание с Россией", если б он не был так затрепан и если б подлинным источником вдохновения поэмы не было непрерывное "вспоминание России" — пронзительное, горькое и сладостно-щемящее вспоминание картофельное поле, платформа в лужах, дерзкие разговоры на кухне и чувство причастности к истории.

Странно, но повесть Козловского, как и поэма Бобышева, тоже написана на вторичном материале. В сущности, это даже не повесть, а большой рассказ с затянутой экспозицией, причем рассказ (сюжет) интересен не очень, самое интересное упрятано в экспозицию. Она представляет нам преуспевающего московского кинорежиссера, очень похожего на Ленина и даже снимавшегося в его роли, ныне влюбленного в некую эстонку и волею случая вынужденного ее убить; но убийство происходит под занавес, а все прочее — возвраты в прошлое, встречи и разговоры — в Эстонии и Москве, этаким паноптикум людей — от пенсионера Молотова (того самого) до эстонского националиста, о котором так до конца и непонятно — националист он или жулик.

Рассказ этот насквозь пародиен по отношению к литературному и житейскому штампу. Он пародирует прибалтийскую романтику Аксенова и одновременно — диссидентскую романтику националистического движения; он пародирует известную формулу Синявского "искусство формирует действительность" (история с однофамилицей Фанни Каплан, которую в ГБ сделали "той самой" Фанни Каплан, да так, что она сама тому поверила) и одновременно — исторический штамп "не та" Фанни Каплан в финале стреляет "не в того" Ленина — в героя, который на Ленина похож.

Пародийность (быть может, несознательная) возникает оттого, что вся повесть — о банальностях, уже обыгранных литературой, о героях ее, уже переставших быть новостью: опальные вельможи и знаменитые кинорежиссеры, прибалтийские националисты и живой Владимир Высоцкий, религиозные “возрожденцы” и “дети вождей”. Банальность, кажется, больше интересует автора, чем движение сюжета, и потому события (убийство, избавление от трупа, арест, суд и т. д.) пересказаны походя, мельком, точно во сне, тогда как банальность подана развернуто, ярко, крупно — как единственная явь.

Возникает впечатление, что автор рассказывает о жизни, в которой вообще торжествует банальность: все вторично, все кого-то напоминают, все кого-то играют — герой играет Ленина, кинорежиссер Дулов (еврей) — русского, жена Молотова Жемчужина — лагерницу, жулик — националиста и т. п. Словно все уже было и нового не будет, жизнь остановилась и более того — будто бы даже не была. Ибо неподлинность героев рассказа бросает ответ неподлинности и на их жизненные (исторические), а не только литературные прототипы: недаром повесть открывается эпиграфом-анекдотом-слухом “А говорят, в мавзолее не Ленин лежит”. Неподлинная жизнь превращается неизбежно в зеркальную игру отражений, все приговорены повторять то, чего не было, и сама жизнь обречена ходить по кругу нежизни, сценарий которой состоит сплошь из примелькавшихся цитат.

И вот оказывается, что Красная площадь, где герой и героиня встречаются у Исторического музея (что в стороне от мавзолейной очереди) — самое застойное, мертвое и призрачное место в мире, ибо ходящие по ней лишены первичности жизни и вынуждены играть смертельно надоевшие, наперед расписанные роли.

РОССИЯ

Р. Блехман

ДЫХАНИЕ ИСТОРИИ

(Л. Н. Гумилев „Этногенез и биосфера Земли“,
М., 1979–1980, депонированная рукопись ВИНТИ)

В идейном плане рецензируемое исследование противостоит направлению, постулирующему постепенное, прогрессивно-направленное развитие всего мира от простого к сложному, и примыкает к направлению Данилевского, Шпенглера, Тойнби, хотя терминологической преемственности не наблюдается. “Этнос”, то есть примерно то, что иногда называется нацией, определялся в исторической и социальной литературе с самых различных позиций; неубедительность этих определений прекрасно вскрывается автором. Для полноты не хватает разбора хорошего определения нации по Ревзину (“Об индуктивных определениях в исторических науках”, в сб. “Труды по знаковым системам”, VIII, Тарту, 1977, стр. 28–44), хотя, конечно, оно работает только применительно к последним четырем-пяти столетиям.

Темой же Гумилева являются последние пять тысячелетий земного существования, причем человек и человеческие общества понимаются как орга-

ническая часть биосферы Земли, то есть в сочетании с занимаемыми ими ландшафтами, — как биогеноценозы. Строгой, в ревзинском смысле, дефиниции термину “этнос” Гумилев не дает, но на сотнях примеров безукоризненно ясно выявляет, что он имеет в виду. Представление об этносе по Гумилеву лучше всего дать следующим сравнением: этнос является таким же проявлением *биосферы*, каким *написание* мною этих строк является проявлением *меня* как биологического и социального существа.

Биосфера понимается как живое единство, по Вернадскому (впрочем, можно вспомнить и “Тихие думы” С. Булгакова). Этнос однозначно характеризуется стереотипом его отношения к ландшафту и вытекающим отсюда стереотипом его социального поведения. Кратко можно сказать: “Этнос есть поведение”. Автор отмечает расистские и социально-исторические концепции зарождения этноса. Этнос может зародиться только на стыке нескольких этносов или рас и только на стыке нескольких ландшафтов. Зарождение этноса связано с появлением у соответствующей группы людей нового признака, называемого Гумилевым “пассионарностью” (одержимостью) — состоянием, диаметрально противоположным инстинкту самосохранения (однако это отнюдь не шафаревичевская “воля к смерти”). Исторически прослеженные (на многих десятках случаев) зарождения этносов обладают примечательной особенностью: они лежат на прямых линиях глобуса, словно кто-то включает на 10—50 лет линейно направленное излучение на поверхность Земли. И только там, куда достигло излучение, происходит мутация, из-за которой проявляется пассионарность и рождается новый этнос. Основная его характеристика — противопоставление себя всему окружающему миру, четкое деление на “наших” и “не наших”. Дальнейшее поступление пассионарности не происходит, и на протяжении тысячи-тысячи двухсот лет этнос развивается и умирает подобно всякому инерционному процессу в вязкой среде. Фазы этого процесса: пассионарная, акметическая (то есть цветущая), инерционная, обскурационная, реликтовая. На первых этапах благодаря запасу пассионарности в этносе вырабатывается сложная внутренняя субэтническая структура, которая потом вырождается и упрощается; смерть этноса обусловлена кибернетической теоремой о нежизненности недостаточно сложной системы. В фазе обскурации этнос склонен необратимо губить ландшафт. Разумеется, конкретная история каждого этноса обусловлена не только этой внутренней закономерностью, но и случайными перипетиями исторических встреч с другими этносами, причем наиболее уязвим он в моменты перехода от одной фазы к другой.

Все это прослеживается в богатых подробностях с небывалой эрудицией: перед читателем проходят ирокезы и ромеи, инки и ханьская династия, Ромул и Чингисхан, хазары и берберы и многие другие. Даже если читатель не согласится ни с одной из основных идей Гумилева, ему все равно полезно и приятно ознакомиться с таким богатым и нетривиальным набором фактов, поданных с неевропоцентристской позиции. Вот, например, латиноамериканский этнос. В XIII—XIV веках в результате пассионарного толчка возникла огромная этнос, вариациями которого были инки и ацтеки. Разгромленные горсткой европейцев, ибо застигнуты в момент смены фаз и не поддержаны массой индейцев (для которых сами инки — чуждые захватчики), они вроде бы сходят со сцены. Но гены живут в бастардах, и в XVIII—

XIX веках новый этнос политически закрепляется как "латиноамериканцы" Вот "ромей" (Византия) На стыке иудейско-иранско-сирийско-эллинских этносов и суперэтносов в результате пассионарного толчка II века возникает новый стереотип поведения Он выявляется в разных непримиримо конкурирующих друг с другом формах "ортодоксальные" христиане, гностики, ариане, несториане, донатане и многие другие (см у Мережковского "Юлиан Отступник", где красочно описан Вселенский Собор, издательский созванный императором из представителей *всех*, кто именовал себя христианами) Хотя и растрачивая свою пассионарность главным образом на самоистребление, они создали новый этнос — ромей, противопоставивший Риму, создали византийскую государственную культуру и т.п.

Мне кажутся лишними разговоры автора о "биологической энергии" и привлечение закона сохранения энергии для объяснения явления пассионарности. Ведь если речь идет о смене ритмов (каких-то колебаний), управляющих стереотипом поведения, то на такую *смену* практически никакой энергии не нужно, а хоть какие-нибудь ритмы все равно всегда присутствуют. Очевидно, что в эпоху резкого возрастания веса суперэтнических контактов и отделения человека от привязки к ландшафту теория Гумилева должна пробуксовывать. В начале книги автор поэтически предостерегает, что не будет касаться периода посленаполеоновских войн (во избежание абберрации близости), но в третьем выпуске, к сожалению, забывает собственную оговорку и обругивает все то современное, что не укладывается в его теорию. Обнаруженный им срок жизни этноса в тысячу-тысячу двести лет при сопоставлении с такими коллективами, как евреи и китайцы, вызывает удивление. Но автор рассекает их мифическую длительность еврейский этнос исчез в I-II веках; Китай в X веке — совсем иной этнос, нежели в I-м. Вывод: секция это или констатация факта? — эрудиции рецензента не хватает ответить. Как физику мне дико рассуждения автора о вакууме, где он берет на вооружение одну из десятков конкурирующих в современной физике гипотез-однодневок о структуре вакуума, не нужна она ему в построении собственного мировоззрения. Но эти недостатки третьестепенны по сравнению с тем восторгом, который испытываешь, читая произведение.

Гумилев великолепно пользуется приемом, им же вводимым в методологию истории, — сначала рисует картину крупными мазками, затем увеличивает дробность масштаба и с "более близкого расстояния" подробнее излагает узловы́е моменты, а порой "из мышиной норки" тщательно прослеживает миллиметры пути, — никогда не утрачивая глобальной перспективы (см также его "Поиски вымышленного царства")

В работе есть и еще один аспект. Человек такой генетической одаренности и такой напряженной судьбы, естественно, в толстой монографии, выходящей к его 70-летию, не мог не изложить своей философии. Как и всякая философия, она отвечает на два вопроса: как устроен мир и как жить в этом мире. В отличие от людей физикалистского мышления, автора интересует не пространственно-космологическая картина мира в электрических и гравитационных полях, а дыхание мира в его исторических судьбах. Прошлое для автора — реальнее настоящего, и он помещает себя в ткань Истории. А его учение, как жить, лучше всего сформулировано, по-моему,

в стихотворении его отца "Родос" Можно с его философией, как и со всякой другой, не соглашаться, но она пронзительно-величественна, а по части историзма совершенно совпадает с моими убеждениями

Р Пименов (Москва)

КОРОТКО О КНИГАХ

Ф. Розинер. Некто Финкельмайер. — Роман, получивший премию Даля в Париже и сразу завоевавший широкую популярность у читателей, давно ходил в самиздатских списках в Москве и Ленинграде, утоляя тоску по "крупной прозе", по "роману" — со страстями, любовью, интригой и прочими аксессуарами читабельности Это не ирония ведь если говорить честно, то Битова читать интересно, но скучно, а Искандера не скучно, но и не интересно — и там, и тут ничего не происходит У Розинера происходит очень много талантливый еврейский поэт "переводит" полуграмотного охотника, создавая миф о "простом советском Гомере"; "Гомер" этот, силой советских обстоятельств, вызывает в важную персону всесоюзного значения, надувается сознанием своей значительности и, будучи разоблаченным, мстит поэту Финкельмайеру убийством. Между тем разворачивается вся жизнь Финкельмайера его голодное детство, его романтические любви (счетом три), его разговоры с друзьями — отщепенцами и диссидентами и, наконец, его трагический поиск подлинно вы-

сокого искусства, вершина которого — в молчании от невыразимости мира Так что, по существу, перед нами — роман о Мастере, немедленно возрождающий в памяти Булгакова (тем более что и тут есть верная "Маргарита") и однозначно указывающий свою задачу глянуть на жизнь, описанную некогда Булгаковым, сегодня, когда сценический круг российской жизни описал несколько полных оборотов Это роман об интеллигенции шестидесятых годов, точнее — о художественной интеллигенции, о поиске абсолюта среди пошлости и страсти — среди страстишек В нем точно дозированы мелодрама и философия, искусство и секс, политический намек и правда о быте, трагический конец — с концом счастливым, искусная интрига — с волею случая Он читается вздохом, несмотря на толщину, и это — немалая похвала сегодня, во времена натужного литературного "экспериментаторства", которое, как уже сказано, читать невозможно Но в "Финкельмайере" есть не только частица правды о жизни, которой мы жили, но и частица правды о мире, в котором мы живем, иными словами — это попытка философии, замаскированная под "чтиво" Однако о философии Финкельмайе-

ра-Розинера следует говорить обстоятельно, а не в короткой рецензии, призванной лишь обратить внимание читателей на незаурядное явление новой литературы

Я. Цигельман Убийство на бульваре Бен-Маймон — Две повести, собранные в книге под яркой синей обложкой с конвертом на ней, отмечают две крайних точки маршрута авторской жизни Биробиджан и Израиль Биробиджану посвящена повесть "Похороны Моше Дорфера" — записанные с псевдомагнитофонной точностью биробиджанские разговоры, имеющие центром фигуру умершего режиссера, бунтаря и оригинала. Прием использован столь талантливо, что картина жизни вырисовывается как бы и помимо желания автора люди предстают выпукло и сочно, обстоятельства, конфликты и столкновения характеров вовлекают в свое бурление, тема приспособленчества и твердости разворачивается ненавязчиво и потому убедительно. После лживых или пустых описаний этого экзотического российского уголка биробиджанская повесть Цигельмана — глоток свежего воздуха и правды

Вторая повесть, имеющая еще подзаголовок "Письма из розовой папки", также свидетельствует об авторском тяготении к искусственному приему ее сюжет (поиск писем так и не выехавшего из Москвы друга к любимой женщине в Израиль) помещен в оболочку чеховской "Дуэли" та же расстановка главных героев и даже ситуаций с заменой только юга России на Иерусалим и Тель-Авив Эта обо-

лочка в свою очередь подвергается непрерывному авторскому преобразованию Пример для пояснения в заключение главы о принципиальном споре героев автор, пишущий эту повесть о письмах и сам в ней участвующий тоже, вдруг появляется в тексте и говорит героям — нет, вы плохо это разыграли, давайте ка сначала — и все едва не начинается сначала Повествование к тому же перебито множеством вставных новелл об Израиле, в сущности — журналистских зарисовок, их могло бы быть больше или меньше, на качестве повести это не отражается и к делу отношения не имеет, хотя и весьма занятно К концу повести искусственность приема несколько подавляет живое чувство и создает ощущение затянутой формальной игры, которое снимает первоначальный напряженный интерес к судьбам героев, писем и возлюбленной "незнакомки" Кажется, впрочем, что и автору это не очень интересно, во всяком случае — не больше, чем собственная игра Однако перед нами — одна из первых попыток освоения темы ("русские евреи в Израиле"), и она, несомненно, заслуживает внимания давно ждущего таких попыток читателя

Ф. Вейцман. Без отчества. — Первая часть автобиографии русского еврея, живущего в Париже, относится к тому типу повествований о жизни, в которых автор непрестанно перебивает сам себя, отходит в сторону, оглядывается на историю, вспоминает о родственниках и знакомых, короче — ведет живой

рассказ, тем живее, чем подробней и богаче вроде бы ненужными деталями. Есть большой круг любителей погрузиться в неторопливое описание большой семьи с ее эксцентричными и занятными родственниками, перипетиями внезапных обогащений и разорений, неравных браков и случайных драм, в медленное бытописание прошлого, ушедшего так давно и вдруг так ароматно воскрешенного, с такой равной заботливостью о каждой семейной мелочи, с такой беззаботной эпичностью, на которую способны только графоманы и гении (а также — иногда — мемуаристы). Этим любителям книга Ф. Вейцмана — отличный подарок, в котором интересное общечеловеческое нетрудно освободить от оберточной бумаги "еврейской темы".

Н. Руда. Возвращение на родину. — Еще одна книга мемуаров, хотя и другого — "сионистского" — толка. Автор — адвокат, эмигрировавший из России в первой четверти века и многие годы потративший в тогдашней Палестине в борьбе за право снова быть адвокатом. Перипетии этой борьбы с тогдашним "истеблишментом" и "бюрократией" более всего занимают Руду, однако читателю, думается, куда интересней будет картина Палестины тех лет еще нищей,

полуголодной, растущей из ничего, состоящей больше из надежд и мечтаний, чем из реальных свершений. Трогательны фотографии поездки на катере по Мертвому морю — молодые девушки и чопорные молодые люди 20-х годов на фоне Иудейских гор. Где они сейчас, эти строители громадного современного Тель-Авива, нарядной средиземноморской Хайфы, роскошных кибуцов и комфортабельных современных поселков? Воспоминания Руды заставляют непрерывно сравнивать, и в таком сравнении познается гигантский скачок, происшедший на этой земле за полвека. Невольно возникает некая убежденность (сродни вере), что земле этой суждены еще и не такие скачки. Видно, ощущение это, такая вера присутствовали здесь всегда (земля, что ли, их рождала? возвращение в историю? свобода?) — во всяком случае, только этим можно объяснить, что автор, несмотря на жесточайшие испытания, все же не усомнился в своем жизненном выборе, остался и — победил. Прочсть эту неприятную книгу стоит хотя бы ради того, чтобы приобщиться к ее странной и волнующей вере.

А. Бухбиндер

МАСТЕРСКАЯ

*Время волшебников прошло По
всей вероятности, их никогда и не
было на самом деле. Все это выдум-
ки и сказки для маленьких детей.
Просто некоторые фокусники умели
так ловко обманывать всяких зевак,
что этих фокусников принимали за
колдунов и волшебников*

Ю. Олеша, "Три толстяка"

В одном старинном маленьком городе, где вечером бывает ветер с моря и пальмы тихонько качаются, а улицы в этом городе узкие, а крыши домов — плоские, так что по ним можно гулять в лунную погоду и угадывать по далеким огням, большой или маленький корабль остановился сегодня у берегов, стоит большущий белый замок. В нем высокие залы, большие и маленькие, а также разные комнаты. В старинном и громадном этом замке обитает настоящая колдунья, то есть ведьма. На вид она совсем молодая, но кто знает, сколько в действительности лет она живет на свете. Ибо говорят, что только после трехсот лет настоящих занятий колдовством можно научиться превращать живое в неживое и наоборот. Имя у нее длинное, как раз такое, что всякому ясно — без волшебства тут не обошлось. Райхваргер. Есть люди, которые боятся ее глаза (хотя глаза у нее очень красивые и даже чуть сонные). Смотрит она без всякого любопытства, взгляд вообще немного грустный. Руки и ноги маленькие, а сама вся очень складная (триста лет!), шея белая, голову держит точно и высоко, а волосы конечно же черные. Чтобы не очень отличаться от прочих людей и не слишком бросаться в глаза, она родила двух детей, предусмотрительно выйдя замуж. Ее муж — гениальный художник, поэтому за ее занятиями наблюдает, как истинный артист, а возрастом не интересуется вовсе.

Торопиться ей некуда. Сто лет туда, сто лет сюда.. Живет себе. А в свободное время делает кукол. И только-то? Да, но это большие куклы, красивые куклы, замечательные куклы, разные куклы и совершенно живые (совершенно — от слова "совершенство"). Причем человек недоверчивый сначала заметит, что они не двигаются и не разговаривают, но это только в первый момент, а во второй момент он уже и не вспомнит, как, и что, и зачем он сюда пришел, кто он сам такой и не кукла ли он сам, то есть не люди ли эти куклы. Но уже в третий момент ни про что такое он уже и не думает, потому что все вокруг так изменится, что все эти раздумья будут ни к чему, так как мир, люди, мысли — все иное — думай-не думай, а жить надо. И вот начинаешь жить и осматриваться.. Боже! Сон? Сказка? А я кто? А это там кто? В джинсах, невысокая, черноволосая? Ира Райхваргер?

Л. Герштейн

Выставка работ Иры Райхваргер (скульптор) и Тамар Евель (модельер) открыта ежедневно в галерее "13½", в старом Яффо.





Объявляется подписка на 1982 год

на журнал

“ДВАДЦАТЬ ДВА”

(№№ 23–28)

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ “22”:

В Израиле (до 1 сентября 1982 года) — 450 шекелей (можно в два чека с разрывом в один месяц).

За рубежом (с доставкой обычной почтой) — 33 доллара.

Авиапочтой, в Европу — 45 долларов, в США — 51 доллар.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Заполненный талон и чек на имя журнала “22” высылать по адресу:
“MOSCOW—JERUSALEM“, P. O. B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL

Прошу подписать меня на журнал “22”, начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво)

(фамилия)

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Журнал “Двадцать два” не получает никаких субсидий. Его не закупают израильские и еврейские организации. Он существует исключительно на деньги подписчиков и покупателей. Инфляция ставит под угрозу дальнейший выпуск журнала. Для сохранения нашего издания мы создали “Фонд друзей журнала “Двадцать два” в Израиле и на Западе”. Мы просим присылать пожертвования в этот фонд. Любые пожертвования будут приняты с благодарностью. Книготоровищество “Москва—Иерусалим”

Редколлегия выражает глубокую благодарность Наталье Розен за самоотверженную помощь журналу, а также приславшим пожертвования друзьям: В. Матлину (США, 17 долларов), И. Клейману (Натания, 70 шек.), Л. Натковичу (Нацерет, 200 шек.), Ц. Оферу (Тель-Авив, 100 шек.), Г. Белкину (Австралия, 7 долл.), Т. Фейгиной (Бат-Ям, 50 шек.), А. Хейфец (США, 7 долл.), Ю. Шухман-Коган (Хайфа, 330 шек.), Д. Проктор (Хайфа, 100 шек.), М. Ременику (Иерусалим, 70 шек.), А. Гальперин (Тель-Авив, 300 шек.), П. Вайлю (США, 17 долл.), Ю. Тувину (США, 10 долл.).

